ИВ. ШМЕЛЕВ

СВЕТ ВЕЧНЫЙ



Ouvrage publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique

KLINCKSIECK
PARIS

СВЕТ ВЕЧНЫЙ

L'exécutrice testamentaire de l'héritage littéraire de l'écrivain Yvan CHMELOV, Madame Youlia A. Koutyrina, tient à remercier :

— *Monsieur Henri TROYAT de l'Académie Française, qui l'a autorisée à reproduire le discours prononcé en français et en russe à l'occasion de l'anniversaire de la mort de CHMELOV,*

— *le C.N.R.S. qui a entrepris l'édition des œuvres posthumes de CHMELOV,*

— *Monsieur le Professeur Honoraire à la Sorbonne Pierre PASCAL qui a été à l'origine de cette entreprise.*

— *Monsieur le Professeur Claude FRIOUX, Chargé d'Enseignement à la Faculté des Lettres de Rennes.*

— *Madame Lydia LUZANOVSKY-MARINESCO (sculpteur) qui exécuta le buste de CHMELOV.*

Из литературного наследства Ивана Сергеевича Шмелева хранимого Ю. А. Кутыриной в Архиве Музее писателя.

Ив. ШМЕЛЕВ

СВЕТ ВЕЧНЫЙ

Посмертное издание рассказов

1895 - 1950 г.

NOUVELLES INEDITES

OUVRAGE PUBLIE
AVEC LE CONCOURS
DU CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

EDITIONS KLINCKSIECK
PARIS
1968

АНРИ ТРУАЙЯ
ИВАН ШМЕЛЕВ

По случаю двухлетия кончины И.С. Шмелева, член французской Академии Анри Труайя (Тарасов), посвятил покойному писателю слово, переданное парижской радио-станцией. А. Труайя любезно предоставил нам свой русский текст который мы и предлагаем, вниманию читателей.

АНРИ ТРУАЙЯ

ИВАН ШМЕЛЕВ

Два года тому назад, 24 июня 1950 года, скончался в Париже Иван Шмелев, один из самых замечательных и наименее известных французской публике русских писателей.

Конечно, среди его соотечественников многие испытали при его смерти чувство потери дорогого существа, ибо это был писатель благородный, романист незаменимый, художник идущий в линии Толстого, Достоевского и Чехова. Но большинство французских читателей, при известии об его смерти, обратили на это событие весьма малое внимание.

Как могло быть иначе ? Из литературного наследия Шмелева только три романа появились на французском языке: « Человек из ресторана », « Солнце мертвых » и « Пути небесные ». И даже эти три романа не имели того успеха, какого они заслуживали. Ибо трудно писателю утвердить себя благодаря переводам, хотя бы они были безупречны. Жить в стране, язык которой — иной, чем тот, на котором он пишет, для писателя — опасное испытание. Он не привлекает к себе внимания международной публики, если он не живет в географических и лингвистических пределах своей родины. Если революция или война, или какое-нибудь другое событие заставляет его покинуть эти пределы, он теряет последний шанс на уважение читательской толпы. Вообразите себе Бальзака, принужденного покинуть Францию и обосноваться в Греции или Турции. Его гений остался бы неизменным, но его голос не возбуждал бы больше никаких откликов.

Иван Шмелев испытал это одиночество и непо-

нимание, являющееся уделом изгнанников. Он страдал от этого и может быть больше, чем другие. Потому что жестокая судьба реcпорядилась так, что этот русский писатель, обосновавшийся во Франции, мог писать только о России. Разлученный с нею он думал только о ней одной. Лишенный ее, он не переставал говорить только о ней в своих книгах, говорить с любовью, с каким-то мистическим неистовством. И в самом деле: ничто в этом человеке не приготовило его к тяжкой участи изгнанника: его характер, склад его натуры, его прошлое — все предуказывало ему жить и умереть на земле своих предков.

Иван Шмелев родился 21 сентября 1873 года в старинной семье купцов, сохранившей патриархальные обычаи, свойственные этому классу. Его дед и отец производили различные работы, как постройка мостов, сплав леса, иллюминация города в праздничные дни. Эти праздники, очень многочисленные в православном календаре, определяли ритм жизни всего дома. Религиозные обычаи и национальные традиции строго соблюдались как хозяевами, так и всеми служащими их предприятия.

Во дворе Шмелевых собирались всевозможные рабочие: плотники, столяры, маляры, рыболовы, дровосеки, бродячие фокусники и сказители. Приходившие со всех концов России, эти скромные и веселые люди рассказывали детям сказки, объясняли приемы своего ремесла. В общении с ними Шмелев, будучи ребенком, приобретает знание народного языке, его особенности, узнает поговорки и пословицы. Библиотека его отца не содержит почти ничего, кроме Псалтыря. Он читает Псалтырь и в говоре людей с мозолистыми руками, всклокоченной бородой и с детскими глазами он слышит отклики этого чтения священной книги.

Такова двойная школа, в которой формируется

его мысль и его стиль: священные псалмы и народный рассказ. И вот, все его творчество будет отмечено влиянием православной мистики и вдохновлено любовью к простонародью. Даже годы его учения и далее университет не помешают его склонности к простым людям.

Сдав университетские экзамены, он записывается в Москве в адвокатское сословие и женится в 1895 году. Но скоро он отказывается от адвокатуры и поселяется во Владимирской губернии, где большие промышленные центры находятся по соседству с обширными вековыми лесами, чудесными церквами и мастерскими иконописцев. В этих местах, где так много таинственного, он возобновляет свою связь с крестьянами, рабочими, торговцами, которые позже оживут в его произведениях. В этот период он печатает несколько небольших рассказов и только в 1910 году появляется его роман, имеющий успех «Человек из ресторана».

В этом произведении Шмелев одушевлен глубоким состраданием по отношению к тем, кого Достоевский называл «униженными и оскорбленными». Его герой, человек из ресторана, в своих унижениях не ищет предлога для того, чтобы обличать социальную несправедливость, а ищет, в свете своей несчастной судьбы, смысл жизни и стремится открыть законы мира.. За грудами тарелок, за грязными скатертями, за кухонным чадом, он видит Бога.

Критики единодушно признали достоинства богатого стиля этого повествования, показывавшего изнанку больших московских ресторанов. Автор оглушен хором похвал. Его сравнивают с самыми великими писателями, ему предсказывают безоблачное будущее. Но похвалы его не смущают, не отклоняют от намечнной им дороги. Он пишет не для публики, а для себя. Он не спешит, он ожидает, чтобы вновь

взять перо, « бури вдохновенья » — согласно собственному его выражению. Он сосредоточивается, ищет внутреннего мира, и мысли его озаряются внутренним светом. Один за другим появляются рассказы, свидетельствующие об его литературной зрелости.

⁂

РАЗРАЖАЕТСЯ война 1914 года и при виде человекоистребления, где тонут в крови люди, неспособные понять необходимоеть своей жертвы, Иван Шмелев — в тревоге и ужасе, исполнен жалости и боязни. Он пишет один за другим в 1915 и 16м годах рассказы « Лик скрытый » и « Забавное приключение », где отражаются переживания военных бурь.

Но действительность превосходит его худшие опасения. За войной следует революция. Среди общей разрухи в голодной стране, между белыми и красными завязывается братоубийственная борьба. В 1918 году, после штурма Москвы большевиками, Иван Шмелев едет в Крым на поиски своего единственного сына, который был отравлен газами на фронте. Но Крым, после отхода армии Врангеля, в свою очередь захвачен красными. Сын Шмелева расстрелян. Сам он, скрываясь в маленьком домике в Алуште, ожидает со дня на день той же участи.

В этой обстановке террора, он писал при свете огарков « Неупиваемую Чашу », где рассказана история крепостного иконописца, который любит свою госпожу, понимая безнадежность своего чувства и выражает свою страсть в искусстве.

Вокруг писателя — нищета, голод, страх. Нечего есть. Люди умирают сотнями. Даже близкие друзья боятся встречаться друг с другом из страха доноса. Каждый остается в своем углу, ища спасения в молитве.

Вспоминая об этом времени, Шмелев писал многие страницы своего « Солнца Мертвых », писал уже в 1923 году, покинув Россию, где он оставил могилу своего горячо любимого сына, свои рукописи, свои воспоминания и, может быть, смысл своей жизни. В изгнании, уязвленный в своей любви и в своей вере, он чувствует потребность открыть культурному миру ту опасность, которой грозит ему кровавый взрыв ненависти, потрясший Россию. Талант романиста принимает у него явно полемический оттенок. Он не хочет больше писать для искусства. Он хочет своим словом разбудить заснувшую совесть, собрать воедину разрозненные силы, обратить внимание всех христиан на страшную угрозу, нависшую над миром.

И вот в рассказе « Про одну старуху » он изображает страдания крестьян во время революции, в окрестностях Москвы; в рассказе « Стенька рыбак » описаны ужасы чрезвычайки. Подобным же темам посвящены « Каменный век », « Свет Разума », « Это было ».

Под впечатлением последнего рассказа, Киплинг пишет автору, чтобы сказать ему, что его творчество имеет общечеловеческое значение, выходя из рамки национальной литературы.

⁂

Но годы делают свое дело. В изгнании Иван Шмелев видит издали, как укрепляется тот режим, успех которого его удивляет. Он слишком верующий человек, чтобы не найти в своем собственном испытании ясную волю Творца. Его страдание теперь ему дорого как знак внимания высшей силы... Что ждать ему от будущего? Вернуться в Россию? Он понял, что не может больше на это рассчитывать. Завоевать во Франции известность, подобную той, которой он

пользовался в Москве? Но разве можно на это надеяться, если только одни эмигранты могут читать и понимать его книги? Его последнее прибежище — жить прошлым и для прошлого, в котором он ищет утешения.

В своей маленькой, скромной комнатке, украшенной иконами и фотографиями, он со страстью погружается в мир воспоминаний. В то время, как за его окном гудят парижские автобусы, он мечтает о Москве под снегом, о темных лесах, о бескрайних степях, о Валаамском монастыре, о нянях, рассказывающих сказки. Среди волн французской жизни он воздвигает плотину, чтобы защитить свое одиночество — и терпеливо, с любовью воскрешает на своем островке картины своего детства.

Теперь он по ту сторону стадии гнева. Он сказал то, что должен был сказать о революции. Он вскрыл нарыв, который мешал ему думать о другом. Облегченный, умиротворенный, он возвращается к темам, которые когда-то возбуждали его восторг: покой и тайна природы, чудесные мысли христианских праздников, чудеса любви, самопожертвования и страдания. Именно в таком настроении он пишет « Богомолье », где рассказывает необыкновенное путешествие, совершенное в 1885 году маленьким Ваней, который отправился из Москвы в Троицкий монастырь.

Такова же и « Няня из Москвы », написанная в 1933 году, где главным лицом является старая няня, покинувшуя Россию после революции; очутившись в Париже, она рассказывает на свой манер перепетии изгнания и начало новой жизни на чужой земле. « Я примирилась со всеми страданиями, говорит она, и я поняла всю правду ». Автор мог бы поставить эти слова эпиграфом ко всему своему творчеству.

В другой книге « Лето Господне », начатой в 1934

году. Иван Шмелев переносит читателей в Святую Русь, согретую любовью и верой, убаюканную мерным конским топотом, бренчанием колокольчиков и звучным голосом колоколов.

На этих страницах как бы овеянных ароматом ладана и пшеницы, автор раскрывает значение больших православных праздников. Мы присутствуем с ним на вечерне в маленькой церкви, где собралась умиленная толпа верующих, мы чувствуем праздничную символику русской Пасхи, русского Рождества, мы с трепетом слушаем погребальные песнопения панихиды . . .

Но не подумайте, что это своего рода « религиозный репортаж »: за живописными сценами « Лета Господня » скрывается глубокая мысль. Ибо рядом с календарем дней идет календарь совести, движение солнца в небе сопровождается движением внутреннего солнца души, а законам небесного тяготения, которые управляют временами года, соответствуют законы духовного тяготения, управляющие судьбой христианина. « Лето Господне » могло бы быть озаглавлено: «Жизнь человека, освещенная Божьим светом».

⁂

То же мы видим и в другом романе Шмелева « Пути Небесные », который переведен на французский язык. Сюжет его прост: ученый, далекий от религии, любит послушницу, ее соблазняет, а затем под ее влиянием обращается к вере. Роман был задуман как первый том трилогии. Второй том был написан во время войны и оккупации. Но у Шмелева не хватило времени закончить третий и последний том, который в форме плана, остался в черновиках.

В свое время Жюль Легра написал о Шмелеве, что его творчество « отмечено христианской любовью, которой не знает наш мелочный Запад ». Эта хри-

стианская любовь к ближнему, эта вера, рождающаяся в страданиях и преодолевающая страдания, освещает внутренним, неземным светом действующих лиц «Путей Небесных». Самые обыденные предметы, самые, как-будто, пустые часы жизни приобретают для них мистическое значение. Отвращаясь от материалистического восприятия жизни, герой книги обнаруживает присутствие Бога не только в церковных обрядах и голосах, но и в цвете неба, в порхании снежинок, в женской улыбке, в запахах пирожного, которое готовится на кухне. И в центре этого преображенного мира находится маленькая послушница, застенчивая, любящая, мучимая сознанием совершенного ею греха и утешаемая сознанием, что она спасает человека, который без нее утонул бы в пучине отчаяния.

Здесь, как и в других его произведениях, стиль Шмелева приходит на помощь его мыслям. Его словесные средства так богаты, что он умеет сообщать вещам трепетную жизнь, которую чувствует читатель. Мы ощущаем аромат чая, свежесть стекол, покрытых инеем, шершавость древесных стволов. Он не описывает предметы, а как бы вызывает их из небытия и подносит их к нам, дает их ощутить нашим пяти чувствам. Читая его произведения, мы не только думаем: мы видим, дышим, слушаем, касаемся руками того мира, который он нам предлагает...

⁂

Не имея больше перед глазами предметов, которые он описывает Шмелев полагается на свою память, которая безошибочно их воскрешает. В свете взволнованных воспоминаний, малейшие детали очерчены с изумительной точностью. Недоступные во времени и пространстве предметы, описываемые художником, обволакиваются поэтической дымкой тоски.

Воскрешая их, он не показывает их такими, каковы они были, когда он их видел, но такими, какими он их видит с тех пор, как их больше нет.

За тысячи километров от России с упоением пишет о ней. Он переполнен любовью, надеждой, скорбью за землю своих предков. Теперь его единственная цель — рассказать то, что таится в его памяти, ничего не растерять из этого сокровища, поведать миру наследие своих последних воспоминаний.

Но у него нет времени осуществить свою мечту. Смерть уносит его прежде, чем он излил на бумагу все свои чудесные секреты. Но то что он написал, останется. В своих поисках России Иван Шмелев, сам того не сознавая, ушел дальше своей цели. Он хотел быть только национальным писателем, а стал писателем мировым.

Анри ТРУАЙЯ.

У МЕЛЬНИЦЫ

Рассказ

Шум воды становился все отчетливей и громче... Очевидно, я приближался к запруде. Вокруг рос молодой осинник, и его тонкие длинные стволики сероватою густой стеной тянулись передо мной, загораживая шумящую реку. С треском продирался я чащей, спотыкаясь об острые пеньки, незаметно скрытые в сухом листу, получал нежданные удары гибких веток... А река шумела громче и громче. Что-то гудело даже, издавая стоны, точно к шуму воды примешивался какой-то живой звук. « Должно быть, мельница на запруде », подумал я.

Я попал в совершенно незнакомую местность... А лесок все тянулся... Стал березняк попадаться, потом и пушистые кусты дубняка. Это мне подавало надежду, что окраина близко. Что-то светлее вдруг стало! небо яснело за чащей... Волна света и воздуха хлынула мне на встречу... Свежестью ударило в лицо, необъятным простором сверху, шумом и гулом реки снизу... Я стоял над кручей. У самых моих ног почти отвесная глинистая стена спускалась к реке... Недавние следы осыпи длинными полосами тянулись книзу. Мельница шумела и завывала на запруде, река в колесо била и белой пеной вертелась внизу, за плотиной. Узкая полоска наносного речного песку тянулась вдоль откоса, ровная, прилизанная отхлынувшей водой. Широкий омут темнел внизу глубоких колодцев; две - три корявые ветлы с пуками тонких ветвей на вершинах склонялись над ним. Старые развесистые рябины, усыпанные кистями красневших ягод,

одинокою группой стояли за мельницей, скворешница, увенчанная хворостиной, торчала над ними.

На самой плотине, свесив ноги над шумящей водой, сидел старичок в розовой рубахе и ловил удочкой рыбу. Выше плотины река тихо текла, совсем незаметно было ее течение... Яркий, слепящий глаза, круг отражался в воде и постепенно приближался к берегу... Солнце заходить собиралось... Я кашлянул... Старичок за шумом реки ничего не услышал... Я взял кусок глины и бросил вниз на плотину... Старик-рыболов глянул на кручу и увидал меня...

Он что-то громко крикнул.

— А? что? крикнул я. Шум реки мешал.

— В омут, говорю, свернетесь... Сыпется берег-то... Не спущайтесь здеся, оборветесь. Эй, эй, кричал он... Вон поправей-то... поправей заберите, тропа там... Да, полегоньку... за кусты-то хватайтесь... за кусты-ы, говорю... крикнул он и принялся глядеть на поплавок.

Я глянул на обрыв... Да, спускаться было страшно, совсем невозможно... Внизу старик-рыболов казался мальчиком, а мельница маленькою избушкой. Только шум и гуденье, казалось, вверху были громче, чем внизу, на плотине. Высоко стояли рядами копны сжатого хлеба, за полями деревушка чернела, за нею опять поля, на горизонте белела церковь. Место совсем незнакомое. Я повернул вправо, как указал старичок, и, пройдя шагов тридцать, заметил тропинку, которая тянулась к плотине, извиваясь над темневшею водой вдоль отвесного ската.

Цепляясь за кусты черемухи и крушины, Бог весть, каким чудом укоренившиеся на глинистом скате, спустился, наконец, я к самой плотине. Почва чуть

слышно вздрагивала под мною, потрясаемая работой мельницы. Меня обдало вдруг свежестью, запахом рыбы и чего-то особенного... чего? я не мог отгадать. Мне никогда раньше не доводилось слышать этого запаха. Я подошел к старичку, который только-что вытащил крупного окуня и старался снять его с крючка. Мы раскланялись.

— Чем это так пахнет здесь? спросил я.

Старичок поднял голову и обнюхал воздух.

— А рази чем пахнет?.. не слышу што-то... Чему бы тут пахнуть... место вольное... Ишь, река-то как воздух чистит... холодок здеся... благодать...

Но тут я заметил, что лицо, руки и сапоги старика пакрыты были какою-то красною пылью, точно кирпичною...

— Что это на ногах-та у вас? спросил я его. Старичок поглядел на сапоги.

— Как што? сказал он. — Вишь сапоги... али разорвались? и он стал осматривать ноги.

— Да нет. Я говорю про красную пыль... Чем это сапоги-то ваши покрыты, да и руки-то?..

— А!! Во што... протянул он. — Сандал это... Сандал трем... ну и идет от его эта пыль, сказал он и забросил лесу. Так уж не сандалом ли пахнет-то? Я-то не слышу... не чувствительно мне на нос-то... да... А я то думал — сапоги порвались где... сказал он и отвернулся.

В самом деле, в воздухе носился запах тертого сандала.

Старик совсем ушел в свое дело. Голова его выпятилась вперед, а глаза напряженно смотрели, как поплавок кружился и прыгал в волнах. Минут пять прошло, а он ни разу не обернулся ко мне, не произ-

нес ни одного звука. Вся фигура его показывала, что нет ему до меня никакого дела, и я нисколько не удивился бы еслибы он сказал:

— Ну, чего ты? Чего?.. Шел бы ты отседа, добрый человек, куда тебе нужно...

Шея его была жилистая, длинная, и голова как-то странно на ней торчала. Борода выдавалась вперед, точно ветер ее поддувал.

Он иногда покряхтывал от нетерпения, что так долго не клюет, часто переменял руки, иногда косился в мою сторону. Я присел рядом и стал смотреть.

— Вы из каких будете? спросил старик и сплюнул в воду.

— То-есть, как из каких?

— Да, как... гулящий, али по делу какому?

Я сказал, что случайно попал в эти места, — шел из «Прудниковки», услышал шум воды и пошел на него.

— А!! протянул старик. — Тут места у нас хорошие, рыбы много...

И в доказательство его слов поплавок вдруг исчез под водой. Леса натянулась струной, и конец удилища изогнулся.

— Матёрый, должно, взял... вишь водит... ишь... ну, теперь держись брат... ну, выудим тебя, голубчика... вытянем...

Конец удочки извивался во все стороны. Руки старика дрожали. Он перевалился на бок и стал слегка натягивать на себя удилище.

— Ой здоров... налим, должно... либо сомок махонький... Ах, ты горе-то какое... подсачка-то не прихватил... э!..

Он растерянно посмотрел кругом себя и наконец взглянул на меня.

— Во што ... сделай милость ... побеги, милый человек, вон к сарайчику то ... подсачек-то там в уголку стоит ... Без его не вытащить ... Будь друг ! ..

Я перебежал плотину, отыскал подсачек и принес. Старик левой рукой натянул лесу и стал притягивать, а правой завел подсачек. Что-то блеснуло крупной чешуей.

— Вот он... вот ... попался теперь, брат, прокряхтел старик и, ловко заведя подсачек, притянул на плотину рыбу. В сетке трепыхался прекрасный голавль.

— Знатная штука ... да ! Должно, легкая у тебя рука-то, милый человек ... Ай да голавлик.

Лицо старика прояснилось, когда он взял голавля поперек и повертел его перед собою.

— Ономнясь я такого-то вытащил ... да ушел, проклятый ... Сунул в ведерку-то, забросил удку-то, а он-то — хлясь хвостом да и прыг из ведерки-то ... ровно ученый ... Ну, этого то я прикрою ...

И закрыв ведерку доской, он снова забросил лесу.

— Что зто за местность ? спросил я. Как зовется-то ? ..

Это-то ? .. вертелом зовут у нас ее ... Потому, крута больно ... да и глыбь велика ...

— Нет, все это простанство-то ? ..

— Да как зовут ? никак ... Место, и все тут ... вон лесок энтот Демьяновским зовется ... барина Демьянина был ... тут все его место было ... Вот и мельница его была да и за вертелом все его ... — Он подумал.

— Барин настоящий был... Эх, хе-хе. Только оконфузил себя... замарал, значит...

— Как так оконфузил? ..

— Да так... Как господа-то себя конфузят? .. известное дело: спустил все... в однех штанах отседа ушел... вот те и замарал... А барин был настоящий... Пуговицы золотые на одежде были... усы длинные, сам из себя кудластый... А все как есь спустил...

Поплавок опять опустился, и старик вытащил окуня средней величины.

А вот дай солнышку зайтить, так и почнет хватать... рыбное больно место у нас...

Он снял с крючка рыбу и опять забросил лесу.

— И чего только надоть им, господам? Все, кажись, есь... Да все чего-то им еще нужно... Рожна што-ли им надоть... А ни за что вить сконфузил себя-то... так... э-эх!

— Да как сконфузил то? — спросил я.

— Так и сконфузил... пропал чѐловек, и все тут. — Говорю, в однех штанах вышел.

Очевидно, старик не хотел распространяться. Он опять начал упорно глядеть в воду, то-и-дело сплевывая.

— Ну, а тѐперь-то чье это место? кому принадлежит?

— Хозяину нашему... все как есь... Пантелею Петровичу... — Сказал старик и замолк.

— Купил он у барина что-ли? — спросил я.

— Подикося... купил... А на што ему купить то? .. так... мужиченко был... вон с той деревни... в рабочих у него состоял, камни пущал... сандал строгал, в машину подпихивал... одно слово, мужи-

ченко был... А теперь вон лес заторговал... вон у Прудниковки-то... по озеру... видали березняк садом сажень?.. — его все... Самый богатый по сему месту... Да што тут толковать... одно слово, барином стал... того-то... прежнего в однех, значит, штанах... Фью... Эх! Мало ли на белом свете делов-то творится... рази перескажешь все! Вот и это таперича дело: был барин и пропал. А мужиченко-то, Пантюшка, заместо барина... накося вот...

— Да как же это он так? обманул барина? обокрал что ли его как?

— Дело темное... да уж не без того... Я вон сам с им вместе службу справлял, над им состоял... Бывалыча крикнишь: «Эй Пантюшка! мотри, не пущай жернов-то шибко». — А он «да ужь знаю, Степан Иваныч»... А теперь он ломается: — «Эй, Степка, ты у меня мотри... воду-то больно не пущай...» А я: «да ужь знаю, Пантелей Петрович...» — Вот оно дело-то какое... Бывалыча, скажешь ему: «Подлец ты, Пантюшка, зачем, говорю за женой не смотришь? Ишь она у тебя на все стороны»... так... гулящая, знаете ... А он мне: «эх, Степан Иваныч, да што мне с ей поделать... обухом што ли пришибить...» Ну, она ему на руку и сыграла... Эх! сорвалась, подлая. — Крикнул Степан Иваныч и, надев нового червя, забросил снова.

Сзади нас солнце садилось огромным горящим диском, и за плотиной ползли линии красного света, переливаясь и играя в кипящей воде. Старые рябины за мельницей с пышными гроздьями красных ягод подернулись снизу первою вечернею тенью и потемнели; только пушистая зелень вершин ярко освещена была тихим светом палевого заката. Повыше плотины,

в тихой воде начинала пускать круги и плескаться рыба... Все обещало скорую ночь.

— Вы, Степан Иваныч, сказал я — в хороших отношениях с хозяином-то?.. Служить остались попрежнему?

— Да мне што... они там што хошь пущай делают... рази я в их дела мешаюсь? Мне што... Пущал допреж мельницу и сичас пущаю... Никаких их делов не знаю... Все мельницу слушаю, да вот рыбенку ловлю... Мне их дело што... тьфу... — и Степан сплюнул в воду...

— Отвык он от людей, — думал я, сильно желая узнать историю превращения Пантюшки в Пантелея Петровича, и Степана Иваныча в Степку, — Отвык. — оттого и не разговорчив. С ним нужно осторожно говорить.

— Вот вы, Степан Иваныч, начал я — сказали, что жена то Пантюшки на руку ему сыграла... Что же... избавила его от себя, что-ли? убежала от него?..

Степан Иваныч посмотрел на меня насмешливо одним только глазом, другим на поплавок смотрел.

— Убежала... хе-хе... убежала... Зачем ей бежать? с им и осталась... Я про то говорю, што в эфтом деле-то темном на руку ему сыграла... с барином-то... во што...

— А!!! — протянул я, интонацией голоса стараясь показать, что пояснения старика меня мало интересуют. — А я думал сбежала с кем...

— Ага! вот и еще такой... ага и Степан Иваныч опять таки при помощи подсачка вытащил хорошего окуня. Это обстоятелство быстро повысило его настроение. Он забросил удочку и потянулся...

Что-то ударило сзади нас по воде, так громко, что я вздрогнул точно с берега кто бросился...

— Что такое? — спросил я.

— Сомок тут один у нас есь... вон у куста-то, в яме, ну и кажиный Божий день... к вечеру эдак и почнет ходить, гром делать... за щуками гоняется... такая пляска идет страсть...

Степан Иваныч крякнул и посмотрел на солнце.

— Должно, восьмой есть... ишь сичас совсем сядет... вон и туман потянул с воды-то... Действительно, на плотине было уже сыро, и едва заметные струйки испарений плыли по ветру и холодили.

— Выужу последнего, и домой! — сказал Степан Иваныч. Мы помолчали...

— Куда ей бежать?.. вдруг сказал старик. Оно, конечно, вострая была бабенка,, а все место себе нашла...

Он протянул вперед руку и указал на старую, корявую ветлу с кустом тонких прутьев на сломанной верхушке.

— Вон там... под ветлой... аршин семь глыби-то да и повертывает там... Може, и вёртелом это место зовется, что повертывает здеся... да и ключ бьет в берегу-то холодный... как лед...

— Ну, так что же? — спросил я.

— Да то-же... нырнула в вертел-то... ну ее и того... Степан Иваныч сделал рукой несколько кругов... Ну и завертело ее там...

— Должно быть, оступилась? — спросил я.

— Бог ее знает... с самого верху катилась, вот где вы давеча стояли... нарочно, али так... земля под ей расступилась... Ну и завертелась с эдакой махины-то... Мы-то на плотине стояли... Слышим,

визжит што-то... Глянули с Пантюшкой — красное што-то вертится по горе и визжит... да кэ-эк об ветлу-то гукнет, да прямо в вертел... ну и того... ко дну... А за ей так с горы-то и посыпалась земля-то... Прибежали с багром, выволокли... ну, и покончилась... рассадила об ветлу голову... А ловкая была баба... бывалыча, со мной, подлая заигрывала ...да!..

— Наверное оступилась... — сказал я.

— Бог, говорю, знает один... И чему бы оступиться-то... Диви бы тропки не знала, а то ведь летом по ей шмыгала... А може и оступилась как.

Степан Иваныч выводил меня из терпения.

— Да с чего бы ей нарочно-то? — спросил я. — Ведь ничего не было такого, чтобы с жизнью-то ей покончить? а, Степан Иваныч?

— Оно, конечно, не было, пожалуй... а може и было што, кто е знает...
С барином она допрежь все... то да се... пустила его в однех, говорю, штанах... просто штуку ему подвела... Вот те и причина... Темное, говорю, дело... Эх! бывалыча, говорю я Пантюшке: «подлец, ты Пантюшка! зачем жену до токого дела допущаешь!.. Срамит вить она тебя... в рожу тебе наплюют» — говорю я ему. А он мне: — «знаю, говорит, Степан Иваныч»... — он тады меня Степан Иванычем звал, — «знаю, говорит, да рази с ей сладишь... во она у меня иде сидит»... — Вертела им ровно вот травкой... И грех-то на ей за все... да все она штуку-то подвела...

Степан Иваныч просто-на-просто не хотел рассказывать про штуку, которую подвела барину жена Пантюшки. Или ужь он привык молчать, мельницу

слушать, смотреть, как с шумом бежит вода с колеса ивертится, и пенится...

Я посмотрел на ветлу... Под нею была тихая спокойная вода, совсем незаметно, что вертит там. В наступающих сумерках прутья на сломленной верхушке казались взъерошенными волосами гиганта, Не умолкая гудела мельница... Тонкие, эфирные капли воды обдавали нас... От солнца одно пламя осталось: огненного шара совсем не было видно... Сзади нас сомок опять точно из ружья ухнул, и что-то запрыгало по спокойной воде.

— Ишь, разбойник... щуку ухватил... Жрет он этой щуки видимо-невидимо... вот дай крюк завести... мы его, голубчика, вытянем... покормился...

Поплавок пропал, и сильная рыба дернула удилище. Степан Иваныч нервно подсек и вытащил... Крючка не было.

— Ах, проклятая!.. Щуренок, должно... ишь ...ровно ножем срезал, паскуда... Ну, пора! Он собрал удочку, достал кисет с табаком-махоркой и свернул из газеты «ножку». Я смотрел на кручу, совершенно красную от яркого освещения последних косых лучей, и вдруг мне ясно представилось, как визжит и вертится по ней что-то красное книзу и прямо об ветлу тупым звуком, да в вертел... Темнел откос... Темные полосы ночной тени ползли по нем ... Ветла совсем отступила в кусты черемухи и крушины, что тянулись по скату... Степан Иваныч смотрел в крутящуюся воду, курил и поплевывал в омут. Лицо у него загорелое, спокойное...

— Тут у нас глыбкое место... — сказал он... — Вода выточила... Вот на середине-то и дна не достать... — яма... В ей. говорят, старый сом ле-

жит, по ночам всплывает, как месяц засветит. Только никто его не видал... а так... говорят старики... Вот как станет этта месяц-то вон по-над тем местом... — старик показал на вершину отвеса, да глянет в омут-то, сом-то сичас и проснется, и всплывет. Полежит быдто он на воде... здоровеенный да гладкий, ка-ак ухнет хвостищем, так вода и закипит, и пойдет ходуном ходить... Ухнет и в яму опустится... до другого, значит, разу...

— Верите вы, Степан Иваныч, в сома-то?

— А кто е знает... Кой раз ночью и услышищь, как этто хвостищем по воде валяет... Здоров, должно,.. Сытно тут у нас... рыбы страсть, хлеба-што одного ему сыпется... сому-то... А ему што... лежит да глотает...

В ведре Степана Иваныча голавль задавал звон и выплескивал воду... Старая мельница трепетала всеми своими частями, тряслась, завывала, гудела, шумела, вода пенилась и уходила, а за ней новая, и так беспрерывно, как облака в небе — одно за одним тянутся.

— И здорово он ухает-то... так и долбанет... Да при людях не всплывает, должно... не любит. Он помолчал и затянулся.

— А вот хозяин-то наш, Пантелей Петрович... частенько так... приедет выпимши здорово и водки с собой четверть привезет... и выдет он на плотину ...ночью то... Месяц подымется над вертелом... так и видно его в воде... ровно плавает али на дне светит... На лугу кругом тишь такая стоит... в реке рыба всплескивает и вода бежи-ит с колеса... а ен, Пантелей-то Петрович, станет по середке плотины и бурчит, ругается, должно, и глядит на воду,

ровно леший какой... Должно сома увидать охота берет... Стоит он эдак, стоит, ругается и ровно замрет... И видно ему, значит, как этта месяц от вертела, от ветлы-то, в воде к ему ползет... А тень от его чорная... на плотине за ним лежит... И не страшно ему так-то стоять, потому выпимши...

— Чего же страшно-то? спросил я.

— Мало ли чего... известно ночью-то... всякая нечисть по свету шляется... да и место-то глухое ...жуть берет... жена утопла... Мне вот когда ночью-то вытить придется... глянешь на вертел и ровно зажмет што в тебе... Чудится вот, что верещит да катится красное, да бухнет в воду... особливо ежели сомок-то к разу прыгнет... А ему-то, Пантелею Петровичу-то спьяну и ничего... А как доползет месяц до плотины, к ногам-то его, почитай, глянет в него с плотины-то, увидит в воде должно голову свою, отскочит назад и пойдет на мельницу... и все-то ругается всячески, и сичас за четверть, зачнет пьянствовать, запоем, значит... И все по лунам этто у него ... пьет этого виница страсть!! Вот и нонеча приедет, — верное дело... Теперь он у себя на даче... вот возля деревни... быдто в роде дома... И как этта месяц да ночь ясная, ну сичас и на мельницу с водкой... и меня угощает... да!! Пей, говорит, Степка! вспоминай, говорит, как мы с тобой камни пущали, барину служили... Вспоминай, говорит Степка потому я сам теперь барин, а ты — Степка, говорит, рыло у тебя суконное... Был ты, говорит, Степка мужик и есь ты мужик... И начнет он этого барина ругать... Господи ты Боже мой... ужь и костит его...у — у... — ровно барин поперек горла ему стал... Подавай, кричит, такой-рассякой, подавай

сюды мою Дуньку! Куды, говорит, задевал ты её?.. Да! и канителится он до утра до самого... а потом дрыхнет... А ночь настанет — сызнова пойдет... с неделю... Степан Иваныч плюнул в последний раз и бросил окурок в омут.

— А раз даже говорит: Степка! а помнишь, говорит, как я тебя Степан Иванычем звал, а ты меня Пантюшкой? А теперь эвона што... А все жена это сделала... Я, гыть, Степка, тут не причинен... я, гыть Степка, може и сам в монахи пойду... да... Э-эх! мало ли темных делов на свете делается! рази их узнаешь... Он стал собираться, придвинул ведро, завернул тряпочку с червями, поплевал на руки, вытер о штаны и поднялся.

— Вы куда же теперь?.. домой-то вам поздненько... да и оборветесь с кручи-то... а? сказал мне Степан Ивановуч. Рази на мельнице заночуете.

Я поблагодарил Степана Иваныча и сказал, что с удовольствием переночую.

— Ну, так пойдемте ужинать, да спать!..

Мы перешли плотину. Я глянул на вертел. Мелкий лесок спрятался в темноте. Откос совсем потемнел, и старая ветла слилась с ним. Вода почернела. Повыше плотины спокойная водная гладь бороздилась и колыхалась от всплескиванья рыбы. Берега реки сливались с пожелтевшею водой.

Степан Иваныч поставил рыболовные снаряды в сарайчик и провел меня в каморку. Там собралось человек пять рабочих к ужину. Мне не хотелось ужинать, и я присел на скамейке, против плотины.

— Надо пойтить воду пустить! — сказал Степан Иваныч. Скоро мельница перестала завывать, и вода

широкою волной хлынула в омут: старик поднял заставы.

Я сидел и смотрел на откос, который все стушевывался, на темную воду, в шуме которой слышалась невеселая, однообразная песня настоящего, которое уходит, и будущего, которое следом за настоящим идет. — Так все на свете! — казалось, говорили бегущие струйки. — Уходит одно, на смену ему приходит другое, и так всегда будет, всегда, без конца. Вот и облака в небе тянутся так, и ветер несется, и звезды плывут — одна за одною, одна за одною... И люди, и зло и добро, свет и тьма — чередуются. В каморке зашумели, задвигали лавками, — должно быть отъужинали... Рабочие побрели спать, — кто в сарайчик, а кто и так под открытым небом, засыпать под знакомый шум бегущей воды.

— Ну, а вы-то где спать лягете? — спросил меня Степан Иваныч.

Он вышел из каморки и сел рядом со мной, попыхивая « ножкой ».

— На сенник пойдемте со мною... над мельницей... знатно там! Оконце спустим... воздух легкий ... благодать...

Я согласился.

— Ишь вода-то... все бежи-ит, бежи-ит. Сказал он, покачивая головой и задумчиво глядя на реку. — И сколько ее мимо меня пробежало!.. Лет 25 я здесь... и все-то бежи-ит она... и время то бежит... А станешь вспоминать все, как было, и ровно недавно будто-бы, да!.. Вот скоро, чай, и хозяин приедет... верное дело... Ишь ночь-то какая. — Засветлело, что то за вертелом... Никак месяц подыматься зачал... — Сказал он.

— Степан Иваныч! Сказал я. — Любила барина жена-то Пантелея Петровича!..

— А кто ее знает... Мудреная бабенка была... да... И все ровно вчера было это...

Видимо, ужин благотворно подействовал на Степана Иваныча и расшевелил его...

— Да... ровно вчера... Приехал этта барин на мельницу как-то да и увидь ее... А она-то, Дунька, ловкая была, ой ой! кра-асивая... Со мной, бывалыча, подлая заигрывала... Да!.. Треснет здак по спине-то... — А што говорит, Степан Иваныч? какова я такова? а? ловкая, говорит я баба или нет? — Да!! — Степан Иваныч крякнул. — Вот она какая была-то... Ну приехал этта барин, на Пантюшку-то и крикни... — Ты што, говорит, бесов сын глазами-то хлопаешь, делов не делаешь?.. а?.. — А Дунька-то ему и махни: — А што ты, говорит, больно орешь ...так — быдто в роде этого... — А чего, гыть: ему не хлопать, коли я, говорит, за него сама могу камни пущать?

Да при барине-то подняла юбку то до колен да по лесенке то и махнула... пустила камни-то... Пустила да и кричит: Што, барин! какова я такова?.. А видал, говорит... вот это?.. Засучила ручищи-то и показывает барину... На место мужика, гыть, могу ...А глазами-то, подлая, эдак все эдак...

Степан Иваныч повертел головой и постарался метнуть глазами.

— Ну, известное дело, у барина-то сердце и загорелось... А Пантюшка ровно дурак стоит: то на Дуньку глянет, то на барина... Да!.. Вот она какая была-то...

Степан Иваныч умолк и стал на вертел глядеть...

— А потом? — спросил я.

— Што потом... На другой, почитай, день барин опять прикатил, а Дунька то, вот подлая, купается... Увидела барина-то, да как выпрыгнет и мырк в воду... и пропала... Барин смотрел, смотрел — нет Дуньки. — Утопла. — кричит... а она-то, подлая, у самых его ног и вынырнула, только голову одну показывает. — Вот, кричит, какова я... Ты, говорит, барин, уйди... не гоже, гыть, постороннему человеку глядеть, как мужняя жена купается. — Так ровно ошпарила его... Тут и зачалось...

— Да что зачалось-то?

— Известно што... то да се... Первое дело, Пантюшке надо мною власть дана, главным его, значит... пондравился барину... Ну, тут и заварилось ... Барин на мельницу, а Пантюшка с мельницы, будто в деревню али еще куда... Ну, и пошло... Рабочих-то тады не было... Меня наверх... вот те и пошло... А потом, через неделю, прямо таки и ушла к барину... Што, гыть, я здесь делать буду? Мне, гыть, там с им лучше... Пантюшка ни слова, только глазами хлопает... Спервоначалу запьянствовал... Пожила она месяца три, натаскала деньжонок, да и к мужу... Пантюшка и слова не сказал, разрядился и пошло пированье у них... кажинный день пьянствовать зачали... Барин приехал, зовет Дуньку с собою... Нет, говорит, не пойду от мужа. Он и так, ее, он и эдак... Пойдем, говорит, со мною... Не пойду, говорит... И всячески-то он ее, и именами-то, и печатает, и все такое... Не пойду, говорит, у меня муж... Вот, ежели, говорит, отдашь ему мельницу, пойду... Ишь. вить, чего добивалась!.. А Пантюшка молчит, ровно нашло на него... Барин...

подумал, тряхнул головой... Берите, говорит, чорт с вами!.. ну и отписал... как следует... Та и ушла к нему... А Пантюшка пьянствовать... до зорьки все... ровно чумовой стал... ну, и пошло у него с эстого времени запоем... Три годика жила Дунька с барином... мужа не забывала... кажинный месяц ему денег присылала... Пантюшка в азарт вошел... прознал, что барин землицу-то распродает, и давай перекупать... да, обстроился... А та ему все деньги присылает... Пушила барина страсть... Глядь-поглядь, пришла Дунька купчихой... Пантюшка от радости пить... Где, говорит, барин? Фью, говорит... вот он где... по ветру, значит, пустила... Такая у нея ужь сила была... Денег опять принесла... земли прикупили... и пошло дело... Дунька пьет... Пантюшка пьет... Дунька, бывало, крикнет: эй, мотри... Пантюшка. Уйду к барину... а тот ни слова... С месяц пожила с мужем да с кручи и сорвалась... да об ветлу... Вот оно дело то какое... Да, и-и, сколько на белом свете делов-то... Ну! спать пойдемте... вон совсем скоро и месяц подымется... Совсем ночь наступила... звезды блестели на небе и светились в спокойной воде повыше плотины. Вершины рябин точно серебром подернулись от всплывшего за вертелом месяца... Скоро, скоро он и над кручей встанет и глянет с высоты поднебесной в темный омут.

Только что поднялись мы по трепещущей лесенке на сенник, опустили окно и растянулись на сене, готовясь заснуть, глухо застучали дрожки, фыркнула протяжно лошадь и раздался крик:

— Эй! Степка! Леша-ай! Дрыхнешь што-ли... Степка-а!

— Вот он... ни одного месяца не пропустит...

сичас пьянствовать станет... бес што-ли в ем какой сидит?.. Эх, крякнул сердито Степан Иваныч и спустился вниз.

Я стал прислушиваться. Внизу слышался крик хозяина и тихий голос Степана Иваныча.

— Дрыхнешь ты леший? а? дрыхнешь? пьяным голосом кричал хозяин.

— А што мне делать-то, ишь ночь на дворе... в бирючки што-ли играть?

— Ночь... кричал хозяин. Какая жь ночь, коли месяц светит... Ты. Степка, мотри у меня!.. ты меня, значит, не тревожь... Степка ты меня понимай... кричит хозяин.

— Чего-ж мне тебя тревожить, Пантелей Петрович!.. тихим голосом говорит Степан Иваныч. Спать што-ли будешь?

— Ладно! ты меня не учи... Постой, Степка, постой!.. Ты, Степка, знаешь... Дунька-то... а?.. Дунька-то... подлая она была?.. а?.. я рази виноват, Степка? а? говори, виноват? а?

— Будет тебе, Пантелей Петрович, канителиться... Шел бы ты спать, Пантелей Петрович...

— Помалкивай... помалкивай... я сам, может, скоро в монахи пойду... али еще куда... да... Ну, ступай... дрыхни...

Он говорил совершенно пьяным голосом и медленно...

Степан Иваныч поднялся на сенник и растянулся на сене.

— Ну что? — спросил я. его.

— Известно што... Пьян... четверть привез... ну и закрутит... Што ему делается... пьет-пьет, а потом задрыхнет... э-эх! грехи то все наши...

Вот сейчас на плотину пойдет... верное дело... выпьет для началу и станет глаза на воду таращить... Да уж и так накачался здорово... еле ходит...

Степан Иваныч начинал посвистывать носом.

— Ррразбойник... э-э... подлая рожа... паскуда... доносились снизу крики хозяина...

— Кого это он так? — спросил я.

— Кого? известно, либо меня, либо барина... завсегда, выпимши, его хлещет... Покою он ему не дает!.. барин-то... Кто е знает... Совесть што-ли в ем завелась, али по жене это он все... Плакал, как она с кручи-то да об ветлу... Ну! хорошего сна... — сказал, зевая, Степан Иваныч и зарылся в сено.

Я лежал и никак не мог заснуть... Хозяин еще бурчал что-то внизу, точно говорил с кем, но за шумом бегущей воды нельзя было слышать. Я лежал на спине. Свежесть ночи начинала понемногу усыплять меня, а монотонное паденье реки сбивало все мои мысли в одну точку... Мне начинала представляться какая-то длинная, длинная, уходящая от меня нить, и нет конца ей... Я начинал засыпать, забываться, перестал уже слышать шум воды... Вдруг передо мной блеснуло что-то, какая-то светлая волна пробежала над моею головой... Я открыл глаза... На противоположной стене ярко отражалось окно...

— А! подумал я. — Месяц над вертелом выплыл...

Услышал я гул воды, и в моем воображении представился отчетливо отвес, красный, обрывистый, с молодым леском на вершине, ветла с пуком прутьев, черный омут... Рассказ Степана Иваныча со всеми подробностями потянулся в моем мозгу, живо, ярко, даже плеск воды послышался... Искра пробежала по

мне... я вздрогнул и вскочил. Прямо в меня ударил месяц волнами своего света... Ясный был он, круглый, холодный... жутко было смотреть — что-то живое в нем было... сила какая-то: Прямо против него звездочка маленькая, светлая, тихая, а вокруг кольцо света, а дальше все темней и темней голубая бездна тянулась, а в ней шевелились, трепетали своими лучами звезды. Я поглядел на вертел. Маленький лесок с остренькими вершинами ярко рисовался на круче. Скат был черен, только внизу, у самой воды песчаная отмель белела, да старая ветла являла глазу куст прутьев на подломленной верхушке своей. А река бежала и шумела так же, как и днем. Месяц подвигался ближе, выше поднимаясь, а звездочка не отставала за ним и все также спокойно мерцала...

Ясно белела плотина... Облокотившись на перила, стоял человек, одетый в черный кафтан, без шапки, и, нагнув голову, смотрел на воду. Мне стало жутко... Вспомнил я рассказ Степан Иваныча, о соме вспомнил и опять на небо посмотрел . . . Два месяца увидал я... один в небе, другой в омуте, у самой ветлы. Теперь ветла видна была ясно... Корявая, серая, с глубокими трещинами; под нею сверкала вода.

— Вот он, вертел-то — подумал я. И ключи тут холодные... Пантелей Петрович стоял на плотине и смотрел вниз, как месяц в воде плывет, все ближе к нему, все ближе. Повыше плотины, в спокойной воде опять что-то бухнуло — должно быть сомок. Пантелей Петрович обернулся, осмотрелся во все стороны и опять глядеть в воду стал на подвигающийся месяц... Смотрел и я... только в небо смотрел. Мне было не по себе что-то. Это пустынное место, омут с тихой водой, вертел, рассказ Степана Иваныча, неподвижная

черная фигура на плотине, упорно глядящая в воду, монотонное паденье воды, месяц, холодный и ясный, какую-то силу в себе таящий - все это шевелило мои нервы. А Степан Иваныч, раскинувшись на сене, ничего не видал и не чувствовал, и его храп гулко разносился по сеновалу. Я, как теперь, вижу его длинную распластанную фигуру, жилистую шею, выпяченную вперед бороду. Он спал крепко. Отраженье окна совсем сползло со стены, отложилось на сене и стало приближаться ко мне. И, сам не знаю почему, мне жутко было от этого пятна...

Вдруг что-то сильно бухнуло в омуте, гулко и страшно, поглотив шум воды... даже закипела вода... — «Сом» — мелькнуло у меня в голове... «Э-э... сом, сом-то бухнул... сом!..» крикнул Степан Иваныч, внезапно проснувшись... Он привык к однообразному шуму воды, но это буханье в омуте, нарушившее монотонную шумную песню, разбудило его.

Мы бросились к окну. На плотине никого не было.

— Ваш хозяин упал, Степан Иваныч: — крикнул я... Я сам видел, как он в воду глядел... и потом бухнуло что-то...

Степан Иваныч растерянно посмотрел на меня и высунулся в окно...

— Эй! багры! багры тащите... хозяин утоп! эй! багры... — крикнул он и гулкое эхо понеслось по полю... Мы бросились вниз.

— Багры, багры, кричал Степан Иваныч и я, спускаясь с лесенки. — Эй, хозяин утоп... эй... Из сарая выскочили сонные рабочие.

— Что?.. зачем багры? — спрашивали они...

— Хозяин утоп... хозяин в омуте... Багры. — кричал Степан Иваныч.

Бросились за баграми, притащили... побежали к плотине... Ничего не было видно... Попрежнему шумела река... Пошарили, пощупали баграми и ничего не нашли...

— Должно, под плотину вода подбила... сказал один. У меня билось сердце... — Там, думал я, в этой темной, холодной воде еще бьется в последней борьбе теплое, живое тело где нибудь под склизкими сваями и сейчас погибнет...

Мужики толпились на плотине.

— Рази, можно лезть! — рассуждали они... — Тут тебя сичас и захлещет... подворотит под бревна... Тут дна не достанешь... глыбь то какая...

Страшно было лезть в эту темную воду, где теперь один, один месяц только скользил, да в глубине билось живое тело в предсмертной агонии.

— Сунься-ка туды... Вон там сом, сказывают, лежит... — говорили некоторые... — Своя то жисть кому не дорога...

— Так ему определено, чтобы под плотину угодить, значит... Степан Иваныч подошел к барьеру и посмотрел: не броситься ли хотел он, чтобы спасти Пантюшку... Посмотрел и отошел к сторонке. Месяц совсем под плотину ушел и вот-вот вынырнет позади, в спокойной воде.

— Надо рассвету подождать... — говорили мужики... Тады видней будет...

— И с чего это его угораздило?.. — сказал один.

— Пьян был поди... любил он в воду то гля-

деть... ну, спьяну-то и перевалился за больер то.., да и туды...

— Знамо, спьяну... раскачало, значит, его... — решили остальные...

Что думал Степан Иваныч? Думал ли он, что спьяну его Пантюшка упал или так, нарочно жизнь порешить захотел, чтобы не мыкаться без пути по белому свету?

Он стоял отдельно от прочих и рассеянно глядел перед собою...

— Пропал Пантюшка, пропал... Эх!! сказал он, тряхнул головой и, должно быть, решив какой-нибудь вопрос, сел с мужиками на плотине. Спать никто не хотел идти. Так как-то жутко было... да и минута-то особенная: человек под плотиной лежит, вода его о бревно бьет, в тело проникает.

О покойнике стали толковать, вспоминая худое и хорошее, что водилось за ним, ничего хорошего не нашли.

— Как ты там хош... сказал вдруг Степан Иваныч, а Дуньку он любил... вошто... с ее и пить стал запоем... любил он ее... Он помолчал и подумав, продолжал.

— Бывало, я ему говорю: «Пантюшка, говорю, — зачем твоя жена к барину сбежала... чего ты ее, говорю, пущаешь... А что же, говорит, Степан Иваныч... он тады меня Степан Иванычем звал, что же, говорит, я с ей поделаю... одна она у меня... не обухом же, говорит, мне ее пришибить... люблю, говорит ее... да!! значит любил он ее...

— А до меня доведись, так прямо бы пришиб... на кой чорт она мне нужна, коли таскаться зачала!.. сказал один из рабочих... Коли уж жена, так будь

ею... для единого мужа... а таких-то везде можно найтить...

— И дурак же ты, Васька, как я на тебя погляжу... сказал Степан Иваныч.

— Да, ежели он ее любил... Ну, должон он ее простить, али нет? ..ну, сказывай!.. — должо́н?.. Да ежели она с повинной головой придет, да в ноги ему поклонится, должо́н, али не должо́н простить?..

— Я бы не простил! сказал Васька.

— Ну, значит, и выходишь ты дурак... Муж завсегда свою жену простить должо́н, потому она баба... а баба — то — дура... в голове то у ей ветер ходит... э-эх!.. и Степан Иваныч энергично сплюнул.

Долго говорили мужики о Пантюшке. Месяц на другую сторону неба перевалился, начинал бледнеть, за ним рассвет шел, разливая в воздухе тонкие белесоватые струйки. Кое-кто прикурнул на плотине. Задремал и я.

— Эй! Эй! бери багры да шарить давайте! раздался над моим ухом громкий голос Степана Иваныча. Я посмотрел вокруг. Совсем светло было... Над плотиной стоял густой туман.

Взяли рабочие багры и стали щупать.

— Верное дело... под плотину его подвело... не найтить, говорили рабочие.

Степан Иваныч энергично нащупывал багром, но поиски оставались тщетными.

— Эвона он!.. крикнул один из рабочих. Ишь его водой-то отхлеснуло куды...

Действительно, саженях в четырех от плотины, в тумане, густо висевшем над омутом, колыхалось что-то черное. Бросились через плотину по берегу,

зацепили багром и потянули... Это был труп Пантелея Петровича. Должно быть, сперва завертело его и напором воды под плотину подбило, но нижним течением вытолкнуло и отнесло на средину, где постоянный круговорот воды вертел его на одном месте, не позволяя опуститься на дно. Тело принесли на плотину и положили. Лицо и руки были пухлые, налитые, из-синя-белые, свинцовые... Глаза выпучены, стеклянные... Нижняя челюсть крепко захватила верхнюю губу... Пальцы рук были сведены, точно хотели что-то схватить... Нос заострился и посинел. Крупная ссадина синела на щеке большим шрамом... Должно быть, ударило его водой о подпорку.

— Вот — те и Пантелей Петрович... Был человек... и нет его... сказал один из рабочих.

— Да... сказал другой. Много рази человеку надоть, чтоб жизнь свою порешить? .. не скотина... понятие имеет. Бухнул и готово...

— А я так и думаю... сказал один, что спьяну это он... закружился и ухнул...

— Чего ухнул? просто вода к себе тянет, силу в себе такую имеет... Особливо ежели над пучиной стоишь... ну и притягивает... А как пьян человек, сдержаться не может, ну и в ее, значит, и полетит...

— Что вы думаете об этом? спросил я Степана Иваныча.

Старик внимательно посмотрел на меня, точно испытать желал, сериозно ли я спрашиваю или только так, из любопытства.

— Бог его ведает... Може и нарошно... а може и закружился... Все едино не своею смертью помер и в таком виде-то... пьяным... э-эх, грехи-то на-

ши... А любил он Дуньку-то... через ее може и сгиб человек... тоска загрызла...

— Врешь ты все, Степан Иваныч, сказал Васька, непременным долгом считавший противоречить Степану Иванычу... Просто это чужое добро впрок ему не пошло... не знал, что с им делать... Коли-бы любил жену, не пущал бы ее по миру-то... а то она, почитай, мирская была... с кем хошь... Ой, лиха была Дунька-то...

Степан Иваныч ничего не сказал и только плюнул в сторону Васьки.

— Таперь уряднику надо дать знать, да становому... свидетельство будет... пойдет канитель... Вы ступайте! сказал мне Степан Иваныч, а то и с Вас допрос сымать станут!..

— Да, подумал я — Драма, начало которой рассказал мне Степан Иваныч, закончилась на моих глазах. Можно и уйти.

Я стал прощаться. Когда я прощался с Степаном Иванычем, он дружественно похлопал меня по плечу сказал...

— Вот вам и Пантюшка... А еще вчера жив был, ругался... э. упокой Господи душу... Да не будет ли у вас где местечка?..

— Или уходить хотите с мельницы? спросил я.

— Да... не хорошо здесь... в один год два утопленника.. Жутко на этот вертел смотреть... Особливо ночью-то, как месяц над кручей станет да в воду глянет... Так и начнет грезиться: либо Дунька, либо этот... Он указал на распростертый труп Пантюшки. Пора уже мне с эфтим делом покончить... Силы моей не стало... Вот только рыбешку половить люблю...

Я пообещал узнать о месте и сообщить ему...

— А Дуньку-то он любил... вот вам верное дело... Душа у него была жалкая, да слабая... не вынес... и паскудства-то ейного и жизти своей горемычной... да! верное слово, слаб был человек...

Я простился и стал подниматься по тропинке, вдоль отвеса... Земля обсыпалась под моими ногами и хлюпала об воду, и опять пронеслось в моем воображении, как что-то красное визжит и вертится книзу вон к той корявой ветле...

— За кусты-то цепляйтесь! за кусты! кричал мне снизу Степан Иваныч. — Стерегитесь... больно сыпется горою-то...

Я остановился... глянул вниз... Подо мной тянулась беловатая полоска отмели, чернела спокойная вода вертела... Старая ветла тянула ко мне шапку тонких веток своих.

Я опять стал подниматься, судорожно схватываясь за сучья черемухи и крушины, увязая в сухой, сыпучей почве. Вот и вершина. Я подошел к тому месту, откуда глядел вчера на даль и плотину. Странная картина рисовалась подо мною. Мельница спокойная, затихшая, с группой старых ветвистых рябин на берегу омута. Плотина, а на ней кучка людей и Степан Иваныч возле черного тела, с белыми пухлыми руками, с скрученными пальцами, с синим, острым носом... Нервная дрожь пробежала по моему телу. Брр... сделал я невольно губами...

С шумом бьет река в омут. Выше плотины спокойная гладь, с нависшими с берегов кустами ольхи и корявыми ветлами. Влево и вправо прихотливо синим гигантским червем река вьется, кое-где подернутая свинцовой дымкой тумана... Те же поля, что

и вчера, те же снопы на полях, то же черное пятно деревни и та же едва заметная церковка вдали...

— Прощайте, Степан Иваныч! прощайте! крикнул я с вершины вертела.

— Прощайте! заходите когда, крикнул Степан Иваныч снизу. — Доброго утра...

Он смотрел на меня, подставив ладонь ко лбу... Позади меня уже горело солнце, и ярко-освещенное небо мешало глядеть старику.

В последний раз окинул я с кручи быстрым взглядом плотину и вступил в чащу... Позади шумела река... Молодой густой осинник со всех сторон обступил меня плотною стеной.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
(Из повести) *

— Утром пересели в пассажирский поезд. Устроились удобно в купе. На нижнем месте, ткнувшись головой в смятую бурку, храпел доктор, не стыдясь заплат на штанах. Сверху торчал грязный сопог со шпорой.

— Счастливцы... — сказал, дергаясь лицом, старенький капитан, — как спят-то! А меня и бром не берет.

— А я о-очень посплю! — сказал Сушкин, потягиваясь и похрустывая суставами. — Считайте капитан, до тысячи — и заснете.

Капитан поглядел на здоровое, обветренное лицо поручика и сказал с раздражением:

— А вы попробуйте почихать!

— Серьезно... считайте и ни о чем не думайте.

— Вот и попробуйте почихать! — повторил капитан. — Тут и ваша математика не поможет. А я, знаете, вдумываюсь все, чего вы понасказали... Все в жизни сводить к математике, к этим табли-цам вашим! Это вот сведите, попробуйте... — ткнул он в грудь. — Хорошо разговаривать — планомерность, рассу-дочность... война нас научи-ла!.. По вашим таблицам — пятеро сильней одного?.. А я с моим батальоном полк немцев гнал!..

Как и в том, прифронтовом, поезде, капитан начинал раздражаться. Его измученное лицо, с ввалившимися глазами и горбатым носом, подергивалось и

---

* Тема из повести «Лик скрытый».

было похоже на ястребиное. Он все прихватывал и прикусывал седеющие усы, и это раздражало Сушкина.

— Все забываете, поручик, — продолжал капитан, моргая по-птичьи как-то, что тоже раздражало, — за математикой вашей забываете живое... да-с, чув-ство забываете, за вашими выкладками-таблицами!..

От чу-вства-то вы и не спите, — сказал поручик. — Едете вот в отпуск, да еще два ранения у вас... это уже отклонение от нормы. И начувствовали себе всяких ужасов: и жена-то вам изменила, и девочки ваши умерли, и жена умерла... а сами не верите этому и будете покупать подарки, пряников обязательно купите в Вязьме! А на фронте, небось, работали планомерно.

— Нет-с, это вы оставте... планомерно! — дернулся капитан. — Это все не то. Жизнь тем-то и хороша, и радостна, что при всех горях, и даже при всех, по планомерности вашей, безвыходностях... да-с, да-с!! даже и при всех ма-те-ма-ти-ческих безвыходностях, при дважды-два — безвыходностях!.. — есть в ней и радостная случайность... — никакими ее вашими таблицами не ухватите... слу-чай-ность, которую я предвидеть-то не хочу, чтобы она меня еще больше обрадовала! А вы хотите меня надо всем поставить... вашей-то «математикой»? Не желаю, не принимаю чортовой математики!.. Я еще в Бога верю, а у него для меня... сверх-математика найдется!

— Против радостных случайностей я ничего не имею, да будут! — усмешливо выговорил Сушкин.

— Нет, имеете. По-вашему, расчет да расчет?



1895

Железная воля да сознательная борьба ?!. Этого я не понимаю-с и не приму-с! Говорите — война дала вам чудесный урок? Откровение вам явилось, когда вы шрапнелью поливали... — что за сила у человека! И сейчас у вас вывод и поспел: проявляй себя так и в жизни... упорно и с полным расчетом!? Говорите, что теперь уж ничего не уступите без борьбы? Значит — так, по холодному учету, всегда и всюду — лупи, грызи, прогрызайся... бей наповал?!

— Да... если хотите... раз я за свое, за дорогое мне... если считаю своим правом...

— Вот-вот! Считаю, своим, правом! — сердито, качая пальцем, повторил капитан. — А если... я, я, я считаю своим правом... то же?! Я послабей — так меня за глотку? Э, батенька... прокладываете к зверям дорожку?..

— Ну, и пусть так! — поддаваясь непонятному раздражению, сказал Сушкин. — А свое настойчиво буду проводить, коли уцелею. И кровь во мне говорит... вольная кровь, казацкая!..

— Стран-но-с... — усмехнулся тут капитан. — казацкая кровь? А почему же во мне-то она не говорит... или вернее, другое говорит? И во мне она, от прадеда во мне, сиби-рская. Да что говорить... у всех одна кровь, вольная кровь, российская с просторов, с бездорожья. Богатая, значит, кровь, по разному может говорить. Коли уцелею — говорите? Так уж постарайтесь и уцелеть... по таблицам! И что за таблицами, и туда заглянуть постарайтесь и предусмотрите. Пу-льку-то ту, которую сейчас где-нибудь в Гамбурге какой-нибудь хромой немец для вас отлил, предусмотрите... по таблицам. А я... — может, и для меня какой-нибудь Ганс мертвый газ де-

лает... а я хочу верить, что расчет у Ганса-то Вустрыча и не выйдет, глядишь! все его вы-кладки... — а он тоже мастер на «выкладки»! — и все его выкладки-то один мой Котик своей туфелькой расшибет!? Так как-то выйдет... Я туфельку-то в посылочке от сибирского Котика моего... три годка ему только!.. — получу туфельку-то, да со своим батальоном и прорвусь в тыл, да всю душистую заготовку Вурстову и опроки-ну! И не за себя, а за Котика, за всех! «Не нам, не нам... а Имени Твоему»! На какой миллиметрик, в таблицах ваших эту туфельку-то прикинете?..

— Не так вы меня берете... — устало сказал Сушкин и поглядел на верхнюю койку: спать бы. — Я что говорю... нашему расхлебайству — да еще и евангельскую мораль! Не столь богаты-с. Это еще, роскошь-то эту можно было себе позволять, когда можно было дремать на солнышке. И мы, дурачки, очень даже это щедро проводили... раздаривали себя. А теперь что идет??! Пора бы научиться. Чему-с?.. А тому-с, что... подставление щек и отдачу «рубашек» следует сдать в архив. Теперь все глядят, нет ли где еще и третьей щеки... чужой-с... для лупки-с! Многое придется повыкинуть, из «роскоши»... когда с войной покончим! — решительно сказал он и швырнул окурок.

— Ну, и вы, голубчик, поизмочалились... — сказал, присматриваясь к нему, капитан. — Меня граната контузила, а вас волшебная картина боя потрясла. Теперь и с зарядцем. У курсисток молоденьких так бывает: новенькое узнали, а сами зе-ле-ненькие еще... и сейчас у них и словечки новенькие, по специальности... и абсцесс, и процесс, и социа-лесс

... так и сыплют. На собрании раз наслушался: координация, субстра-ция, организация, растрепация... такие профессиональные словечки. А по-моему это называется — бумагу жевать!..

— Эх, капитан... а нутра-то не видите? — сказал, не соображая уж, полусонный Сушкин, а капитан подхватил:

— Ага! в нутро-то еще верите?! Я про что говорю — бумагу жевать — когда одно -а-а-а! — сделал он ртом, прихватывая усы, — про словесный раж говорю. Вот и у вас это. Узнали на опыте, как орудие цыфру слушает, — математику в жизнь вводи! Увидали — что на войне организованность делает, — желе-зом вгоняй организованность! В мозги программу, в душу таблицу? По этой ло-гике младенцев можно душить, сапожищами гвоздяными да покрепче, чтобы хрустело?! Народы стирай, туда их, к дьяволу... с их скарбишком несчастным, с ребятами, с потрохами, с веками! Топчу — потому что пра-во имею! А право у меня... на чем?! Весь в железе — вот мое право! аппетит имею — математикой докажу, что прав. Это вы у ихнего Ницше прочитали?..

— Сушкин понял, что спорить безнадежно: оба устали и разгорячились. Но не сдержался и спросил с раздржением:

— А вы, капитан, читали Ницше?

— Не читал, а знаю! Я теперь тоже много узнал... и благоговею. И другого чего узнал... а-таки видал и хорошего.

— Что же видали... благоговейного... там?

— А вот что видал. Шли мы Восточной Пруссией, ну... дрались. Так дрались... — один мой

батальон целую бригаду немцев удерживал. Отходили с боем. Сменили нас, дневка была. Стояли, помню, у местечка Абширменикен, ... наши прозвали — Опохмелишки. Солдатня, понятно, нашаривать по окрестностям. И вижу под вечер ... бегут двое моих к лесу, что-то под шинелями прячут. Стой! Смотрю — у одного каравай, у другого ... — «закусочка, — говорит, — ваше благородие!» Гляжу — каши котелок, сало, кости какие-то. Куда? Плетут то-се ... — ока-зывается! Не-мцам тащат?! Не понимаю. Вчера немцы нас такими очередями шпарили, а тут-закусочка! Веди ... Сполошились, повели. Версты с полторы в лесу сторожка: две бабы, штук семь ребят и старик хромой, — немцы.. Ну, — «майн-гот, майн-гот» ... — дело известное. Ока-зывается!.. Две недели сидят, пятый день хлеба не видали, ребятишки ревут. Со страху из местечка сбежали, казаков боялись ... все бабы причитали — «козакен, козакен», и страшные рожи делали. Гляжу ... — станичники ... чорт принес!.. Прискакал, — чуб-во, какой, до носу, морда — дьяволу уступит. И четыре гуся на нем и поросенок верещит у седла! Швырнул бабам, крикнул — гуляй, ребята!.. — пьяный вовсе, подмышкой дубовый боченок с пивом, что ... — поскакал. Оказывается ... — нашарила наша солдатня ... «друзей». Бабы тут не при чем, не думайте. И все наши солдатики разузнать успели, словно уж земляки ... что курица у немцев была для ребят припасена, а курицу кот загрыз. Чорт их знает, а никто по-немецки ни черта! Расспрашиваю, и вдруг — процессия целая: четверо еще моих заявляются: один комод на спине прет, другой стулья, с гладильной доской и портрет ... Вил-ьгельма!.. в золоченой ра-

ме... третий — целый короб всякой дряни: юбки, тряпки, ботинки, шторы кисейные... а четвертый — корову ведет! Ока-зывается! Обшарили поместье чье-то и приволокли этим на новоселье! Устраивали с комфортом. Правда, немцы руками замахали — соседское нельзя им принять. А хлеб есть стали и корову доить принялись. Вот что я видал... благоговейного! Тут вашей матаматики нет... тут высшая математика, которую вы выкидывать собрались!..

— А потом этот старик с бабами стреляли по вас в затылок? — досадуя, что говорит это, сказал Сушкин.

— Не знаю-с, не знаю-с... — обидчиво сказал капитан в сторону и заерзал.

Сушкин взглянул на его истомленное лицо и подосадовал, — зачем растревожил человека. Поглядел в окошко... День был сумрачный, с оттепелью. Густые серые облака лежали низко над еловым лесом. Ни утро, ни вечер, — скучные сумерки. И на душе сумеречно стало что-то. «Где-то теперь синее небо?» — подумал он — «А сам-то я, действительно ли такой, каким представился?».. Чувствовался осадок недовольства собой, словами... — но он отмахнулся от этого осадка, — хотелось спать.

Воск. 23 июня (10 июня 1918 г.) [1]

В ДОЖДЬ

(Набросок из записной книжки) [2]

Дождь... дождь... Уже давно я не вижу кусочек синего неба, не вижу солнца... Глянешь в окно, — все оно серое, скучное. Да пришла ли весна? Пришла, но пришла без солнца. О, как холодно, как тяжело на сердце! А ведь есть и весна и солнце. Только дотянуться до этой медленной, серой мути и рвануть вглубь и вширь... сдернуть и открыть солнце. Силою мысли зажгу я солнце и синью затоплю серую муть! Слава Св. Силе, что в ее только власти помешать этому.

Ну, мысль... дай мне весну, солнце живое! И уж нет преград, и я снова в далекой-далекой дали, за сдерживающ. тучи горами. И старое солнце — вот, и синее море — вот, и мохнатый лесовеж — как, вот ласково-бархатно щекоч. радостн. руки и серенькая воронушка домовито вспархив. в лавровишняк. И взгорье под тих. виногр. садами — вот... Вижу даже и солом. крыши. Верба, стар. хохла, что живет от своей коровы и садика на клочке. Он не знает смущающ. душу, — ни политики, ни *иных* законов: знает разве одно, — хорошо жить, когда тебе не мешают жить. Стар Верба, и порвались поля его шляпы: стар-старо все в нем, но как же блестит и

---

[1] В Крыму. В 1918 году Ив. С. Шмелев покинул Москву.

[2] Мы сохраняем недописанными слова черновика рассказа Ив. Серг. Шмелева из его записной книжки. (Ю. К.)

поет всегда молодой по весне его сад, густо засып. цвет. ябл. и гр., залитый белым и горьковат. морем черешень.

И скворцы уютно трещат над ним, на высоких шестах, и дубоносы пощелкив. костяными носами, — скорее бы зрели вишни! и давняя пара горлинок залетает сюда с синей горы, такой близкой, хоть и далеко до нее. А какое солнце! Будто и весь блеск, что уходил на Север, бросило оно на эти холмы и сады и ни один луч не переплескивается за горы, за темн. Баб[3], за сизую гробницу Чат.-Дага[4], за золотящ. Дем[5]. Все здесь. Ни один не уйдет на Север.

Я хочу долго-долго итти и приложить уста к этим золотистым отсюда камням старого Дем, жарким от солнца, чистым от вольн. ветров. Я до боли хочу глядеть на орлов гнездящихся в недосягаемой круче скал. Вольно дышится на вершинах; чабаны, в овечьей шерсти, заложив черные кулаки за бездумные головы наигрывают губами песенку про десятую овцу, что даст им хозяин по осени, в день счета, про сладкое молоко, славно пузырящееся в кожаных мешках, про звезды над Пал. Гор., про снега и ветры, которые погонят стадо к лесам.. Вольно дышется на вершинах! Здесь она, светлая свобода, которую не отымешь. Здесь кротки камни... и ласково-мягки провалы пропастей...

Полудикий чабан радушно поделится со мной пахнущей отарою брынзой. Полудикий чабан не осквернит душу, не захватит ее и не спросит — кто ты

---

[3] Вабуган — название горы.
[4] Чатыр-Даг — название горы.
[5] Демерджи — название горы. (Ю. К.)

и во что веришь? Полудикий чабан любит волю и простор горн. далей и не помешает глядеть на звезды. Я протягиваю ему, вольному стражу кротк. овечьего стада братск. руку, крепко жму его каменную ладонь и хоч. мне *чуять*[6] всю великую боль и горечь, сказать ему, указывая на Пал.-Гору:

«Брат свободный вольный чабан. Бедны стада твои, тесен и убог твой шалаш; со псами говоришь ты, когда тебе скучно, и псы отвечают тебе глазами... Но не гляди туда, на Сев. за Пал.-Гору — дожди и холода там, и забиты грязью дороги, и реки жесткой мутью, и поля *закутаны тоской* и пусты и ввалившиеся глаза с ненавистью глядят и там, и вольная воля потерялась. А тут какое богатство, какое кроткое море волнующегося руна и как покойно глядят на тебя глаза твоего вечного стада... Дали откр (ываются) твоей душе?

Всюду дороги свободной мысли! Только-ли Де мерджи? Это пустяк в беге мысли. Взмах в тысячу верст, — и вот она, которую ничто не пробьет, гранитная крепь черного по подножию Баб., над которым нависло, покачив. серебряное полукольцо месяца-младенца и вечерняя звезда вывешивает на палевом закате немерцающ. бриллиант. Хмур, нелюдим Б., но почему даже от него, темного тянет на душ. лаской? Вот пробираюсь каменными тропами в тихих лесах прямоствольных *буков*. В моей сумке постукив. черн. сухари, звякает кружка на ремешке, ноги мои устали, — но как привольно и славно поет в груди смеется лесная тишь этих вечных камней.

---

[6] Слово неразборчиво написано в черновике можно читать = чуять или = через = . Ю. К.

Где-то тихо лежат горные медведи, нестрашные. Знают они, чуют они, что пришел я поклониться горной глуши . . . А выйдет один на тропинку, потряхивая мшастой *башкой*, — и скажет ему измучен. душа моя : « Зверь добрый ! Друг я тебе, не подниму руку над твоею неведомой лесной жизнью, знаю самое дорогое твое, — жить, как знаешь. Вольны пути твои. То же — и мое дорогое. И разойдемся мы : ты в знаемую тебе лесную чащу, я же — все вперед, на кам. *верш.*, где поют ветры ! »

«КОШКИН 'ДОМ»*

31 января 1924 г.

Первые слова о « Кошк-(ином) — Доме » Миша слышал от няньки старухи Домны. Ему было года четыре. Скажет бывало няня: — « Не спишь » ? . .

— А вот спать как не будешь —

Сейчас за забор выкину в Кошкин Дом ! . .

Там вот ! . . Узнаешь . . .

Миша боязливо поведет глазами от лежанки к окошку; окошко завешено ситцевой занавеской и на нем бегает много-собак, летят много-много уточек, и большой человек, — много-много высоких человеков, — охотников, стоят в траве и машут палкой. В занавеске длинная синяя щель, от потолка до полу и в эту синюю щель искрились огоньки, что всегда ночью бывают в небе — звездочки.

Звездочки и темная ночь, забор, снег, лес за забором и в лесу Кошкин Дом.

Теперь там страшно.

Днем там очень светло, все белое. Много снегу, там много снегу, что (и) больно смотреть, когда светит солнце. Там нет людей и только бегают собаки, можно утонуть. Там на деревьях к вечеру слетаются галки и так кричат, что через окна слышно.

Бегают и вертятся собаки, прыгают и едят снег и гонятся за хвостами.

Там есть домик без окошек, через который видно и в домике много снегу. Кусты завалены снегом.

---

* По рукописи Ис. С. Шмелева незаконченный рассказ (Примечание Ю. К.).

А за кустами, за деревьями большой дом. Окон в нем нет, на них набиты доски.

Дом серый, деревянный, как и заборы. На крыше снег! А из под него видно окошечко, как через пустой глаз. Дом странный. Человеков там нету, и даже дворника нет.

Когда Миша выходит на улицу в тулупчике и с лопатой, нянька ведет его вдоль серого забора. В заборе дыры и щели. Если посмотреть — все снег и снег, и кусты и собачьи дырки от ног. И все деревья, деревья, деревья — и (все) снег.

— Ну, чего не видал? Вот Кошкин-то дом какой, страшный.

— А почему?

— Почему — почему... Такой уж уродился.

— Почему? — Нечего ради...

Но кошек не было.

Потом, когда снег сошел — Миша, любил смотреть из окна на черную землю, на черн(ый) дом, окошко-глаз, под крышей.

Сидели и летали голубки. Они сидели и бегали по крыше красной и лазили в окошко.

Потом раз... к вечеру, Миша увидал (радостно) кошку! Она вылезла из дыры, села и стала лизаться. Кошка была красная, как крыша. Потом вышла другая серая кошка как забор, и тоже села. Потом они вытянули головы и заплясали. И Миша радостно захлопал в ладошки.

— Кошкин дом! Кошкин дом!

Теперь он понял почему — Кошкин Дом.

Но кошки бывали редко. Иногда ночью он слышал как стучит дождь, в окошко, как шумит веткой, где кашкин дом, и вдруг заплачет, замяучит кошка.

— Ишь ее раздирает ! скажет Домна.

— А почему ?

— Почему все тебе знать надо ! Живот болит.

На заборе сидит кот,
У него болит живот...

И много знает Миша. Звездочки — глазки Божии — все-это смотрят как злые люди обижают добрых и за это быв(ает) гром и пожар от молнии.

Знает, что в Кошк(ином) доме живут *они*... черти — отовсюду выгнали дворники метлами и только вот тут им ход. Кошки мол не боятся. Кошка она хитрая, — сиганет, ее не поймать. С той ночи, как узнал Миша про чертей, у них на голове рожки, язык зеленый — ему к ночи дел(ается) страшно и он старается чтобы не было на окнах щели. Но можно закрестить — так нянька умеет: возьмет да и закрестит. А когда проснется ночью, непрем(енно) посмот(ри)т на окошки и сам поманит рукой и пошепчет свят-свят-свят.

Когда опять пришла зима и опять стало много снегу в Кошк. Доме, Миша увидал к ночи как в мал. домике, кото(рый) называется беседкой бегала большая черная собака и мал(енькая) собачка.

— А черти... гуляют ?

— Плюнь — покрестись — сказ. нянька и сама покрестила его.

— Нельзя к ночи. — А почему ?

— А почему ?

Почему — почему... страшно ! Возьмут да еще к нам налетят.

Мише становится страшно.

— Греться ? А им... холодно ? Там печек нет ?

— Ну и греться — тьфу ! Хрестись !

Глухой ночью, когда на стенках нанесло снегу и он блестел розовыми звездочками через щель — от лампы, Миша проснулся от страшного, что приснилось. *Они* приснились. Они шли по саду, где Кошкин Дом, две... или два, как собаки черные и положили на забор лапы и все смотрели на окошко — просились в тепло. Миша долго крестил окошко, см(отрел) на лапы, на черные образа... и вдруг закричал криком:

— «Няня! не пускай! — »

Потом ему стало жалко. *Они* — стоят на снегу, и просятся. А тут так тепло от лежанки, от огонька лампадки. И так хорошо — квас в кружке стоит, а там они снег едят...

⁂

Когда Мише было шесть лет, он уже знал: много-много. Дворник Левон знал всю правду. — Расскажет что нибудь, а Миша спросит — А это правда? А Левон:

Ефто правда, эфто правда
Ефто правда все было!

И метлой по земле хлопает. Узнал Миша, что Кошк(ин) Дом большой, «сто покоев»! И все, как было, как старик Кошкин помер, а наследники судятся.

— Понятно, нечистая сила проживает. Значит, как святки подошли, она такую там муру зачнет... на гармоньи, на балалайках... жуть! Тут ужо не подходи. Как ухватят — прощай!

— А почему?

— Почему! Попы с крест(ом) не ходят, водой не кропят. Самый им вод там.

Миша знает, что Антипу все известно. Он спит в конюшне с лошадьми, и всего видал. Там у него фонарь со свечкой, в клеточке, и так хорошо пахнет сеном и лошадьми, сладко пахнет. И от Антипа сладко пахнет — силой, черн(ым) хлебом, колесами и лошадьми. Ночью там к нему приходит « хозяин » — который и наш дом строил, мутный, будто дымный, и с фонарем, сам лошадей обойдет, следит значит, не украли-ли овсеца.

— Намедни говорит — овес краду! А я разве могу? *Он* все усчитает. Закатает ночью, не отдышишься!

Миша слушает и понимает и в груди, и в глазах, и щекоч(ет) в носу: ах, какой хозяин хороший! В летние сумерки, когда начинает темнеть во дворе, сараи, и за забором, в саду (Кошкин) Д(ом) пустеет тьма, — все предст(авляется) Мише живым и жутким, полным таинственного и милого, — и хорошо, и жутко. Где то живет « хозяин ».

А там — тоже есть хозяин, в К(ошкином) Д(оме)? Там он — бедный, пустой. Ни лошадей, ни фонаря нет там. И своего Антипа. Антип знает все: у нас чертей быть не может, потому на воротах крест, и на погребах кресты выжжены, страстной свечей, — такая, замечательная от плышшиницы...

— Значит — все прожжет, нечистую силу запирает. А то бы с ей и не справиться. Ну, *туда* и не подается — пока(зывает) он на К(ошкин) Д(ом).

— Страшно небось *ему*? спрашивает Миша.

— Кому — ему?

— А... К(ошкину) Дому?..

Антип думает, раскуривает черн(ую) трубку с мед(ной) решеточкой и пускает зеленый дым.

— Как тебе сказать... понятно, страшно. Вот тебе метла... там она свое дело делает... Ладно. Вот поставлю в уголок — стоит, ничего. Ладно. Ну, вот ночь, все спать мы полегли... Ну, кто ее знает... Может она на свое горе жалуется, плачет. Мету, а там в печку или на помойку! Ну! А кажное сучество про себя понимает.

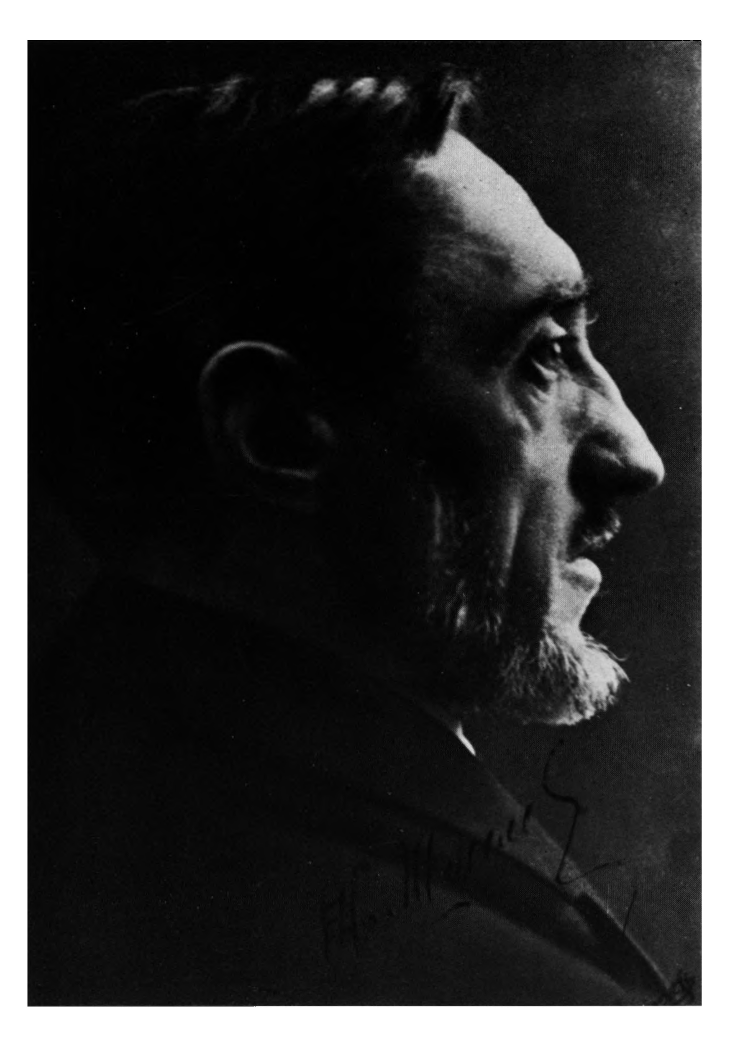
И... ворота?

— Понятно. Как их хозяину помирать — обязательно с петли соск(очить) должны. Сперва будто скрипят — скрипят... чу-ють! Рраз! — жди — помрет. Почему ж сказ(ывают) о ворот(ах) душа.

Вот хозяину помереть... первым делом собака знает, завыла, а то не желает в хозяина глядеть — возьмет и разольется ни с чего. Понимаешь? Иль самовар — загудит-загудит... знать.. уж моркотно уж ему, жалеет... Али вот тараканы... Им первым открывается. Ночью знак такой — выбирайся ребята!

И по-шли ходом, ходом... через дорогу. Тут ты им дороги не перебивай, такое наведешь — беда...

Миша смотрит на стар(ого) Антипа. Откуда он все знает? Это ему хозяин в конюшне сказывает... Антип особливый, не как другие. У него на глазу белое пятно, бельмо, и смотрит он на кого-то, кого нету, но кто стоит тут, невидимый. Борода у него седая длинная, как у Святого на иконе, и в конюшне медный крест прибит гвоздями, под ним сухой подсолнух — один картуз колючий, в дырах, — и для уважения, — а подсолнушки высыпались. Мише очень нравится этот крест и эт(от) подсолнух. Он знает, что Антип еще до снегу его засунул в стену, когда по улице несли иконы на палках, когда был крестный



1 9 2 6

Книжный Дом   31 янв. 1924 г.

Первые слова о «Книжн. Доме» [illegible]

Мишка [illegible] (старые [illegible]) [illegible]. [illegible]

[illegible] [illegible]?.. [illegible]

— А (Старые [illegible]) [illegible] (в Книжный Дом), за [illegible]!

[illegible]!.. Узнаешь...

Мишка [illegible] [illegible]; [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Книжный Дом.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

— [illegible]! [illegible] Книж.-й Дом [illegible]. [illegible]

— А почему?

[illegible]

— Почему — почему... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ход, и все несли цветики ергины — и Антип подобрал подсолнечник свалившийся с образов. И принес в конюшню. Сказал:

— Повеселей будет. И ему приятней...

Это кому, хозяину?

Ну, зачем!.. Хресту. Я с им ничего не боюсь. Вот он, Чалый.

— Ты думаешь он не чует? Он, брат, все чует. Вот ты гляди, Вот сыму я хрест, уберу... ну скучать будет... не дай Бог. Хрест... он, брат, силу свою доказывает. Кузнец ковать придет Мих(ал) Иванов. Он нипочем без хреста... Без хреста лошадь не может, забьет, себя не помнит. Узду гляди... хрестом делают... Окны гляди — хрест. Ворота... опять хрест.

Когда Мише было лет 8 и он уже ходил в пансион и учил басни и умел бойко читать, — новое открылось ему. Кошкин Дом наполнился для него новым, еще более таинственным. Он уже мог и зимой и летом пролезать через отставшую от столба доску. Глухой сад, с березами, тополями и липами уже открыл ему все свои глухие углы. Правда там уже не было явно-таинственного. Кусты бузины, акации, (черной смородины). Две три рябины, уже растрескавш(ейся) на двое, с облом(анными) верхушками. Гнилая решетч(атая) беседка с провал(ившимися) досками пола. Развалив(шийся) сарай и погреба с ржавыми замками.

Но дом, забитый досками накрест, с балконом в сад на столбах-колоннах, с галлер(еей) из столбушков, уже не серый, как казалось раньше, а бурый, исчерна-бурый, — до француза; закрытый ставнями изнутри. Многое уже знал Миша.

Дворяне Кошкины жили в нем, пиры давали. Приходил иногда выбивать шубы хромой скорняк Василь Василич, приносил прутья жимолостные и выбивал моль. И рассказывал:

Этому годов 60 будет. Я в мальчишках жил еще... Ну Кошкина молодого знал видел...

Ему уж годов 50 было. А старый уж полоумный был, его будто на цепи держали, под кухней, под балконом. Там он и удавился. Суд был, будто его невестки удавили... Ну, деньги, конечно, выправили все. И стали пировать, как похоронили. Будто три бочки золота нашли в подвале. Там глуб(окие) подвалы были... Такая была лиминация... вся наша улица в плошках была, а посередине бочку смол(яную) зажгли. Ну, кварт(альный) пришел... и я на огнях был... воспрещать. А тут Кошкин молод(ой) вышел — кварт(альному) в ухо. Потом загреб его с гостями — пировать. И полон картуз ему серебра нашвыряли. Потом вскорости горничная повесилась.

Скорняка слушает Миша и Антип. Антип бьет хорьковую шубу прутьми и иногда скажет.

— Ах-ты какой хорь то приятный был! Сколько и у нас хорей было под сараями... ушли от беспокойства.

Мише хочется и про хорей знать. Но про горничную тоже интересно. Он смотр(ит) на хром(ого) Вас(иля) Вас(илича) и ему непонятно, что и он был так же, как он Миша, и бегал на лиминацию.

— Так.. повесилась? — спраш(ивает), Антип: — это Марфушка?

— Она самая, — говорит Василь В(асилич) — тормоша воротник с бобром.

— Бобрик-то... седины-то — серебро! камчатский, дремучий.

Он дует в ворс и на его лике Миша улавливает радостное сияние, — теперь пошел жуль(нич.) бобрик полесский...

— До чего... говор(ит) и Антип. — Все! Метла теперь... Разве такая метла была годов... ну, тридцать? Была — метла! Месяца три себя держала. А теперь — раз прошелся... а, сукины дети!

Так Марфушка? Это которая Кошкина по щекам лупила?

— Самая. А ты почем знаешь?

— А сказывали-то летось...

— Ага. Она самая. Ну, бы-ла! Ну, скажи... баба какая была раньше! Откуда таких выкапывали?! — говорит В(асиль) В(асилич), щелкая языком.

— Да уж... — кряхтит Антип, а Миша ловит слова и то неясное для него, что слышится и в кряхоте и в прищелкив(ании) В(асиль) В(асилича).

— Нонче пошла короткая, и даже не женщина а...

— Выхухоль! говор(ит) В(асиль) В(асилич) приглажиа(ая) прутяной щеткой мех.

А то бы-ла... чернобурая лиса. И Марфушка. Приношу я так в од(ин) прекр(асный) день белую душегрейку на кухню...

Она пирожки на блюде несет. Румяная, широкая ситчиком от нее новым аромат... как из бани. А глаза у ней были — во как у святых, в Храме Спасит(еля) есть.

Как глянула на меня, и пару пирогов мне, с ливером, помню, были...

Миша смотрит на К(ошкин) Дом и думает и не верит. Там были пироги, и какая-то рум (яная) женщина ?

— Ну, полюбил я ее с тех пирогов... Не с пирогов, а с того взгляду, не могу сказать. А было мне к 17 годам... Теперь дело прошлое. Стал у хозяина кусочки воровать от лисы-меху... с вершошек, кромочку. И как мастера уйдут в праздник, на погребицу заберусь или на чердак — за год ей такой воротник справил... А я мастер был перв(ый) сорт... и к Рожд(еству) прихожу поздравлять.

А на Рожд(ество) у них полна улица карет, лакеи в соб. ливреях, в форме, не(шестеро) бывали. Полна людская... пьют, едят — чад(душе), а на верху музыка — оркестры... трех свиней жарили для людей. Водку ковшами употребляли ! Весь этот сад затопчут, бывало, Самовары во такие по пять ведер стояли, жглись, и повара на снегу прямо блюда ставили, мороженое вертели... чисто ярмарка. А что теперь ? ! А.

— Ну... какое м(ожет) быть сравнение ! — сплев(вывает) Антип. Теперь пропил за рупь купец, а шуму на целк(овый) ! Маху того нет. И все это вы, с.д.б. видали...

Приношу лисицу. Выбегает наш буфетчик Ив(ан) Кузьмич... Тогда ему уже годов 40 было... годов двадц(ать) в мещ(анской) богад(ельне) помер, а то у князя Долгору(кого) служил и во дворце Нескучном жил на покои... Кстати дружбу с ним водили... в еното(вой) шубе щеголял. Я им делал... Выходит буфетчик. Дать ему мадеры и кусок индейки. Это за душег(рейку) он. Вот ей-Богу ! Ну, он с Марфушкой жил, понятно. А я ей лису принес в поздравленье. Чувство-то какое было !

— Ну, понятно — говор(ит) Антип. — Нонче пятиалт(ынный) в зубы...

— Нет, я про лису-то! Год подсобирал... для ее... Мне дорого, как она поглядит! Влюблен был! Поймай меня хозяин — голову бы оторвал.

— Ну, понятно...

Мише тоже понятно. Он уже видит Марфушу, женщину у которой глаза, как у святой. И она держит блюдо с пирогами.

— Выпиваю я стакан мадеры, стою на вытяжку, а лисица под рукой у меня.

Говорю — что подарок хочу из уваж(ения) к Марфе Степановне.

Сгреб меня, потащил по лестнице, к себе — вот на верх на... вот то окошечко заколочено под слуховым-то... А там у него диван бархатный, и всякие бутылки, поросен(ок) заливной... и горшки с живыми цветами... Сиди, я говор(ит) ее пришлю!

И вот она вошла... розовая, как купидом... и я к ней пал...

Вас(иль) Вас(илич) поправ(ил) жел(тые) очки и погрозил жимолостью к дому.

— Ну... сказ(ал) Антип строго и тоже посм(отрел) к дому.

И Миша посмотрел. Т а м ?

— Пал к ее ногам, красавицы... и приподнес лисий воротник. Чувство-то какое было!

— Ну, понятно... Ну, а она...

— Развернула как... как ахнет... Победил!

— Господи!.. ужели победили?

— Победил. Так это поглядела... горько на меня поглядела и слезы у ней из глаз...

Лучше возьмите обратно — говорит. — Я уж

живу с буфетчиком и барин меня домогается, но я не могу. Возьмите вашу лисичку, мне очень, говорит, прискорбно, но неужели вы могли подумать, что я из ваш(их) подарков могу преступить!

Как вам, говорит, не совестно! А я... заплакал. Тут она меня поцеловала прямо в губу и... перекрестила! Ей Богу!

— Ну, вскричал Антип и Миша тоже вскричал, от вдруг толкнувшего в грудь непонятного восторга.

— Как поцеловала! Я, говорит, вам буду как сестра!.. И мне не надо в(ашей) лисички!

— Не взяла?!

— Взяла. Очень я заплакал. Ну, взяла. И пришел буфетчик, и они меня вдвоем, наскоро... господа ждут... поили сельтерской, а я плакал. Ах, какие люди бы-ли... Это как в книжечке у меня, вот у С. в лавке купил, книга продавца Морозова... Я люблю трогат(ельные) истории... про благор(одного) принца Выпицияна и очароват(ельную) Менфису. Неграмотный был Антип!

— На том и кончилось? спрашив(ал) Антип, а Миша видел, что лицо его к.-б. другое, ласковое и грустное.

— Кончилось, да не все. Спустился я в людскую, ничего не помню, как в горестном состоянии, — вот хоть или на кладбище и у могилы какой печальной каким кинжалом прямо в грудь. Но повар еще поднесли, буфетчик наказал угостить меня. Потом — выхожу, костры в саду, и на небе мерцают звезды бож(ией) красоты, очи небес. И вот молодой лакей подходить из темноты, от водовозки и кладет руку мне на плечо: скажите, говорит, вы от любви к прекр(асной) Марфуше в таком ужас(ном) состоянии? Я

говорит, сам не сплю все ночи и уже иссох. И он, вправду, в злой чахотке был. Советую вам, оставьте душе покой, не надрывайтесь. Вы еще молоды, а мне скоро лежать на Ваганькове. Идите домой и никогда не возвращайтесь к гордой красавице! Она невольно губит при всей своей благор. (душе) характере.

Вспоминай все... Как сон!

Антип слушал.

(К концу. Он увид. ясно-ясно, как он ограблен! От всего чуд. мира, — остались так осязаемые, такие жестокие ржав. ребра жизни. Где-то? !)

— — —

— Метель стегает в окна: хлес... хлес... Ночь-там, снег и ветер. В жаркой печке, с лежанкой взывает жалобно. Стукнет въюжкой. Комнатка вверху, под сам(ой) крышей. Низенькая, уютная — детская. На дворе ночь: девять часов, а ночь. Ночь — до утра. На лежанке на жарком войлоке — кот разместился, старый котище Васька, бурый, в зелень. Спит крепко, храпит на славу, — заслужил. Он подался в детскую, там и потише, потеплее. Другой год подался, — говорит Домна старуха, — нянька. И правда, коту тут тихо, мышей ловить не надо, — там внизу другие пришли на смену, бойкие. А здесь: Домна, да маленький Федюша. Домна погасила лампу — чулок вязала. Услыхала, что кукушка внизу прокуковала девять, погасила лампочку и помолилась. Помолилась богородице Казанской, потом Жив(отворящему) Кресту, потом Кириллу и Мефодию с Крестом, мученице Домне, Ерусалиму граду. Лествице и Святый-Боже, всем, кому умела. Отвернула полог и покрестила Федюшу. Он спал распахнувшись. Она поправила голубое стеганое одеяльце, покрестила в ножках, в голов-

ках... Анг(елу) хранителю — поручила и закрыла полог...

— Ай-же, му-ха!.. гривуха! в лицо шарахнулась, опять та самая, своя. Заснула, муха, здешняя. В тепле живет. Домне приятно, что муха еще живет. Каждый вечер устраивается она на пологе и еще (кружась) жужжит: — стало быть тепло. А за окном — зима, декабрь, подходит — скоро Рож(дество), а муха все живет: к добру, к теплу.

— Н-н-я... — невнятно шепчет за пологом Федюша: —

— На сево... двора...по!.. тена... гора...

Старое, морщинное, с двумя бород, лицо Домны сторожно слушает: ну, вот: только сегодня вечером, в первый раз, рассказывала про петушка и про лисичку:

Как у нашего двора
Подметена гора... —
А он вот и во сне...
— Умница растет... —

Хорошо, спокойно. Главное — тепло уж очень! Морозище такой был — дерева в Кошкином Доме, в саду все в инее, на заре солнце было красное, огнистое. Галки на березах и тополях по-утру седые были, — тридцать градусов!.. такой скрып был и два раза ночью стреляло в бревна на-верху... а здесь — Господи — муха живет, живет: И Ваське жарко. Господи! — тепло так, что не надо и ватного. Умные-то люди строили, все-то по закону правильно. Ветер воет и хлещет в стекле, а лампадка — спит усиком не дрогнет. Когда внизу бьет десять — глухая ночь. Спит Домна. Чулок чуть видно при розовой лампадке. Чер-

ный таракан поднялся по столовой ножке. За ним другой. Квас на столе, в кружке каменной, цветистой в розанах голубых — пахнет хлебом и яблоком — в квасу сухие яблоки, размокшие. Тараканам сладко, манит. Ползают по мягкому чулку. Глядят на угол, где огонек лампадки. И тараканам тепло. Муха зимуха дремлет на пологе: напилась украдкой квасу, — и спит.

Федюша дышет тихо — ангельские сны пришли. Какие они? Не вспомнить... Сны детские — их никто не вспомнит. Сны... светлые сны, радостные, детство... Кто расскажет?

Кот повернулся на другой бок — жарко стало. Метель стегает. Вьюшка стучит — стучит. Шевельнулась занавеска на окошке, розовая занавеска. По ней бегут: пушистая собака, утки летят, охотник стоит в траве. Все разное — и опять собака, охотники, утки... и — еще, еще. Метель шумит и бьется за окнами. Огонек в ламп(адке) проснулся и заиграл. По потолку забегали усы, тени от цепочек. Струйки прошли. И опять все спит — до огонька. Тени на потольке уснули. Чуть виданы у лампадки волки у мельницы — обои, голубые, голуби на крыше мельницы, опять волки и мельница, и голуби... все голубое! И все спит. Старый диван клеенчатый, проваленный, с подушкой в ямке, с попугаем из бисера. На нем желтый паровоз с трубой, и зайчик с барабаном. И карты рассыпаны — гадала Домна с вечера Анюте, горничной. Хоть и пост — гадала. Грех, а что-ж поделаешь: надо знать Анюте будет ли ее свадьба после Святок. Домна знает, что скажут карты.

Кот проснулся, зевнул, послушал, как постукивает, вьюшка и завернулся будто с холоду.

В Кошкином Саду — гудят деревья. Что там за окном? Страсть какая!

Никто не слышит. Тараканы ищут, как попить квасу? Страшно лезть в обрыв. Но лезут, усиками дергают, нагнулись, падает один. Другие шевелят усом. Ночь ползет неспешно... печка стынет. Кот завернулся туже. Усы по потолку играют. Муха забирается под полог. Домна во сне натягивает одеяло. Огонек лампады — ярче и можно бы увидеть, если бы кто смотрел, как скорбный лик Казанской смотрит в полутьму безгрешной комнатки. Слышно тихое дыхание спящих — чистых. Детское, святое...

У изголовья, белый, неподвижный, стоит невидно Ангел в цветах. Дети видят его во сне? Видят и не помнят. Помнят только цветы. Дети во сне смеются — видят.

Федя смеется за белым пологом. Храпит и Домна и кот...

К полночи скрипят промерзш(ие) ворота, слышно за вьюгой, как лошадь фыркает. Хлопает дверь внизу, парадная, воет на петлях — от морозу. Это приехали из театров. Весь в снегу Антип, старый кучер, охлестывает волосяным хвостом снег. Дворник Максим светит фонарем к кар(етному) сараю.

— Н-ну..!

Задом осаживает санки в сарай. Слышно через вьюгу, как Чалый глухо ступает копытами в сарае, по постилу. Распрягают. Ветром швыряет тени по стенам, — прыгает тень Чалого, голова Антипа в шапке, ход(ят), оглобли пролетки, крытой чехлом.

— Чай, смерз? — говор(ит) Максим.

— Беда... костер заносит... дымище... кому киятры, эти,.. а нам...

— Да . . . ст-о-ой . . .

— — —

Н.Б. Домна молилась: за тех, кто в ночи — метели в поле погибает и благодарила за то, что она в тепле и сыта. Посм(отрела) на полог белый и помолилась, чтобы и Федюшу сберег Господь и Пречистая от горей и избавила его от метелей и горестй жизни (надо, конечно, проще (примеч. И. С. Ш.).

Отступление лирич. Хорошо когда и т.д. — есть кров, и стены и теплое сердце около.

СОЛОВЬИ

(Из рассказа « На пеньках »)

...С мая и до морозов я жил у себя на даче — один, как перст. Туда-то вот и тащил мешок...

Раньше дачей я мало пользовался: все, бывало, — в Италию или в Грецию. конгрессы, съезды... А это жена покойная завела, для родственников... ну, и на старость. Она любила мягкое наше лето, грибы, цветы, соловьев... Молодежь все время хороводилась. Где теперь они все? Как-то вспоминать стал: племянники, приятельницы. крестники. Васи, Миши... — славная молодежь была. Насчитал семерых студентов-прапоров... два инженера. музыкант, летчик, приват-доценты, двое стихи писали... Теперь — один в Канаде, один в Брюсселе, шофером, в Боснии, в шахтах... Прочие? Не знаю. Погибли... Впрочем, спецом один заделался, играет роль, а один, который стихи писал, — в песнопевцы определился... А патриотические стихи писал, « Державиным без пяти минут » величали!..

Одним словом, не на дачу я шел, а — в прошлое.

Бывало, за мной пролетку высылали, на чаленьком, и какой-нибудь загорелый студент-крепыш — за кучера. Кто такой? Приятель чей-то. И всегда в дороге у них что-нибудь с запряжкой!.. Он там с этой... с черезседелкой конфузится, уши покраснеют... а я закурю в вечерней тишине, в березках, кукушку слушаю... фиалок найду, колокольчиков лиловеньких... чу-десно! А из кулечка поглядывают зеленые огурчики, и еще свежая икорка там, майская,

« уважительная-профессорская », от старика Колганова! И белорыбицей пахнет, и молодой березкой... Таких ароматных комбинаций нигде не встретишь. И с каким азартом сам примешься в шлеях разбираться, — смешно. А ближе к даче, — солнышко уж за лесом, — соловьи!.. Все топят...

Въедешь в громе аплодисментов...

— « Генерал »! Ура-а!..

Они меня почему-то « генералом » величали. Должно быть — за осанку. Любили... Девочки — букетики земляники, ландышами засыплют, визгом... И все куда-нибудь тащат, и лекцию им, « о красоте в имкусстве »... Славные девушки, чуткие. Раскопки иногда предпринимали...

Дачу мою мужички порастрясли, но в двух комнатах жить было еще сносно. Главное — от города подальше. Впрочем, мужики ко мне относились с некоторым почтением и опаской: прознали, что « сохранная грамота » у меня и будто я начальству клады отыскиваю, — раскопки-то я производил! Раз даже с приговором заявились и велели клад им указать в имении барона Вэдэ: « Хорошо известный нам клад от старинных князьев, но не знаем слова! »

Тяжело было на даче. О пустоте я не говорю, а вот, все, — не настоящее, а как бы в преломленном спектре, в каком-то... психозном преломлении, как бы... — подводное! В манере Эдгарда По и... самого оголтелого футуриста: и жуть, и — дыр-булщыл! Не люди... — хотя, конечно, и люди... — а все как бы уже нездешнее, и все — ненужно.

Подымается солнце... — продолжение « дыр-бул-щыл ». И оно — другое, как будто тоже соучаствующее и растленное, несущее наглость на своем вос-

ходе, закатом обещающее назавтра такое из-под земли выкатить, что ... Или — гарь лесного пожара ... Бывало, это придавало пейзажу загадочно-тревожное освещение, чувствовалось удушье ... но и надежда, что за удушьем — освежающии ветерком потянет ... — неусыпное бдение чуткой общественности, что вот-вот наступит пора, когда все эти дикие непорядки уступят место культурной разумности, общечеловеческой солидарности, когда ...

Помните, эти ободряющие статьи в газетах ... « бесцельная гибель народного достояния ... » и — « опять и опять мы обращаем внимание общественной самодеятельности ... » Ну, понимаешь ... — и надеешься. Знаешь, что скоро осень, пора земских собраний, резолюций ... сгущенная атмосфера освежится, впереди — надежды и ... и чудесная, крепкая зима, бодрая работа в аудиториях ... А тут — гарь сгоревших надежд и всеобщее пепелище.

А в душу к вам забирающиеся ! .. В сапогах и небывало-технической фуражке, с портфелем ... — Бог мой ! Откуда портфелей столько ? ! ... — значит, какая-нибудь опять « неделя », ударный фронт, фонд, сороковая анкета, « боевое задание », требование лекции « о пролетаризации искусства », « о театре, как функции агитучастия масс, в проекции на ... » ! Бог мой ! Что за шустрота мысли, какие они мне темки задавали !

А какая страстная жажда амикошонства ! .. « Товарищ-профессор » — через два слова ... Какая наглость ! .. И лестно со мной, членом европейских Академий, в « товарищеском » общении, и остатки, как бы, благоговения, и значение свое тычет, и слежкой

от него пахнет, и... покровительство оказать готов! Откуда эта ядовитая пыль, с каких базаров?

Какие-то безгнездые выводки... из помета брошенных гнезд, — и кобчик, и червь ползучий!.. Суетливо руку сует, слюнявую папироску на столе давит, важные позы принимает... — рой завистливой, ущемленной и наглой бездари!

И вот — «товарищ-профессор», я предложил бы вам... объявить цикл... — непременно — цикл! — лекций об искусстве, как фуикции... массовых восприятий...» Бездарно, безграмотно, зато — трескуче!..

Бывало, молодежь переполох поднимет:

— «К нам! автомобиль!! «Ленский» едет! ура-а!».

И уже летит с балконов:

...«Что-о день грядущий мне гото-о-виит?» А он еще из машины, серебрецом...

...«его-о... мой взор напра-сно ло-о-овиии-т...!

Девочки беленькие, в кудряшках, цветами засыпают, благоговеют, влюбленно-трепетные... — сердце смеется радостно!.. А теперь, как загудит где... — лес бы дремучий вырос, укрыл!.. Ну, подвал, плесень, мокрицы, в конце концов отупение, привык. Но вот, что самое ужасное... — соловьи!..

Моя дача стоит на гривке, а с обеих сторон тянут к реке овраги. Они сплошь заросли черемухой, березкой, ольхой, малиной... масса ландышей, дудок, болиголова... — самые соловьиные места. Знатоки считали соловьев наших самыми певкими, «неждановскими» звали. Один овраг исстари прозывается «Соловьин», другой — «Гулкий».

Из-за соловьев жена и место для дачи выбрала,

на тычке, и мужики подозрительно недоумевали! «Уж, это о н и чего-нибудь да знают... к л а д у н ы ! К о л д у н ы»!

Редкостное здесь было эхо: из «Соловьина» оврага крикнешь — «Гулкий» отзовется, полней и громче! Физик наш лазил исследовать и нашел звуковую формулу, — вырезали ее даже на террасе. Бывало, молодежь поет хором, и выходит второй, капелла А когда упросят тенора спуститься в «Соловьин», и он оттуда пустит... — второй, неземной тенор так покрывал, что дух захватит:

«...златы... е-э-эээ... дни-и-иииии...!»

Вообразите, что же творилось майскими зорями, когда соловьи начнут сыпать и поливать!.. «Гулкий» их растравлял. Чвоканье, цорканье, россыпь, щелканье, поцелуйно-истомное это — тиу-тиу... фтиу...! — играют сердцем, трепетно и так страстно-нежно!..

И вот, когда все изранено, испоганено, и уже ничего живого не осталось, и ты с твоей жизнью уже плевок растертый... — соловьи гремят неумирающим торжеством неумирающей своей жизни и неутолимой болью плещутся в твоем сердце... А оно уже наистеке, и в с е — ушло... Пытка!.. Они выворачивали, перетряхивали в с е во мне, жалели, отпевали, жалили цвоканьем, в кровь раздирали трелями... хлестали сердце, по голове, в глаза... Я слышал милые голоса, узнавал лица, запахи... И не красота уже, не эстетика... — ад!

Как только подходила заря — начинало давить тоскою: сейчас... начнут... И первый же тихий высвист... помните, это робкое, нежное — типу-типу-типу? — пугал меня, и сердце начинало биться. Обманывая себя, я забивался в самую глухую комнату,

но окна выбиты, в огромной и пустой даче гулко, и — ни-кого!.. А они сыпали и гремели... и все бешеней и шумнее к ночи.

Я совал голову в подушки, задыхался... Бром уж был бессилен, я затыкал уши спиртовой ватой, — кровь приливала, гудела, я начинал пьянеть... Но и без звуков я слышал. Нет, непередаваемо, — как психоз...

Гроза облегчала, и я умолял молнии... Серенькие дни, с тихими дождиками, успокаивали меня. А горьковатая свежесть ландышей, взрывающая в вас все, до детства!.. А дурманный, томящий страстно запах июньских наших фиалок-любок? В зеленой затини, в тишине, в росе... нежные, восковые, они все те же, и вызывают прежнее...

Я бы и теперь хотел... — пусть терзанье!.. Там — каждая травка пела, а здесь... мелодия незнакомая, глухая...

Ланды. Июль 1924 г.

ГРЕХ

(Из повести « Весной »)

...Я очень живо помню этот вечер — необычайно светлый. Такие вечера бывают на поздней Пасхе или в начале мая.

После обеда прошел короткий ливень, и стало парить: запахло крепко тополями и березой. Булыжники на мостовой промылись и уже белели, но у заборов кое-где сияли лужи. От воробьиной гомозни, на солнце, — в ушах трещало. Воробьи слепились, комками падали с заборов, трепыхались и уносились с криком в листья. На тополях висел малиновыми червячками цвет, валялся в лужах. Мороженщики звонко заливались: их дальний крик был удивительно отчетлив, тонок. Перекликались петухи с дворов. Певучая шарманка обрывала, — и вдруг оказывалась ближе, громкой. Дворники щеголевато подметали мостовую, — по-майски, в ситцевых рубахах, светлых, в новых картузах — от Пасхи, в ясных бляхах и новых сапогах. От « Воробьёвки » шли подводы с кирпичом и оставляли красную дорожку пыли; возчики тряслись, болтали розовыми сапогами, ели ситный. Несли черемуху и желтые цветочки с кладбищ. Коров уже гоняли за заставу, и наш пастух Пахомов, выигравший недавно 40000, сидел на лавочке, напротив поджидал быка. Он был наряден, в новой синей чуйке, в дегтярных сапогах, в цилиндре, — весь седой, но крепкий; поглядывал к заставе и, шаря по карману, неторопливо выбирал и грыз орехи. Рядом с ним лежал ломоть ржаного хлеба с солью, — для быка.

Я стоял в зале у окошка, между горшками фуксий

в розовых висюльках. Напротив. в пастуховом доме, сидела у окошка « молодая ». Она мне нравилась, и слово — « моло-да-я » — звучало для меня, как ласка. Я шептал, растягивая нежно:

— Моло-да... я...!

Совсем недавно она сидела с матерью-вдовой в лавчонке, рядом с пастуховым домом. Там были кнутья, лапти, кисеты для извозчиков, бутылки с квасом, копченые селедки, мешок подсолнухов, кадушка с дегтем, свистульки, сахарные петушки, орехи в банках, кубари в лукошке...

Бывало, побежишь через дорогу и думаешь — увижу Маньку! Так все и звали: « мазаная Манька ». Но скоро она выросла и растолстела. Гришка говорил:

— Вот, телка стала!..

Она мне нравилась — улыбкой, белыми зубами, волосами, молочно-золотистыми, как пшённик; нравились и ее красные, как клюква, губы, всегда замазанные чем-то сладким, и глаза, голубоватые, стеклянно-круглые, как у барашка. Она поглядывала плутовато, снизу, — « таращилась, как кот на сало », — смеялся дворник Гришка.

Я любил смотрет, как она крутит голубые бусы, балует ими; бегали они по шее мягко-мягко, а шея извивалась, как гармонья. Так вот и хочется погладить бусы, придавить к шее...

Вбежишь и крикнешь в угол, где орехи в банках:

— Подсолнушков бы на копейку!..

Уж Манька непременно усмехнется:

— А, жени-их!.. Возьми орешков...

Вылупит глаза, и почему-то станет стыдно.

— Ну, где у тебя карман-то?..

Черпнет стаканчиком, потянет за кармашек и

насыплет. Всегда приббросит, пощекочет ногу. Иногда шепнет:

— Ишь, глазастый ... умеешь целоваться? ..

А губы близко-близко, даже стыдно.

Пахло от нее, как-будто, черносливом или дегтем. Всегда она жевала сладкие стрючки или хрустела бойко карамелькой, облизывала пальцы и вытирала губы кофтой, на груди, — бодалась. Грудь у нее была засалена, и там переливалось и возилось. Глядишь на деготь, на кнутики, а там, где Манька, — светло-светло.

Прошлым летом я забежал купить орешков. Манька была одна и ела красную смородину с лотка, горстями. Она пихала в рот пучками, выплевывала ветки и кривилась. Увидав меня, она так дернулась от кислоты и вывернула губы, что стала страшной.

— Сладенького хочешь? — сказала она, щурясь, и вытерла о кофту пальцы.

На ее груди прилипла смородинная кожица и ветки. Она мне протянула кисточку и вдруг хлестнула по лицу так сильно, что ягоды размялись. Я растерялся и утерся. Она объела кисточку и высунула мне язык:

— Что, сладко?!

И засмеялась как-то странно.

Я рассердился и сказал:

— Как ... глупо!

Она захохотала пуще. Глаза косили.

— Разбогател, глазастый? .. Ну, выбирай ... каких тебе орешков ...

Мне показалось, что она сказала нежно, затаенно. Я посмотрел на бусы, на глаза. Глаза таращились, выглядывали снизу. Стало жутко, приятно-жутко.

— Ну, таких тебе орешков... крупных? — спросила она нежно, перебирая бусы на груди, кося глазами. — Таких, что-ль — ткнула она в бусы. — Мягких, сладких?..

— Шпанских... — сказал я робко.

— Ну иди сюда...

Орехи в банках стояли за прилавком, в уголке. Я подошел и стал раздумывать, — каленых или шпанских... Вдруг, Манька прижала меня в угол, где был ящик, и стала щекотать и тискать. Я зажимал карман, — как бы не вытащила она деньги, — вырывался... Она давила и дышала в ухо.

— Шпанских хочешь... шпанских... — шипела она в ухо.

Я бил ногами, задыхался в кофте. Пахло от нее как-будто медом. Она щипала у коленки, больно, кусала щеку, щекотала...

— Шпанских... шпанских...

Я слышал ее пальцы... Стало стыдно. Схватил за бусы. Бусы заскакали...

— Закричу... пусти!.. — кричал я в кофту...

Она куснула за ухо, пустила.

— Выдумал чего... бесстыдник, тискать!..

Она была вся красная, глаза косили, затягивались тенью. Смеялась по-чудному как-то. Я сомлел, и сладко побежало к сердцу...

— Шпанских, что-ли? — спросила она тихо, задохнувшись, и подбирая бусы. — Порвал, чертенок... Ну, шпанских?..

— Ка... леных... — выговорил я смущенно.

Она насыпала мне много, за один пятак, — шпанских и каленых. Прикинула стрючков и наказала приходить еще...

С тех пор я опасался заходить, когда сидела одна Манька. А хотелось...

Иногда в лавочке я видел старика Пахомова. Он восседал на ящике, постегивал кнутом по стенке, по сапогу, или пил чай из толстого стакана. Лежало « лимпасе » в бумажке, Манька грызла. А то свистульки глиняные пробует, а Манька смотрит. Или возьмет на палец дегтю, сапоги помажет, а палец оботрет о стенку. Манька скажет:

— А ну-ка, съешьте!

Возьмет и съест. И хвастается:

— С твоего дегтю здоровее буду... смолодею! Бороду выкрашу... А ты с чего такая... белая?

— А с дегтю!.. — засмеется Манька, глаза таращит.

Забежишь, бывало, — Пахомов скажет:

— А, штаны на выпуск... пора жениться! Хочешь, посватаю?

И подмигнет на Маньку:

— А хороша невеста! А, штаны навыпуск? Не надо и перины покупать! Посватать, что ли?..

Мне стыдно после т о г о, а Манька ничего, смеется:

— Возьмешь меня, глазастый, замуж? Сладко будет. Подсолнушков-то сколько у меня, орешков!..

Я швырну копейку, побегу, и непременно спотыкнусь на ясную подкову на пороге, прибитую для « счастья ».

Недавно Манька стала — « молодая ». В прошлый мясоед пастух женил Костюшку, и « молодую » привезли в атласно-золотой карете, в малиновой ротонде, с лакеем в бакенбардах, на-запятках. Я стоял

в толпе и любовался новой Манькой. Кругом шептались:

— Со-лидная какая... ка-ак сряди-ли!

Мне было грустно, и досадно: куда-то уходила Манька... от меня. Я знал Костюшку: бывало, мы менялись голубями. Он гонял коров с подручным, ходил оборванный и грязный и шмыгал носом. Гришка кричит, бывало:

— Подбери товар-то!

Стали говорить: Костюшка на Афон уходит, спутался с монахом, в «житие» читает. И вдруг — женили!

Я глазам не верил: Костюшка стал таким нарядным, «молодым», в манишке, в черном сюртуке... На его груди был даже восковой букетик флердоранжа, в белых лентах! Он показался мне совсем другим, необычным, как-будто приготовили его к чему-то, чего другие недостойны. Все в толпе одеты были, как обычно, — грязно, рвано, а на мяснике был даже фартук с кровью. А Костюшка — в шубе на хорьке, внакидку, и — в цилиндре! Цилиндр отъехал на затылок, тощее лицо, в прыщах, было испугано и посинело, глаза стояли, как у мерзлой рыбы. Выпрыгивая из кареты, он наступил на шубу, споткнулся и побежал в ворота. Все засмеялись. Кто-то закричал:

— Корова убежала!

Шафер, москательщик, воротил:

— А молодую бросил?.. Бери под-ручку!..

Костюшка воротился, разинув рот, и размахнулся, чтобы взять «подручку». Свалилась шуба. Все захохотали. Скорняк Василь Василич похвалил хоря:

— А, пастухова шуба, знаю... хорь хороший!

Старухи говорили — не к добру! Костюшка глупо ухмылялся.

Мне казалось, что ему стыдно, и что он хочет убежать от Маньки. А Манька выступала важно, как царица. Шептали:

— Молодая... молодая...

Я гордился Манькой, примеривал себя к Костюшке и горделиво думал, как бы я прошел « под-ручку »! Я вспомнил про шинель с бобрами в нашем сундуке, про чернобурую ротонду... Вот бы Маньке!

Шлейф за ней тащил сын нашего трактирщика Пашутка-Рыжий, « коммерсант », в мундире-шафер. Он так его высоко поднял и встряхивал, что были видны белые чулочки и даже кружевца на панталонах.

Гришка меня толкал:

— На дело-то глядите! Вот так те-лка!.. Ну, будет с ей делов Костюшке!.. Какому сопляку досталась...

Горничныя подпрыгивали на снегу, хихикали в передник. Жалели Маньку: — Девченку только загубили. Сласть какая с таким михрюткой!

— Взял за красоту, в одной рубашке...

Я слушал жадно, и словно видел Маньку — красивую в одной рубашке...

— Приданое старик все сделал. Кровать ка-кую, в розанах!..

Я видел и кровать, и розаны, и Маньку... как она лежит на розанах, в одной рубашке... Странно, потом увидел и розаны, и Маньку, но... ка-кую!..

Во мне играло, и щемило грустью.

Привалило счастье!..

— Старик вдову все спаивал. Как придет в лавочку, сейчас — за полбутылкой спосылает. Она на-

пьется, а он за Маньку... « Ступай за моего Костюшку, будешь богатая... все вам оставлю! » Намедни выиграл 40000 целковых, на билет!..

На свадьбе играли четыре гармониста и труба. Я уже шел в гимназию, синело утро, а в пастуховом доме еще огни горели, и пьяный шафер выбежал на снег и терся.

Потом все в нашем доме говорили:

— А, молодая-то, бедняжка... а?!..

Я слушал с затаенным любопытством. Почему — бедняжка!.. Гришка мне объяснил, но смутно:

Ну, как не понимаете!.. Костюшка не может соответствовать. Кое-как... все вам расскажи! Жаловаться уж к матери ходила. Ну, на что... муж неполноправный! Аа... махонькие, что ли?.. Понятно, у ней кровь горит, и все наглядно, самая-то молодая! Ну, старик учуял, ходит кругом ее быком... он, понятно, может еще опыт сделать, крепкий еще старик. И харч-то у них сладкий, солонина всегда своя... А Костюшка, знаете его, дурашный. « Хочу в монахи! » Все в « житье » читает. Ну, старик его лупцует. А тот свое: « грех это, боюсь греха! » И шут их разберет... как ночь — крик, шум, стекла летят-звенят. Намедни городовой приходил, справлялся: « чего у вас тут не выходит? » Все смеются. Теперь Костюшку в Воронеж отпустил, на богомолье. А молодая со стариком осталась, для хозяйства. « Грех » у них конечно... Теперь поняли?

Грех... Мне было и обидно за Костюшку, и жаль чего-то.

Слово — г р е х — являлось для меня живым и жутким. Грех! Его я видел. Он был зеленый, в черных пятнах, — Змей, — огромный, в толстых коль-

цах, в черных и красных языках огня. По нем белели узкие полоски, кривые буковки чернели жутко: «грех», « грех », « грех »... Я видел в монастыре, у Троицы, огромную картину — « Страшный Суд », — и так осталось: В кольцах Змея — все гнездышки грехов, « местечки »: « чревоугодие », « ложь », « воровство », « прелюбодеяние », « убийство... Грешники страдали в кольцах Змея, в дыму и пламени, худые, жирные... В одном « местечке » лежала молодая толстая « блудница », с распущенными волосами, с голой грудью. Рядом с ней — тощий грешник, с седою бородой, весь красный. Над ними — черно-зеленый чорт, с крыльями, похожими на зонтик. Черно-зеленый « Грех » тянулся на картине, жирный, жуткий...

Я знал, что в пастуховом доме — « грех ». Мне стоило взглянуть на диковатый дом напротив, с раскрытыми воротами, с навесами и сеновалом во дворе, — и я сейчас же видел ярко: толстый Змей... зеленый, в черных пятнах, лежит на доме, вытянулся дальше... В окошко смотрит « молодая » — грех — кольцом обвита, — и не знает. Я вижу языки огня,— и чорт, зеленый, с крыльями летучей мыши... Мне жутко, — грех так близко! — и волнует... Смотрю и грежу...

И в этот светлый вечер я смотрел. Сидела у окошка « молодая ». Через дорогу мне было видно пышную ее фигуру, в розоватом платье, пушистые кудряшки и красные, как клюква, губы. Я любовался ею и повторял, растягивая, нежно: — моло. . .да-я. . .

Она полулежала на окошке, водила головою на прохожих и щелкала орешки. Сыпались скорлупки за окно. Старик Пахомов поглядывал из-под цилиндра кверху. Я любовался, как « молодая » встала, повела

локтями и потянулась сладко-сладко. Я затаился, чувствую: вот — грех!..

От заставы, где по заборам зеленело гуще, шло стадо. Слышалось мычанье. Я высунулся из окна глядеть, какая впереди корова. Шла рыжая, — хорошая погода завтра. Переваливались и качались спины. По середине шел громадный, тупомордый бык, весь черный. Он поднимался на-дыбы, валился и опять взбирался. Мне было омерзительно и жутко, как становился он горбом над стадом. Это чувство жути, грязного греха, — мутило. Ну так бы и ударил по слюнявой морде! Подручный сбил его кнутом и завернул к воротам. Там Пахомов подманивал на хлеб, а «молодая», высунувшись из окна, кричала:

— Васюк... Васюк... Васюка!..

Бык тяжело вошел в ворота, замычал... В моих глазах зеленое струилось, черное пятно мычало. Тянулась из окошка «молодая»...

Ударили ко всенощной...

Я посмотрел на образ «Всех Праздников», старинный, в золотом окладе, и стал креститься. По средине был Животворящий Крест. Мне стало тихорадостно, и огонек лампадки показался таким чудесным аленьким цветочком... И я запел вполголоса — «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко»... Ходил по солнечному залу, по дорожкам, и напевал. Ходили золотые рыбки в аквариуме, в солнце, тихо-тихо. Зайчики играли от воды. Волнение мое утихло.

Я вышел за ворота, ко всенощной. Было так тихо и тепло, так нежно пахло тополями и березой... И я почувствовал, как хорошо весной.

Март 1926 г.

Париж

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Я с нетерпением поджидал лета, следя за его приближением по хорошо мне известным признакам.

Самым ранним вестником лета являлся полосатый мешок. Его вытягивали из огромного сундука, пропитанного запахом камфары, и вываливали из него груду парусиновых курточек и штанишек для примерки. Я подолгу должен был стоять на одном месте, снимать, надевать, опять снимать и снова надевать, а меня повертывали, закалывали на мне, припускали и отпускали — « на полвершочка ». Я потел и вертелся, а за невыставленными еще рамами качались тополевые ветви с золотившимися от клея почками и радостно голубело небо.

Вторым — и важным — признаком весны-лета было появление рыжего маляра, от которого пахло самой весной — замазкой и красками. Маляр приходил выставлять рамы: — « впущать весну », — и наводить ремонт. Он появлялся всегда внезапно и говорил мрачно, покачиваясь:

— Ну, а где у вас тут чего ? . .

И с таким видом выхватывал стамезки из-за тесемки грязного фартука, словно хотел зарезать. Потом начинал драть замазку и сердито мурлыкать под нос:

« И-ах, и те-мы-най ле-эс . . .
да йехх, и те-мы- на-ай . . . »

И пел все громче. И потому ли, что он только всего и пел, что про темный лес, или потому, что вскрикивал и вздыхал, взглядывая свирепо исподлобья, — он казался мне очень страшным.

Потом мы это хорошо узнали, когда он оттаскал моего приятеля Ваську за волосы.

Так было это дело.

Маляр поработал, пообедал и завалился спать на крыше сеней, на солнышке. Промурлыкав про темный лес, где « сы-тоя-ла эх да и со-сенка », маляр заснул, ничего больше не сообщив. Лежал он на спи-не, а его рыжая борода глядела в небо. Мы с Васькой, чтобы было побольше ветру, тоже забрались на крышу — пускать « монаха ». Но ветру и на крыше не было. Тогда Васька от нечего-делать принялся щекотать соломинкой голые маляровы пятки. Но они были покрыты серой и твердой кожей, похожей на замазку, и маляру было нипочем. Тогда я наклонился к уху маляра и дрожащим тоненьким голосом запел:

« И-ах и в те-мы-ном ле-э . . . »

Рот маляра перекосился и улыбка выползла из-под рыжих его усов на сухие губы. Должно быть, было приятно ему, но он всетаки не проснулся. Тогда Васька приволок на крышу большую кисть и ведро с краской и выкрасил маляру пятки. Маляр лягнулся и успокоился. Васька состроил рожу и продолжал. Он обвел маляру у щиколок по зеленому браслету, а я осторожно покрасил большие пальцы и ноготки. Маляр сладко похрапывал, — должно быть, от удовольствия. Тогда Васька обвел вокруг маляра широкий « заколдованный круг », присел на-корточки и затянул под самым маляровым ухом песенку, которую с удовольствием подхватил и я:

« Рыжий красного спросил, —
« Чем ты бороду лучил ?
« Я не красной, не замазкой,
« Я на солнышке лежал !
« Я на солнышке лежал, —
« Кверху бороду держал !

Маляр заворочился и зыкнул. Мы притихли, а он повернулся на-бок и выкрасился. Тут и вышло. Я махнул в слуховое окошко, а Васька поскользнулся и попал маляру в лапы. Маляр оттрепал Ваську и грозил окунуть в ведерко, но скоро развеселился, гладил по спине Ваську и приговаривал:

— А ты не реви, дурашка. Такой же растет у меня в деревне. Что хозяйской краски извел, ду-ра... да еще ревет!..

С того случая маляр сделался нашим другом. Он пропел нам всю песенку про темный лес, как срубили сосенку, как «угы-на-ли добра-молодца в чужу-дальнюю сы-торонушку...» Хорошая была песенка. И так жалостливо пел он ее, что думалось мне, — не про себя ли и пел ее? Пел и еще песенки — про «темную ноченьку, осеннюю», и про «березыньку» и еще — про «поле чистое»...

Впервые тогда, на крыше сеней, почувствовал я неведомый мне дотоле мир, — тоски и раздолья, — таящийся в русской песне, неведомую в глубине своей душу родного мне народа, нежную и суровую, прикрытую грубым одеянием. Тогда, на крыше сеней, в ворковании сизых голубков, в унылых звуках маляровой песни, приоткрылся мне новый мир — и ласковой и суровой природы русской, в котором душа тоскует и ждет чего-то... Тогда-то, на ранней моей поре, — впервые, быть может, — почувствовал я силу и красоту народного слова русского, мягкость его и ласку, и раздолье. Просто пришло оно и ласково легло в душу. Потом — я познал его: крепость его и сладость. И все узнаю его...

Апрель, 1926 г.

ИСКУШЕНИЕ

Ну, не все, барыня плохо было, и добрые люди попадались! — у Бога всего много. А без добрых-то нас бы давно сглотали. Сами подумайте: Катичка — красавица, прямо... привлекающая такая, сказать нельзя... вот нас с ней в Костинтинополе одолевали! И такие нам были искушения, — Господь сохранил. Все кругом говорили — счастье какое вам! — а какое там счастье, чистое искушение. И мне было искушение, и Катичке. А вот расскажу.

Сказывала я вам, — послала она письмецо мисе — англичанке, учила какая ее в Москве, Кислая по фамилии. Она с барыней поругалась и разочлась, из-за барина дело вышло. Ну, разочлась — Катичке и сказала: « для вас я все готова сделать, буду вас всегда помнить ». Уехала она на родину, сколько годов прошло, и думать об ней забыли. А вот как выкинуло в пустое место, попали мы в сущий ад, в Костинтинопль-то этот... — тут мы мису и вспомнили. Одни-одинешеньки, сироты... я-то, дура — старуха, слова сказать не знаю, а Катичка, хоть и образованная, и по всякому говорить умеет... за англичанку ее, прямо, признавали, так она говорить могла, миса-то ее обучила... да совсем молоденькая еще, без отца — без матери, на моем глазу только, ну, опоры-то у нас и нет. И деньги мы потеряли, из чулка у нее в бараках цыганка вытащила, беленькие бумажки, аглиские, Васенька какие мне дал, полковник наш, а сам в Париж хлопотать уехал, нас бы перевезти. Ну, Катичка тут и говорит:

— « Я сегодня, няничка, мису нашу, Кислую, во сне видела! — А мы ее « кислая кошка » — звали,

очень она строгая была, худящая, а по фамилии на Кислую, словно, похоже. — Не написать ли ей письмецо, совета попросить ? »

На что лучше, — и во сне привиделась, и погибель-то нам грозит, — может говорю, указание нам Господь дает. Она и написала. А годов восемь прошло, как она отошла от нас, и адресок мы давно забыли, — ее фамилию помнили да городок, где она жила. А она у каких несметных богачей жила, будто, — писала-то она нам. Ну и послали на удачу, что уж Господь даст. Недели две пождали — и ждать перестали, нет ничего. А жизнь наша горькая-разгорькая, самое нам испытание пришло. А кругом красота такая, и море такое хорошее, тихое не как наше, Черное, а глядеть приятно, и тепло-то, хоть и зима. и цветы цветут . . . да свое-то все потеряли — душа и не принимает. И будто нам испытание: видите мол, как у Бога хорошо все сотворено, все земли теперь видите . . . и у вас было хорошо, вот и жалейте, — не ваше все, и радости вам нет ! И вправду, барыня . . . Турки нехристи, а радоваться могут, а мы вот безо всего.

Я у турков тогда с месяц жила, покуда меня к Катичке в « Золотую Клетку » не пристроили, в ресторане посуду мыть. Катичка туда поступила, чашечки подавать, ей порекомендовали, чистый все-таки ресторан. А то нас немка одна все сманивала в кофейню, а нас остерегли — « бойтесь, говорят той немки, она барышнями торгует ! » — вон как. Уж сколько зазывали во всякие места, отводил Господь. А жить нам нужно, ну ее в « Золотую Клетку » и определили, наш капитан один запевалой там служил, он и охранял Катичку. И там еще три графини служили, и княгиня . . . и Катичка-то хорошего роду, тоже из графова,

по мамочке покойной. Ну, плохо ей служить было, всякий она пьяный разговор понимала ихний... известно, кутящие что могут разговаривать! А там все богачи бывали, корабли у них свои, товарами торговали, всякого роду — племени. А она стро-гая... как поглядит — каждый пьяница отлетит! Все ее недотрогой звали. Вот я за нее дрожа-ла, молилась все!

Ну, жила я у турков, за детьми ходила, носики им утирала, бельецо на них стирала, спать их укладывала, и сказки им сказывала... все они разумели, турочки махонькие, смышленные такие были. Спать уложу, покрещу, — они и спят спокойно. Турочка молоденькая полюбила меня, оставляла у них совсем жить. Все лопотала... по своему лопотала, а все понятно:

— «Веру, говорит, твою не тронем, и в свою мечеть... — это по ихнему церковь так называется, — ходить можешь, слова не скажем, только останься».

Главная она жена у турка была, кожами они торговали. Закон у них такой, — одна главная, жена а другие под ней, покоряются. Уж они меня сладостями кормили... И розановое варенье, и рогат-пастила, и финики, и винны-ягоды, чего только душенька пожелает! И пироги каждый день пекли с бараниной, и козлятина у них, и рис миндальный, и... — ублажали, прямо. И жалованье, барыня, прибавляли, так ценили. И в баню меня свою водили, душеньку отвела — попарилась, с Москвы в бане не была, четыре года. У своих жила — и жалованье мне за столько годов не заплатили, а турки вот... Это уж искушение мне было. Раздумалась — Катичка-то без меня как же? — и не осталась. Свое хоть плохое, а на чужое не променяешь.

Ну, послали мы письмо мисе, и думать забыли. Служит Катичка, чашечки подает. Это уж мне Катичка рассказывала, что вышло-то, сама я не видала. И говорит ей хозяин-грек:

— « Один человек все про вас что-то разузнать хочет, а он сыщик . . . вы ничего худого не сделали ?

Затревожилась она, что такое, почему сыщик. Две недели все сыщик к ним в ресторан ходил, все про нее разузнавал. И на квартире нам говорят, турок-дворник говорил, — какой-то человек все про барышню дознается, куда она ходит, да кто к ней ходит, какого поведения. И пропал сыщик.

И приходит раз в « Золотую Клетку » солидный такой старик, с золотой палкой, такой шикарный англичанин . . . и не простого роду, а вроде как ихний граф, самый важный. Сидел, на все глядел, и ничего не заказывает, закусить. К нему барышня подойдет, — не желаете ли чего выпить-закусить ? — не желает. Только сидит — на все стороны глядит. Три дня так все ходил. А известно, что он несметный богач, на своем корабле приехал, и все к нему с уважением. Посидит и пойдет. А у них там у каждой барышни свои столики. Приходит опять — к Катичкину столику и сел. Подходит она — он себе сельтерской воды затребовал. Пьет глоточками, а сам на Катичку смотрит, даже ей страшно стало. Стал спрашивать, как и прочие из них: да кто вы, да как сюда попали, то да се . . . Она ему по ихнему отвечает, лучше сказать нельзя. И красавица, она, писаная, так за ней и в Москве, и в Крыму хвостом и ходили женихи . . . а тут, старый старик, и так настойчиво, глаз с нее не спускает. Допил бутылочку — ушел, двугривенный на-чай дал. Опять приходит, все пустяки заказывает,

все разговоры разговаривает. И очень все удивились: старик богатый-разбогатый, каждый день по часу за пустяком сидит — не расходуется. Хозяин-грек и говорит Катичке:

— « Постарайтесь, мамзель-Катиша, старичка растревожить на расход, вам со счета хорошая от меня прибыль будет, он несметный богач ».

Уж он приметил, глаз-то у них наметанный, — старику Катичка понравилась. Ну в одно ухо впустила, в другое выпустила, привыкла к порядкам ихним, а обижаться нельзя, терпи. А старик опять заявляется, и обед себе заказал шикарный, лучше нельзя. Сидит — благодушествует. Выпил рюмочку дорогого вина, и Катичке предлагает — выкушайте со мной ! Сразу уж ей понятно,, чего добивается. И грек глядит, из двери ей мигает. А она — ни-как ! Я, говорит, капли не пью, и мое дело подавать, а не, — сказать сумела. А она горячая, огонь-порох ! Он вдруг и говорит:

— « Простите меня, графиня . . . » — по фамилии и назвал ее !

Она так удивилась, говорит — извините, я не графиня. А он свое:

— « Я говорит, — знаю, что вы графиня . . . и все мне про вас известно досконально. И вот вам письмецо !

И подает ей из бумажника — во-какой бумажник ! — письмо. Глядит она — мисино письмо ! А уж старика и нет: ушел, на стол белую бумажку выложил. Сразу ей капитал очистился. Все барышни заахали — « ах, какое вам счастье ! он в вас влюбился, у него свой корабль » — то-се . . .и грек прибежал, расхваливать ее стал:

— « Ловите свое счастье, и меня не забудьте... растрясите старичка получше ».

Ну, с бесстыжего чего взять! И все завиствуют... письма пишет, в любви признался! А он несметный богач был, с коробля на бархатных коврах его привозили, лодочку накрывали, и автомобиль у него свой, с корабля, будто, спущен, — вот какой. Катичка показала им письмо, а они не верят: это говорит, он глаза отводит, а уж сразу все видно, что влюбился. Прочитала она мисино письмо, а та пишет, что так и так, жила она у этого старика, высокого положения, с дочкой его книжки читала, а теперь дочка их померла, а они, с супругой, поехали по свету кататься и заедут к вам в Костинтинополь, повидать вас... А она все про нас старику рассказала, в каком мы горе... и бо-знать чего про нас ему наплела, чуть мы не выше графов! — очень любила Катичку. И такие, говорит, люди редкие, старик с супругой, лучше и не найти.

Ну, хорошо. На другой день он опять заходит. Поговорили они с Катичкой про все, и про мису ту... пообедал он и говорит:

— « Я хочу вас по городу прокатить и говорить как следует... будьте так любезны снизойти к моему желанию ».

Тут Катичка заопасалась. Хоть и с письмом, а кто его знает, что он за человек! Завезет еще куда... несметный богач, а в Констинтинополе всего бывало. Старик-старик, а другой старик хуже молодого. Он сразу увидал, чего она опасается, и говорит:

— « Не опасайтесь меня, я вам в дедушку гожусь, и очень вас ценю! » — Вон как. — « Мне говорит, про вас все известно, про ваше замечательное

поведение... вы достойная графиня и примерная барышня... и у меня глаз верный! И мне надо говорить с вами сурьезно».

И грустно так на нее глядит. И говорит — «как вы мне дочку мою напоминаете!» Она и сказала ему, — завтра она свободна будет. И сговорились они, он за ней на квартиру заедет к вечерку. Пошел он — опять белую бумажку выложил. Она ему сказала, это не годится, такие начаи... А он ей настойчиво так: «у вас найдется, кому отдать». И правда, кругом беда, Катичка много потом пораздавала. Тут по-шло, в ресторане... — «поженится он на вас... у него дворцы по всему свету, шофер нашему швейцару сказывал!» А другие завиствуют-стращают: «он женатый, старуха у него на корабле в креслах сидит без ног... а это он себе для удовольствия подыскивает». И хозяин ей, змеем так извивается, все шептал: «не слушайте никого, ловите счстье... мы тогда с вами большой ресторан откроем!» А такие дела бывали, и устраивались при богачах, а то, бывало, и замуж выходили.

Заехал он за ней, кататься ее повез. Сперва вынул бумажку, тыщу рублей по нашему, сказал: для бедных ваших, сами распорядитесь. А потом и говорит:

— «Мне и моей супруге все про вас известно. Моя супруга желает вес видеть, поедемте сейчас же на мой корабль».

Катичка опять перепугалась: завезет на корабль, а с него уж не вырвешься, городового не позовешь. Стала ему говорить, — не может она одна, а всегда с няней ходит, неразлучно. Он так обрадовался, вскричал: «Ах, какая вы хорошая, скромная! И стал

портретик ее просить, супруге показать. « Вы, говорит, напоминаете мне нашу дочку, как вылитая ! » — и слезы у него даже. Заехали они домой, она портретик ему свой дала, поверила. И уговорились завтра на корабль ехать, со мной вместе, меня прихватить.

Приехал он на другой день в ресторан, а она уже готова, черное платье свое надела, монашка и монашка, скромная-то-расскромная, ангел чистый. И меня забрала от турков. Ну, и я тоже убралась, шаль надела, и наколочку она мне приколола кружевную, прилично так. Познакамила меня со стариком. Старик — лучше не найти: благообразный такой, высокий, сразу видно, что из хорошего рода, высокий князь. И покатили мы на автомобиле, народ смотрел, завиствовали как все ! . . . И хозяин сам старика под ручку подсаживал, а на морде-то его видно, будто нас продает. Сказать правду, сердце у меня неспокойно было, как бы чего не вышло. Молилась все . . .

Ну, чисто в сказках, такое искушение нам вышло. Уж и не помню, как мы на белый корабль взошли. Лакеи нас встречают, в чулках, в кафтанах в синих, штаны короткие, белые, пуговицы вот такие, в рубль . . . кланяются нам, и все цветы и цветы, белые все цветы. И повели нас в парадные покои. Смотрю сидит в креслах старая барыня, седая, завитая, и с костылем, такая важная, румяная, и так вот, в золотое стеклышко на нас смотрит. Катичка перед ней присела, ручку ей поцеловала . . . ну, самая что ни есть воспитанная. А я издали ни-зко ей поклонилась, ручкой она мне махнула, в кресла велела сесть. Страху я набралась, сказать правду, будто царица на меня смотрит. Ну, кофий мы пили, корабль смотрели . . . А старая барыня все-то на Катичку любовалась. У

ней портретик на столике стоял, ихней дочки, Катичка мне сказала . . . хорошенькая такая, только личико подлинней, а маленько на Катичку похожа. Барыня то на портретик взглянет, то на Катичку на мою. И все так ее называла — « дитя моя », — Катичка мне сказала после. Вон как.

Ну, отвезли нас на берег. А на другой день старик опять в ресторан приходит и говорит:

— « Мы с супругой хотим свой зарок исполнить. Три года, как у нас дочка померла . . . и вот мы все хотели хорошую барышню за дочку принять к себе. И вы нам очень пришлись по сердцу. Поедемте с нами прогуляться по морям, а потом вы нам скажете, можете вы стать у нас за дочку. И я, и моя супруга очень вас просим ».

Как с неба на нас свалилось! Ну, как тут быть? . . . И Васенька-то в Париж уехал . . . ждали от него весточки. Она ему прямо и сказала, — я счастлива, мол, и благодарю . . . но позвольт мне сроку подумать две недели. Совсем она растерялась. Ну, старик ничего, — понимаю, говорит, мы чрез месяц воротимся, будем на дачах жить, и лучше вы нас узнаете. Прощаться с барыней Катичка ездила. Говорит — в лобик барыня ее поцеловала.

Уехали они. Стали мы думать, как быть. И счастье такое выдалось, и страшно-то . . . от себя уж надо отказаться, по ихнему писаться, и веру ихнюю принимать! А в ресторане никто не верит: « знаем, в какие дочки! » А потом из банка бумага нам: тыщу рублей берыня Катичке прислала, на гостинцы! Ахнули мы. Не тронула Катичка ни грошика, ждала все, когда воротятся. А они и не воротились . . .

Да так. Сном пришло — сном и вышло, — чисто

вот искушение! Недели не прошло, грек подбегает к Катичке, газетку сует — кричит:

— Пропало ваше счастье! И пропало и не пропало!

Не поняла она, а испугалась. И что же, барыня... ихний корабль на мину наскочил, в море, которая осталась — плавала, порохом его и разорвала. С другого корабля видали, как они сразу потонули, никого не спасли. И как же плакала Катичка! Да не то, что счастье такое не досталось, а люди-то какие редкостные, так нас и осветили в Костинтинополе этом страшном... в пустоте-то нам встретились, обошлись так... будто они родные. Прямо, искушение нам было. Ну, согласись мы тогда, очень они просили ехать... — и мы бы потонули!.. Будто заман нам был — от себя, словно отказаться...?

Катичка все после говорила:

— «Будто они мне родные стали... и, будто, не было ничего... как сон!...».

Декабрь, 1932.

СМЕШНОЕ ДЕЛО

— Рассказ встречного человека —

— Да вы-с — и в Липецке, и в Ельце бывали! А станцию «Патриаршую» не припомните... а то «Рождество-Лесное»? И «Тарбуны» наши совсем неподолеку. Там стык, вроде, пять губерний подходят — Орловская, Тульская, Рязанская, Тамбовская и Воронежская... так я на мысочке, на тамбовском. Очень приятно-с... и в чужестранном вагоне встретились! А я в город Лион, сын там чертежником на заводе, а прежде в артиллерии был, штабс-капитан. На крестины вот вызвали, внучка Бог дал, и на билет выслали. А я-то во время оно псаломщиком был, а теперь в лавочке обретаюсь, у земляка. Ему дарования к языку Бог не дал, только бонжур умеет, а я про все объяснить могу, и с французским покупателем обойдусь. И не думалось никогда, что по-французски заговорю. Да как попал-то?.. Такое уж злое обстояние, — и смех, и горе. Кому ни скажу — покатываются со смеху. А уж какой смех, ежели в суть-то вникнуть. И не думал с Россией-матушкой расставаться; отсижусь, думаю, в незаметном месте от своего зловреда и опять на пепелище вернусь. У племянника-дьякона беду перебыть рассчитывал, при станции «Касторной». Только с машины слез — хвать меня кто-то за руку. Гляжу — Вася, сын, только в содатском облачении, не узнать. А он ко мне пробивался попрощаться, на Ростов-Дон спешил. Узнал, мыкаюсь я чего, втиснул с собой в теплушку и не пустил. Так и не расставались. Один он у меня, сам я вдовый, ну, скарбишка остался... а хорьковую шубу я надел,

очень она меня спасала. И тифом отболели, и под пулями я был... и вот, очутились заграницей, Господня воля. И вот будто все сон мне снится: ворона каркает — ну, прямо, наша, тамбовская... так вот сердце и вывернет!

Смешного-то что было, чего покатываются? И сами засмеетесь, как вот скажу: через обезьяну вышло. Вот и вы смеетесь. И через сущую обезьяну, а не в обинячном там смысле. Откуда взялась-то? А вот, взялась... Не без человека, конечно, тут, потому... ну, что такое обезьянка, жалкое существо! А вот в чем это смешное дело будет. А там и рассудите, смешное или несмешное.

Где дьячил-то я, при «Тарбунах», большое имение было Бабарыкиных, — известные коннозаводчики. Барина Бабарыкина дочка теперь в Америке в синемах играет, портрет в газетах, видел, Она за неделю до того в Москву уехала, а то бы печальное последствие для нее. А сам Бабарыкин, как получил от одного человека знак, в Данков ускакал, и что с ним сталось — доточности неизвестно. Дочка, может и знает, а я постеснялся письмецом их обеспокоить: подумают — вот, помышления у дьячка своекорыстные, напомнить про себя хочет. Может, Павел Сергеич и сам в Америке теперь с ней. А уж как зловред скрежетал, что Жар-Птица-то улетела..!

Господин Бабарыкин высокого был образования, но чудной: против властей был и даже против своего звания. Из, древнего рода, царей даже ставили на царство, и, будто, — любили посмеяться, — права на престол имели. Но желали республику. Это они от графа Толстого заразились. С год даже в армячке ходили. А к нам, к духовному званию, всегда отно-

сились с подковыркой. Хотели землю мужикам раздарить, да после 905-го, как сожгли им конский завод, — раздумали. Вот калили их мужики! А вот — зачем раздумали. Школы строили, и у себя в доме волшебный фонарь поставили, как вот заграницей сладко живут, а у нас горе мыкают. Мужики для угощения ходили, подакивали. А дочка у них была красавица, как ангел, в золотых локонах, и великая насмешница. По крещенью-то она Елена, а они ее называли... Ро... Ло-ре-лей, — батюшка объяснил, что это языческая богиня. И училась она на актрису в Москве, по студии. Летом с бабушкой заграницу ездили, — мамаша-то у них померла. И вот, перед войной, привезли они из Африки, что ли, обезьянку, — побольше, чем вот чумазые-то с какими ходят. Я ихней породы хорошо не знаю, а вроде как мартышка. Ее так и звали «Марточка», женского пола. Особая комната ей была, и белая постелька, и качалка для их гимнастики, и даже на лисьем меху шубка, и сапожки меховые, и шапочка. Барышня ее, как дитю, в губы целовала, и шоколадными конфектами кормила, и фрухт ей покупали деликатных, а мыли в какой-то муке миндальной, от насекомых чтобы, и пахло от нее одеколоном Ралло. А то оденут крестьянской девушкой и поведут гулять. И она даже в платочек могла сморкаться. Тут и есть начало всему делу.

И смешно, и удручительно-неприятно было видеть: будто за человека ее воображали. И деревенские обижались, что мразь такую почитают, — и доктора к ней кличут, и Варька всегда при ней... вежливо сказать — посуду за ней выносят... И пошел разговор, что обезьянка эта из древнего какого-то роду, от которого люди повелись. А это наш учитель слух-

то пустил, занозу посадил. И смеялись, что баринова родня эта обезьянка, « баушкой » стали величать. И Панфилка, учитель, ехидно мне говорит, что это « господский выродок ». Но надо вам объяснить про этого Панфилку.

Был он ужасно непривлекателен, волосом огнен, лицо — мордой, косолапый и страсть потнеющий — от внутреннего ожесточения. И конфузливый, смотреть прямо в глаза не мог. Как заожесточится, чего затаит в себе, так весь и взмокнет, и дух от него невыносимо едкий, как от хоря. И худящий, от ожесточения, а кожа в красных пупырышках, как у гуся. И всегда руки под столом тер, будто завинчивал, и плечи ежил, — а все от ожесточения. Почему-с ? Обидчивый был на все. Даже на свое имя обижался, что вот Панфил. А главное, что происхождения такого — сын тюремного надзирателя, из Орла. И было это ему занозой. Набрался в тюрьме всего. Но там были сидельцы и политического ранга, и от них некоторого набрался, и стало в голове у него такое, как, простите — скажу, — в помойной яме. Порол его отец прежестоко, из гимназии его выгнали, и с того он совсем ожесточился. Устроился он у нас учителем, — барин схлопотал по письму от единомысленного приятеля, пожалел. Словом, и по физическому, и по духовному уровню, человек очень неприятный. И завистливый, не дай Бог. Эта самая обезьянка ему как нож в горлю, видеть не мог, до судороги. Но к барину подольстился как-то, сверхъунизительно, и тот дозволил за книжками к нему приходить, во имя самообразования. Книжек у них была полная галерея, красного дерева шкапы. И с праздником заявлялся, для поздравления. А то, зимой, от скуки, пошлет за ним, барин, — любил

пошутить по некоторому научному предмету, — и, говорили, так и покатывался над ним, как рассуждать пускался. Но Панфилка чувствовал, будто в шуты зачислен. И все-таки разглагольствовал. И, конечно, невер был полный, и даже кощун. Когда батюшке недосуг, я Закон Божий объяснял ребяткам. Начнешь про сотворение мира, а Панфилка и вставит спицу: « теперь это наука ниспровергла, а человек произошел от обезьяны ! » А то и так: « а как же Ной мог всех зверей один изловить и в ковчег посадить ? И слона поймал, и носорога, или они дресированные были ? » Батюшка уж грозил, что донесет по начальству, если будет соблазнять малых сих. И уж готовился ему реприманд, а тут и грохнула революция. Тут он начинку-то всю и показал.

А ожесточение сам господин Бабарыкин в нем распалял. Но, как и в румяном яблочке бывает червоточинка, так и в благородном даже человеке. Тоже был кощун, хоть и с тонкостью, и даже издеватель. Мамаша их еще наблюдала наружно благочестие, хотя и глядела на нас через лорнетку и наказывала прыскать лесной водой после нашего посещения, — что, дескать, « от них замогильный дух »: очень боялись смерти. Но в праздники принимала и даже приглашала присесть к столу. Закусываем стеснительно, а она — тучная была дама — сидит в креслах и смотрит на нас в лорнетку. А Павел Сергеич никогда ко кресту не выйдут, а таятся в гостиной с « Марточкой ». А как присядем к столу, они и явиться из приличия и начнут угощать « Марточку » из тарелок.. И непременно затронут про церковные порядки, и всегда с раздражительностью и подковырой. И образованный человек, а тут — ну мальчишка будто. И

чем батюшка смирней отвечает, чтобы не раздражать, он так и закипает! Словно бы дух нечистый сие раздражение мыслей распалял. И в таком распалении однажды до скорби оскорбил нас и ревнование наше.

Поем « Дево днесь », и вижу в зеркале, как стоит он в дверях с обезьянкой и сотрясается, красный весь. А он — в матушку, тоже чрезмерно тучный и полнокровный. А « Марточка », в позументовой ермолке... крестится и, так уж ей полагается, гримасничает. Это он ее обучил, для смеха. Шепнул я батюшке, но он что-то усумнился. А за столом Бабарыкин и заявляет с усмешечкой, что как влияние-то действует... и « Марточка » у нас тоже в религиозное ударяется ». Ну, не кощун ли?! Батюшка воскорбел и с сердцем, правда, сказал: « с четвероногого скота не спросится, а с двуногого, образа-подобия божия, взыщется строго за кощунство! ». И перестал вкушать, от огорчения. Я заробел: взрыв будет! А мы в зависимости от них, искони пользовались земелькой. Мамаша ихняя так это обвела всех в лорнетку и задышала часто, но Павел Сергеич и не обиделся, только чуть глаз прищурил. « А что тут взыскивать? разве не сказано там у вас — « всякое дыхание да хвалит Господа? » Повздыхали мы и стали подыматься. А тут Панфилка на уголку сидел, только что заявился для поздравления, в сюртуке и в воротничках, весь красный, и руками под столом сучит, от ожесточения. И заскрипел, — голос у него был скрипучий-деревянный, — и в скрипе злость, но прикрытая некой благопристойностью: « а почему, батюшка, это существо скот, и еще « четвероногий », когда наука считает, что это четверорукое животное существо причисляется к человекообразным? » И стал молоть и потеть от

ожесточения, что нечего нам превозноситься, и что мы должны с почтением как бы взирать на нашего « прародителя « . . . и стоит, дескать, лопнуть одному только волоску-нерву в мозгу, как « вся душа, разумная и свободная », — ехидственно так про душу, — из человека испарится, и человек обращается в скота. Где же « божеское » в человеке, и что такое, собственно, ду-ша ? Да испугался батюшки и замямлил: « я это так, испытываю сомнения . . . как на духу . . . » А Павел Сергеич сотрясается. Батюшка и приличия забыл, крикнул. « у тебя волосок, значит, лопнул, и выходишь ты скот ! » И встал в страшном волнении. А тут и Елена Павловна сидела. Панфилка, может, это нарочно, дерзание показать при ней и образование. А она взяла « Марточку », посадила рядом с Панфилкой и смеется: « ах, прекрасная пара из вас бы вышла ! угости, « Марточка », своего дружка конфеткой ! » Так мы все тут и покатились со смеху. А Панфилка весь потом изошел руками заерзал, от срама и от ожесточения и дух от него пошел наижесточайше едкий. А надо вам сказать был он ужасно влюблен в насмешницу, и такой позор ! И батюшка его тут и пристукнул: « совершенно справедливо изволили сказать Елена Павловна, большое у тебя сходство с этим забавным существом, но только оно умеет себя держать, а ты и по внутреннему, и по наружному облику от подобного рода происходишь, но только более злейшего, как например, горилла или мандрилла ! » Тут ! . . Мамаша и лорнетку откинула, и вся заколыхалась, и застонала даже . . . и Павел Сергеич за кресла опрокинулся головой. А « Марточка » Панфилке сует конфетку, а мамаша платочком машет и стонет — « ах, лесной водой . . . ах-ах-ах . . . ! » Павел

Сергеич схватили пузырек с надувающимися шариками и давай на Панфилку прыскать... Позор, и позор наинаглядкейший!

И пошло с того дня за Панфилкой прозвание — «Марточкин жених». Все «Тарбуны» так его и завеличали, и мальчишенки за углом кричали — «волосок лопнул! волосок лопнул!» — Варька их подучила, что ли.

Вскорости заходит ко мне Панфилка, скрипит, потеет и руками винтит, от ожесточения: «а-а-... нас и за людей не признают, измываются...! уж ко-нчится это, ко-нчится... отольются кошке мышьи слезки!» Я и говорю: «ты рангом повыше мыши будешь, ты древнего рода, от обезьяны себя считаешь!» — «А, и ты, говорит, кислая кутья, с ними? и ты, лизоблюд господский, над нами измываешься!» — «Над кем это, над «вами»? — «А над обиженными трудящимися людьми!» Тут я ему и примочил: «да ты из людей-то отчислился, а обезьяна не может обижаться по малоумию своему!» Выругался и отошел со скрипом. А тут, вот она, и революция.

Стали беспутные дезертиры подходить — Панфилка с ними в компанию.Заявляется ко мне... — «держись, кутья, всем вам скоро разборка будет!» И уж страшная стала жизнь. Говорю я ему, для утишения: «ах, Панфил, неужто ты не забыл обиды-шутки!» — «Я, говорит, ничего не забываю, круговую обиду таю... и докажу, у кого «волосок лопнул»! — «Ну, и черепок ты, Панфил, колючий... обрежешься об тебя, злость-то в тебе..!» — «Это, говорит не злость, а мщение! И скоро

увидят черепки». И про Елену Павловну непристойно выразился.

А господин Бабарыкин с революции-то совсем раскис. И республика его стала, а раскис. Пришли мужики с дезертирами, грозят: отпиши половину земли, а там комитет решит, а то сами поделим. Он со страху и подписал бумагу. А они пуще! — «Вы, говорят, на нас не обижайтесь, потому мы... — смеются! — нам учитель все рассказал, и вы это ему признали, что как древнего корня, из обезьяны вышли, и сами вы нас за скотов считали, то для скотов закон не писан». Он им — «как я вас за скотов...?» А они свое: «Нет, уж мы теперь все-о знаем! И пожалуйста нам конский завод в раздел». Он туда, сюда... телеграмму, пришлите охранить... А ниоткуда ничего. Всех лошадей и разобрали. Он к Панфилке, мадерой угощал. А тот пуще только потеет и распаляется. — «Такой, говорит, дух народный, лучше сидите смирно». Наглеть начал.

Лето пришло, Елена Павловна прикатила, веселая. Пошла с «Марточкой» в сад гулять, к вечеру было дело, а дезертиры пьяные и пристали, стали ее тащить... Тут Панфилка явился — нарочно и подстроил-то! — велел отпустить, кавалером прикинулся. Довел до дому, и она его за руку поблагодарила, но тут же от потрясения заболела и слегла. И «Марточка» тоже заболела. Барин хотел мамашу забрать и дочку и уехать, а мужики караул приставили: «жил нами», теперь поживи под нами! « А кругом грабежи пошли, осень подобралась. Как ночь — Панфилка ввалится к барину, словно уж он хозяин. Старого вина требует, ключами звенит в кармане, — доверили мужики ему. И вот, спьяну и обнаглел: «все до вашей

смерти при вас будет, отдайте за меня Леночку!» Барин вскинулся, было, — «то-есть, ка-ак» — да и перепугался: «она не товар, если вы культурный человек... спросите ее сами». Он, прямо, к ней в будуар, спьяну-то, — ка-ак она его по морде-то мокрой полотенцем хлястнет..! — «вон отсюда, пьяная образина!» И выкатился. Прибежал ко мне, трясется, как пес на падали. «Ну, говорит, будет теперь сполна! завтра власть наша будет, и у меня уж бумага есть!» А уж по селу слух, что правительство кончилось, в Данкове новая власть взялась. Я Богу помолился, побежал на господский двор, к ночи было. Той же ночью Елена Павловна пробралась на «поповку» к нам, бабой оделась да в батюшкином тарантасе и отбыла с горничной в неизвестном направлении. А велено было сказывать, что опять заболела и слегла. А барин позадержался, с мамашей хотел отъехать, кое-чего payсобрать. С неделю прошло, — ввалились к нам на «поповку» с ружьями. Вижу новая власть пришла. Шепнул батюшке — бражкой пока молодцов бы позадержал, а сам задами да на господский сад. Уж темно было, в восьмом часу, ноябрь-месяц. Барин, в чем был, куртку напялил, револьвер сунул, бумажник... — вывел своего скакуна «Вольтера», — только его и видели.

Мамаша-то ихняя перепугались, стала молить меня остаться, чайку хоть с ромом выпить, против простуды, в люстриновом пиджачке я был, а холод, — стучат в ворота! Я, правду сказать, струхнул, и спрятала меня барыня в гардеробную. Вломились с ружьями, и дезертиры с ними, и Панфилка. Где хозяева? Крик, звяк... барыня — ах-ах-ах... — хлоп! Удар с ней смертный. Они шарить, по всему

дому, в гардеробную не зашли, а я в большую корзину спрятался. А Панфилка, слышу, визжит, как резаный — « где она ? где она ? . . » Ищи ветра в поле. И вдруг, такой-то ужасный визг, — прямо, мороз по коже ! А это « Марточку » разыскал и выволок. Пошел у них гогот . . ! А та верещит . . . ну, невозможно слушать.

Барыню на другой день похоронили, дом растащили, Панфилка только кабинет трогать не велел, облюбовал для своих занятий. А « Марточку » поместил в училище. Меня вызвал: « ты, кутья, способствовал бегству врагов народа ? » Отперся я. Работа пошла, уж ему и не до меня. Пошли собрания в училище. А « Марточка » там обретается, на окошке Панфилка ее пристроил, кашей велел кормить. Совсем больная она была, сидит-дрожит, синими лапками утирается, плачет, помаргивает, ну, как дите. Холодно ей, понятно, шубку у нее украли, от кофточки шерстяной один руковок остался. Сидит, пригорюнилась, и все-то стонет: « о . . . ох . . . . . . ох . . . » Сам слышал, видел, как слезы капали. А под окном народ, смеется, а кто и жалеет, обезьянку, подсолнушков нанесли, морковки. А она ничего не хочет. И вот объявил Панфилка « научную беседу ». Пришли послушать, а нас с батюшкой строгой повесткой вызвал. И стал Панфилка рассказывать . . . — совсем уж он одурел, — « все мы произошли от этой вот обезьянки ! » И верно, что одурел: его потом водой отливали, и пена у него изо рта клубилась, будто припадочный ! Крикнул — « вот вам будет теперь наглядное учебное пособие ! » — и поднял « Марточку » высоко за лапку. А она так и повисла, тряпкой. Глядят — мертвая обезьянка стала ! Мужики кричать стали: « чего ты над нами насме-

хаешься, ай мы обезьяны? это тебе баушка родная... баушку уморил!...» Насмех стали кричать: «волосок лопнул!» Он по столу кулаком, опять обезьянку поднял... Тут я и не стерпел. Вышел к столику и кричу: «Православные, послушайте! Учитель чему вас учит... что вы теперь, как эта обезьянка, а не образподобие Божие. По его, это его плоть от плоти, а Апостол говорит — «никто же плоть свою возненавидит, а питает и греет ю»! А он свою плоть родную, баушку-то свою, глядите, уж в гроб вогнал!» Так меня сразу осенило. Ка-ак загогочут, как начали кричать — «правильно, Степаныч... баушку уморил! волосок лопнул! А мы еще православные!..» тут у учителя пена и пошла. А ко мне солдат, добрый парень, подходит и на ухо: — «уноси ноги, Степаныч, куда до времени, а то прочухается — не сдобровать тебе». Ну, я тою же ночью и на «Касторную»...

Уж и не знаю, сколько там поплакало, после смеху-то: у Панфилки там бумага была, — за главного. А может и убрали его, ничего не могу сказать. Так вот-с какое смешное дело. Много потом видал, и всех мне до крови жалко. И детей сколько помирало, замерзало, и воины, на глазах сколько помирало... Помню все скорблю, и молюсь. И вот, и ту безвинную обезьянку до скорби жалко. И она плакала... И подумать — какой человек быть может!..

Февраль, 1932 г.

У ДЬЯВОЛА НА ПИРУ

— А какая она, правда?
— А круглая. Как хошь верти — все одна, куда хошь кати, все одна.

Разговор в народе.

Круглая правда выкатилась на свет Божий, такая круглая, такая простая, ясная, что и слепой, если не увидит, так все же поймет, наощупь. Правда эта была — « все одна », как ее не вертели, как ни катали и ни закатывали в пестрые лоскутки, как ни закрашивали, как ни глушили ее рокотом громких слов. Выкатилась таки кругло и жестко, шаром. Правда, сущая правда « народной воли ».

На погосте былой России, в СССР, отпраздновали — под подвальный салют убийц — пятидесятилетний юбилей рождения « Народной Воли » — той партии террора, которая убила бомбой Императора Алесандра Николаевича, 1 марта 1881 года, — убила Царя-Освободителя, воистину освободителя русского народа и освободителя Славянства.

Так пристало большевикам вспомнить своих предшественников, торивших для них дорожку, — отблагодарить посильно: кровью одною мазаны. Там, в прошлом юбиляра, сотни трофеев террора, трофеев « из-под полы », и между ними — истерзанный бомбой труп Царя-Освободителя; здесь у большевиков, — миллионы трупов, из всех русских сословий и родов, и в подавляющей массе, *крестьянских* трупов! — и между ними, как венец завершения убийств, истерзанные трупы всей царской семьи, родителей и

детей, и слуг их... — трофеи открытой бойни, продолжающейся двенадцать лет и поныне еще незавершенной.

Большевикам пристало отпраздновать и почтить. Но как же... идеалистам и героям... — а они, юбиляры, русским образованнейшим обществом всегда почитались за таковых, а иными и по сей день почитаются, — как же « идеалистам и героям » пристало оказаться на этом пиру у дьявола ? И не только оказаться, а и сказать такое, что... вся круглая правда и выкатилась на свет Божий ! Выкатилась, — и сплошь залитыми кровью всего народа, мученической кровью всего трудового люда русского, во имя которого и шли на террор, оказались эти прославленные « идеалисты » и « герои ». Не силой привлекли их на пир у дьявола, а пришли они сами и вспомянули радостно « геройство-идеализм », при звуках подвального салюта, и были безмерно счастливы, « что дожили до такого дня » !

Да кто же это пришел на пир, и до *какого* дня дожили ? !

Пришел старый народоволец, герой-шлиссельбуржец — и писатель еще ! — Н. А. Морозов, считавшийся русским передовым обществом за героя и страдальца, за человека не от мира сего, своего рода святым в революционерах, с мистическим уклоном духа, изыскателем и вскрывателем сокровенных тайн Апокалипсиса, — тот Н. А. Морозов, который писал когда-то в « воспоминаниях »: « не народу надо учиться у нас, а нам у него », « Власы » спасут себя и нас... А ? ! « Власы », некрасовские Власы... те « Власы », которые уходили от дьявола и шли по Руси собирать на церковь Божию, которые жизнь свою

отдали Богу до конца. И вот, этот самый Морозов, этот народолюб, этот Власо-люб, — стоя на краю могилы, приплелся-таки на пир у дьявола и заявил, глубоко взволнованный, хозяевам дьяволова праздника: « Я глубоко счастлив. Я счастлив, что дожил до этого дня. Вы закончили дело, начатое нами ». И круглая правда выкатилась: счастлив, что « дело завершено ». Какое дело, Морозов прекрасно знает. Не может же не знать, что убийство Царя-Освободителя, самое громкое дело их, нынешних юбиляров. убийство Царя-Освободителя, давшего народу волю и землю, ныне завершено хозяевами пира убийством *всей* Царской Семьи, убийством и пытками всего стапятидесятимиллионного русского народа и полной кабалой, полнейшим закрепощением на отнятой у народа земле, такой кабалой, перед которой древнейшие виды рабства отступают, ибо в этой дьявольской кабале все человекеское отнято и стерто, и миллионы народа обречены на медленное умирание голодной смертью. « Начатое дело — завершено » Вот она, какая правда выкатилась — невольно ? — из « взволнованных » слов Морозова.

Была на пиру и В. Н. Фигнер. Очаровательная, *святая*, — тоже святая — Фигнер. Какое прекрасное лицо, глаза какие ! Иные называли ее — мадонной. Прочтите ее « воспоминания ». Какой идеализм, какая строгость к себе, какая чуткость к чужой боли ! Сама чистота. Героиня-идеалистка. Кто не был ею очарован ? И она пришла на пир к дьяволу. Пришла, и круглая правда выкатилась опять. Пришла и она праздновать « завершение ». Пришла *зная все*. Пришла — и плюнула на свое « святое ». Пришла, ибо не могла не прийти к . . . товарищам. Пришла, и этим

своим приходом заявила: мы одним ... одной кровью мазаны: царско-народной кровью. Она должна бы сказать: « мы купаемся в одной крови »

Да выкатилась круглая правда, и все ее увидят. Выкатилась на пиру дьявола, быть может, даже случайно выкатилась, из ... « молодости седин » (выражение Пушкина), выкатилась, быть может, — и страшным светом вдруг осветила прошлое. И видишь на пиру всех: и подлинно неприкрытых хищников, и « сантиментальных тигров », — тоже словечко Пушкина.

Попировали и вспоминали былое ...

Былое? « Идеализм » свой вспоминали, « геройство ». И устанавливали « родство ». Да как же не родство? А вот:

« Наше национальное чувство облюбовывало в России один элемент — трудовую народную стихию, от которой надо было отшелушить или даже отсечь облепившие ее социальные наросты. Духовенство, купечество, двор, военщина, чиновничество, — все это, как короста, как чужеядные растения, отталкивалось нашим сознанием, не входило в состав « родины ». (Зап. соц.-рев. Чернова).

Отшелушили. Отсекли. И теперь — можно праздновать. Не только отшелушили « чужеядное », а и весь народ разгромили родственнички. И юбиляры « очень счастливы ».

« Нужно, как в Македонии! По всей России разгорится пожар, и будет у нас своя « Македония ». Крестьянин возьмется за бомбы, и тогда — революция! » (Слова Каляева, по Савинкову).

Сожгли Россию и с ней — крестьянина. И теперь — можно попраздновать и помянуть.

« Вы дали мне возможность испытать нравственное удовлетворение, с которым ничто в мире несравнимо ! »

Слова убийцы Плеве, Сазонова, после взрыва.

Вспомнили и это, празднуя. И испытали « нравственное удовлетворение », с которым ничто в мире несравнимо. Вспомнили, может быть, и это... философское изречение:

« Боевая организация всегда умела, давать должные ответы на запросы жизни ! » (Письмо Сазонова).

И как же было не вспомнить чудесного « Гроньяра » — Н. К. Михайловского !

« Вами я любовался », — писал он в « Народной Воле », — « борцы этого периода местами и временами поднимали нашу жизнь чуть не до уровня первых христиан ». « Из этого периода я запасся святыми воспоминаниями на всю свою жизнь ».

Вспомнили на пиру и « все святое », завершенное ныне так успешно. Вспомнили заповедь Михайловского — « боль за боль » и пили заздравный кубок, под подвальный салют чекистов ? Почтенные, старые идеалисты. И неужели никто из них не почувствовал, — если не увидел — *правды* ? Не заметил, что кровь своего *народа* выпил, заздравным кубком ?

Правда выкатилась, и ее не скроешь. Выкатилась в народ, и не обманешь его теперь. Не подойдешь, не шепнешь как бывало: « Засел дворянин — белоручка на престол, надел корону, помазал его поп по лбу накрест, раз два — и готово ! Заставил бы я его у меня поработать — узнал бы, как свои законы подмахивать ! » — (из революц. матер.). Теперь хорошо

знают, кто и как засел на престол, и как законы подмахивают, и как весь народ «махнули»!

Знает народ *всю правду*. Знает и откровенных хищников, и «сантиментальных тигров». Пусть же хорошенько *все* познает и во всем разберется поколение молодое, новое. Подумает над «правдой». А народ... — он ее всегда чувствовал. Но был обманут. Теперь он скручен, закован, ведом на бойню. Если бы *все* узнал! Если бы заглянул на «пир», послушал тосты! Если бы оглянулся в прошлое...

История перевернется. Народ ждет Освободителя. Дождется. И новое поколение уже не будет слепым: правда выкатилась — во всем. Вольные и невольные маски падают...

Народ — чуток. Правду, ясную нам теперь, он чуял. И я, семилетка, чуял ее по-своему... Вот, из воспоминаний.

...Сегодня во всем доме ходит жуткий, неопределенный страх. За чаем не говорили ни слова, часто подходили к окнам и смотрели на улицу. Вызывали кучера Антипушку спрашивали:

— Ну, как... ничего?

— Да, вить, как сказать... опасаются. Дворников в часть скликали.

— Ворота запереть!

Все вздыхают, боятся из дому выйти. Дворник с бляхой стоит у ворот и сторожит. Что же это все значит? Наша няня поминутно вытаскивает из кармана тряпочку и вытирает глаза. Я спрашиваю ее.

— Царь-батюшка преставился, царство небесное. Без него всем погибель.

Домна плачет и причитает. В меня проникает ужас. Что теперь будет без царя? Всем нам грозит

беда. Оттого-то все шепчутся и ждут. А вдруг придут « враги » и всех нас ... перережут ? « Царствуй на страх врагам ! » Какой же теперь врагам страх ? Царь умер.

— А могут *они* притти ? — спрашиваю я Домну.

Она не отвечает, плачет. Я слышу, как по городу плавает звон, печальный, постный, будто плачут колокола, как Домнушка. Кучер Антипушка возится в сарае. Моет пролетку. Я взбираюсь на козла, гляжу на сумрачного Антипушку, на его волосатые руки, и спрашиваю: правда ли, что царь умер.

— Помер, царство небесное ... — вздыхает Антип, — убили вчерась в Питере.

— Как — убили ? — вскакиваю я на козлах, — врешь ты ... его нельзя убить, он царь.

— Не ори, глупый ... — говорит Антипушка пугливо и почему-то глядит во двор. — О н и убили, проклятые ... мигилисты !

Я не понимаю, но мне еще страшнее, что я не понимаю.

— А где о н и ? ..

— Где ... везде !

— А ... теперь нас будут ... резать ? ..

— А ты почем знаешь ? Теперь в с е будет ...

У меня покалывает в волосах. Значит, верно ... значит ? ..

— О н и теперь та-а-кую резку зачать могут ... — Он вздыхает и смотрит на волосатые свои руки в жилах. — Ну, да уж ... все пойдем ! Сказывают вон, землю отнять грозятся, и всех господ порезать. А нас гады голыми руками и м взять, известно ... Будет та-кой обман ! .. Как же нам без головы-то ?

Я не знаю и х , но и я готов итти со всеми.

— Я шкворень возьму... можно, Антипушка? — шепчу я, чувствуя дрожь в животе и слезы в носу и горле.

— Я буду шкворнем?.. А ты что возьмешь?

Антипушка показывает кулак.

— Вот. А то оглоблей.

— А они придут?

— Кто е знает. Ежели успеют присягу поцеловать — может, и обойдется. А не успеют...

Я не понимаю. А присяга где? И что такое «присяга». И зачем ее целовать!

Дворник кричит в воротах:

— В церкву зовут, присягу целовать!

— Ну, Слава Богу... — крестится Антипушка. — Итить Надо в церкву. А тебе не надо... ты еще младенец. Теперь, значит, обойдется. А то бы так закрутил... беда!

А звон все плавает, не засыпает, — звон и страх.

Вот оно, далекое предчувствие далеких страхов. Сбылось Закрутили. Празднуют над кровью...

Роковая повязка упала с глаз — теперь все видно. Круглая правда — катится. Правда не может не катиться. Как хошь верти — все одна. Куда хошь кати — все одна.

Январь, 1935 г.

Севр.

ПЕРСТЕНЬ

...Повеселей бы чего спели, ску-шно! По программе..! Надоели мне программы, граммы, килограммы. «Где ты, мой пуд, чугунный, тяжкий, пузатый, с ручкой — дугой..?» С успехом декламирую, на бис. Этого нет в «Чтеце», нет и в «Живой Струне», — здесь создано. Что это..? А, Глинка: «бурной жизнью утомленный, равнодушно бури жду...»! И жди. Какие тут бури... — жибу-лэ! Да наплевать мне, что «обращают внимание». Ах, как читал «Анчара»! — там. Сивалдаи даже понимали. Все-о понимали! Помню, пробирался я к границе... В городишке М. зацапали меня, к этому ихнему пред-ревкому, тогда такие были звери. Хохол был, что ли. Идеалист: «прикончить всех буржуев — будет счастье всем. Есть и такие, прямолинейные. Узнал, что я артист... — не вырвусь, думал: с месяц не выпускал, щедротами осыпал, бери — что хочешь! Чем взял? Не поверят: «Сакья — Муни», Мережковского, очаровался и... «Анчаром», Кончу «Анчара», а он — «ду-рак... а гарно!» — «дурак»-то про раба, а «гарно» — про неведомого Пушкина. Все переслушал — и выдал пропускной билет, храню: «Дано свободному артисту для вольного хождения по свету», и печать с каракулями. Ах, что бы можно было с таким народом сделать!.. Пя-ткой чует.

Чем расстроен..? Виденья одолели, привиденья. Вчера зашел, на рю Ляфайэт, в лавочку — «Русские вижу». В этих лавочках — замечали? — со-лью пахнет..? — слезами: натекло совсюду. Купил, вот, полюбуйтесь... изумруд — дуплет. А, все теперь фальшиво. Там, в пу-до-вом царстве, тоже не без

того бывало, да... умели и отмыться, каяться. Для чего купил? Да вот, привычка... как Нерон, сквозь изумруд разглядываю мир прекрасный. Не могу вот не скандировать, привык... и взирать сквозь изумруд! Играл Нерона в «Камо грядеши» — сжился, не могу. В Екатеринославе проходу не давали, как играл. Извощики, газетчики, мальчишки... — выйдешь из «Европейской», вся улица кричит: «а, господин Нерон!» Очень понравилось, как я хрипел, с удушьем: у Момзена прочел — от ожиренья страдал Нерон удушьем. Перевоплощался, так и несло Нероном!

А когда-то, на этом вот мизинце, горел зеленым солнцем изумруд. На здешние прикинуть-тысяч двести. Не верите? Теперь и я не верю, а... бы-ло. Сам, у Фаберже, справлялся: пятнадцать тысяч чистоганом, золотых. В Москве: на Светлый День, подарок. Не верите? И я не верю. Сказка.

«Ах, сердце просится, и в даль уносится...» но — кррак, конец. Помните, чернь, бывало, распевала:

Пер-сте-нек... зо-о... ло-о-той,
Та-ли-сман... ты вечно будешь дорогой!

И нет его. О, сладкие мечты, признанья, шелест платья, вздохи, поцелуй, измена!.. В страшные мгновенья, когда уход казался избавленьем от юдоли, от черрной доли... я всматривался в этот изумруд и... — «и верится, и плачется, и так легко, легко!» Где он? Увы, про-жрал. И с ним — всю красоту, что жизнь мне подарила... первую любовь, улыбки, слезы, грезы... и Маргариту. Ну, она звалась... «Ее сестра звалась Татьяна»? Нет, не Татьяна, и не Джульетта, и не Офелия.., а проще,

даже очень проще. Но... номина сунт одиоза. Мол-ча-ние.

Что там — улыбки, слезы, розы! Все повторялось и может повториться. Нет, в том изумруде, в камне-солнце, я потерял неповтори-мое... Здесь — многого не встретить. Женщины? Не только женщины. Да вот, видали ро-зовые яйца, в кабаках, в бистрах? У пьяного прилавка, на мокрой жести, в вазах, розовые яйца? Пьют ординэр, и — на закуску. Забыли — для чего. У нас... Да, пьяница у кабака облупливал, но по-мнил. Пяткой помнил, коли душа пропита. Можно докопаться в пя-тке! Нет, не прикрашиваю, — знаю. А тут...

Помните? Весна, российская весна, разливы, вербы, текут снега.

« Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега »...

И так далее, мутными ручьями... и — в луга! И колокола...

« Тот звон смиряющий всем в душу
просится...

« Во все окошки ласточки кричат — « Христос Воскресе! » Пасха. Гиацинты на столах, розы на куличах, пунцовое и голубое... и глаза! Гла-за какие! И васильки, и незабудки, и синь лугов, и синь небес! Сирень — глаза, сирень — дыханье, движенья — гибкая сирень... и речи плавной колыханье, и в смехе праздничная лень... А-а-а!.. И звон с зари и до зари. И...

« Песнь в душе моей трепещет,
И разливается, и плещет... »

Чье, не помните? И я не помню. « И я, как малое дитя, смеюсь и плачу... не шутя ». Не помните? И я

не помню. Все забыто, убито, вбито, перебито. Мол-ча-ние !

Когда его про-жрал, тот изумруд, тот камень-солнце... — все прожрал. Но, погодите, милый надо знать. Винцо неважное. Ах, пил в Тифлисе... ка-хэ-тинку ! Ка-хэ, ка-хэ, ка-хэ... э-эх-хе-хе ! Как прожрал ? Сперва спросите: друг, расскажи, какая из богинь Олимпа тебе вручила талисман. Сперва поэ-зия, потом уж проза. Высокопарно ? Привычка, душу подымаю на ходули, чтобы не ползла по грязи. Да знаю... мне, бывало, Зажимайлов Мишка, наш режиссер в Ростове на Дону, под Станиславского старался: « Проще тоном, проще, будто ты в бане на полке... Говоришь — « дождь пошел », в окошко, а выходит... будто Александра Македонский на триумфальной колеснице ! » Знаю. И не хочу. Хочу, как Сумароков, величаво: « Теки, мой князь, во храм... яви себя в народе !» А я... пойду отдам... последний долг природе ! » Привычка, с ибсенского Брандта: к небесам ! Ползать очертело...

Ах, играл я « Брандта » ! Где ? Везде. И... в Москве, понятно. Сам Ленский слушал — плакал. Качалов ? Широкая душа, вместила... все, до... лобзанья пяток »... — есть тра-ги-комедия такая !.. От-ставить, к чорту « качалку » эту ! отставить ! Играл я Брандта. В Питер звали, сам Аполлонский... — отклонил. Там Пи-тер, а со мной — Россия. До славы я не жаден. Тут начинается...

Великий пост, Москва, ангажементы. Стою в « Лоскутной ». К Гришину, в Саратов на мазу. Брожу... вдоль улиц шумных, набираюсь столичных впечатлений. В кремле, говею... всегда говел. Карточку несут ! Читаю: « Прогулов » ! Знаете — Прогу-

лов, миллионер? Он самый, ситчик-то его известный. В Нижнем на ярморке встречались, уважал. Хорошо, просить. Входит, чуть мешковат, но джентельменом... розовый такой, приятный. Ладошки так вот, умывает. — «Помните-?» — «Помню-с. Чем могу служить?» О-казывается: свой театр, домашний, а для «фэнфлер», для избраннейших, так сказать, на полтораста кресел... сплошь э-лита! Кресло — сто целкачей, на раненых. Война была. Просит, умоляет даже: «Брандта! перешибить Качалова!» Не нравился ему Качалов, истеричен. Потом узнал я: что-то с супругой вышло, супруга закапризила... хотела в студию, да... стык случился. Тысяча за выход. Отклонил — «за выход»: жертвую! Даже попятился и руки поднял: «Шиллер вы, говорит, так благородно!» Причем тут Шиллер? Просто — для раненых я, русский человек.

Игра-ал..! — молчание. То есть, не в смысле... а... подробности в афишах. Не буря, а тай-фун аплодисментов, стон, ломали кресла. Ну, новые знакомства, письма, рандэ-ву, обеды, портреты... — разоренье. Цветов, венков, букетов..! Лиру поднесли из роз и лилий, — в автомобиль не влезла. Ну, в лоск замотан. В Саратов надо, ангажемент, билет в кармане, — не пускают. Вдруг — карточка. Серебряная, монограммы, Просить!

Входит дама. Не дама, а... симфо-ния, поэма. «Остановись, мгновенье! ты прекрасно». Больше ничего. Молчание.

Она. Сама, миллионерша. Прогулова. Таинственная маска, ребус, знак вопроса. «Да», «кажется», — и только. Ну, Галатея, сфинкс, манящий омут, «таящая в себе свой мир бездонный». Есть такие: в себя глядятся, вот. И королева, и — сильфида. Ве-

личие и нежность, гордость, простота, и... тайна. Шатэнка, синие глаза, темнеют в страсти. Голос — баккара и серебро. Движенья... — Грация, Пракситель. Ну, словом, — « все в ней гармония, все диво... ». Сама богиня.

Сама богиня, умоляет. Один спектакль, последний! Склоняюсь, в трепете. Она играет Саломею, я — Иоанна. В пользу лазаретов. Но, слушайте: места по... три-ста целкачей! Ко-шмар?! На здешние прикинуть — тысячки четыре за местишко, дешевка... для сверх-элиты! Потрясен, раздавлен, покорен.

Что бы-ло! Сбор битковой. Бриллианты... — все померкло, такое ослепленье. Играли-а... — сам Уайльд бы умер от удара. Костюм...! — Невиданная обнаженность, ультра. Ахнул зал, Суфлер задохся, онемел, как рыба, — без суфлера! Страстность... — затлелись ткани. Больше ничего, молчание. Пляса-ла! Нет, не могу... нет слов. Мужчины... как быки, ревели. Дамы... как полагается, шипели. Бывают перлы!..

« Навозну кучу разгребая, петух нашел жемчужное зерно ». Да, я нашел з е р н о, хоть я и не петух.

Дальше...? Ну, дальше все понятно. « Она меня за муки полюбила, а я ее... за это вот з е р н о.

Потом... открылось небо. Бурная весна, текут снега... « Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят... » В Петровском парке, рвем первые подснежники, синейшие, на бурых ножках. Засыпаны лужайки: все — глаза, е я, синейшие. Целую, в мыслях. Молюсь. На « Воробьевке » смотрим на Москву. Грачи в березах, золото заката, лесные воды, тишина-а... и вальдшнепы храпят, от страсти... и — Го-споди, помилуй! — пе-рвый поцелуй, в « под-

снежники » мои, в синейшие. Дрогнул небосвод, упали звезды... и — пропал Саратов! Натеков этих не было тогда, мешков для слез зажатых, невыплаканных в жизни. Все было юно, свеже, светло, сильно... « какой простор! » — помните Репина? Истина, Добро и Красота... какая вера! Кто мог бы думать, что впереди...? Неслись на « птице-тройке »...

А, « Вечерний звон... вечрний звон... » — тоскливо. Повеселей бы что-нибудь пустили. Да, программа...

И, тогда, тоже — вечерний звон. с Москвы: была Страстная. Березы в почках и колбасках, вербы — в вербешках золотистых... скворцы, грачи, дрозды... Нет, кукушки еще не было, не прилетела. Жаворонки звенели в высоте, ласточки свистели... — ну, « плен, постыдный пле-эн... и гибель всех моих »... проектов. В Саратов не попал, сорвал сезон.

Угарная неделя, одержимость... я — не я. И вижу... что же?! Облако нашло. « Синейшие »... тревожны, грустны. Не пойму... В чем дело? Нет ответа. Взгляд — далекий, рассеянный... — не постигаю!

Вот и Пасха. Умоляю, у ног прекрасной: в Кремле, в заутреню! Ужас на лице, в глазах: ни-как! Муж, понятно: вместе, Светлый День. Пошел один, — куда деваться?! На народе — легче.

Крестный ход, огни, ракеты, горит Иван — Великий, все ликуют... пылает сердце — Кремль, Россия. А я — как « демон мрачный и мятежный », взираю, только. Все для меня погасло, нет огней. И вдруг... о, чудо! — они, « подснежники » мои, синейшие! Я шатнулся: виденье? ангел?!

Миг счастья, только миг. В звоне — гуле, взгля-

нули на меня дале-ким взглядом уходящим... и подарили мне последний ноцелуй, пасхальный. Шепнула: « прощай, забудь ». Миг один, — пропала, затерялась. А у меня в руке осталось... красное яичко, простое, деревянное. Искал в толпе — напрасно. Кругом — восторги, ликованье, братство... « Христос Воскресе ! » — « Воистину Воскресе ! » ... А я — как умер. Нет, пропала. Минутку улучила, от своих. Но это — « прощай, забудь » .. ? — что значит это ? ! .. Какая-то мистерия... фантом ? ! « О, романтизм ! о, сумасбродная головка ! .. » — шептал я в небо, где золотисто реяли ракеты, плясали звоны. И разрывалось сердце.

Но... жизнь зовет. Уныло возвращаюсь в номер. Держу яичко... Оно дрожит, и блекнет, за слезами. « Прощай, забудь ! » О, сумасбродная ! .. А в голове... — подите вот, привычка — картины, сцены: как бы я сыграл ! И в зеркале увидел... трагическую маску ! И мысль: зачем такое, деревянное, простое ? Потряс... — пустое. Что за... ? ! Открываю — вата ! целый пук, как пена, ле-зет, — натуго набито. Что за... ? ! Вытряхиваю вату... и... блеск. Стрельнуло ! Не-эт, какой там пистолет.. ! Перо Жар-Птицы, Феникс, ра-дий ! пожар ! ! В комнату мою упало солнце, ка-мень — солнце ! Голконда — изумруд, апо-фе-оз. С лесной орех, волше-бный изумруд. Клондайк ! Ну, думаю... а, сумасбродная головка, игра какая ! Заинтриговала. « Прощай, забудь » ... — о, ловкая игра !

Утро, спешу поздравить. В цветочный магазин, охапку ландышей и гиацинтов, в серебряной рогожке, натюрель. Лечу на лихаче... ворота, львы на воротах и... каша — рысаки, каресты, всякие ройльс —

ройсы... Лакеи, кучера, снимают шапки. Звонюсь... Милашка — Груша, в бантиках, как фея, ямочки на щечках: « ах! не принимают-с... в Крым уехали-с, с утра, в Алупки-с... на дачу-с ». Отшатнулся. — « Ка-ак?!.. А кареты эти, лакеи..?!» — « А это-с... мамашу поздравляют, Матрену Савишну ». Мамаши мне не надо. Повернул. А эти, краснорожие, вдогонку: « вышло дышло! » Ну, хамы.

Возвращаюсь — бац! — письмо, с посыльным в красной шапке. Две строчки, только: « все забудьте... я мучаюсь... так надо... не старайтесь меня увидеть, это бесполезно ». Без подписи. Ну подчинился. Раскаяние? Все возможно. Такие дни, говела, каялась... — возможно. Бывает, знаю. Сантиментальна, романтична, как... кажется, Кларисса, у Шекспира где-то. Ну, жертвоприношение, самоанализ, скепсис, смиренномудрие. А, может, испугалась мужа, все возможно. Участь Дездемоны не сладка. Не стал настаивать. Послал на карточке — « склоняюсь », все. Вышло вровень. Запер сердце и ключ забросил в море... жизни. Больше не встречались.

Но... чудо: взгляну на изумруд — и... « все воскреснет вновь живое — весна и юность, и любовь... » Приценился у Фаберже: может быть, думаю, дуплет? Не в деньгах дело, а... проверить чувство. Говорят: « у нас и куплен, вот-с, по книгам... пятнадцать тысяч триста ». Вот так гоно-раар! вот это чу-вство!..

В Саратове читаю в « Слове »: « Супруга коммерции советника г-жа Х. пожертвовала двести тысяч на сирот ». Жертва? жажда очищенья? Возможно. Вскоре опять читаю: « сто тысяч на приют для девушек », Жажда искупленья? Все возможно. Преклонился. А

я, беспутный? Я ждал: вот, Светлый День настанет. И он настал... в голоде, в аду, во мраке.

На юге, в страшный год... Ходил в опорках, ел помои... но, хранил я перстень, как святыню. Да, еще до этого, в Баку, читаю в «Слове»: «умерла от тифа... на фронте заразилась». Взглянул на перстень — и заплакал. Искупила, очистилась. А я?.. Мой день пришел. На юге, в страшный год, терзался. Все сгорело: Россия, прошлое, искусство... На двух ногах — костяк. И... изумруд на пальце. И в нем — ду-ша. Прожрал я душу..? Нет, осталась. Греку, за мешок муки... клянусь! Плут божился, что простой дуплет, дает за золото. К Фабержэ тащить мерзавца? «Я дал ему злато и проклял его»! Кругом, от голода валились. Собрал я ребятишек — жрите душу! Ух, как жрали... мои воспоминанья! Жрал и я. И легче стало. Будто очищался, отмывался... ото все-го. Воспоминанья сожраны, я — новый: ни «жизни мышьей беготни», ни... лжи. Порой, разроешь душу, как сейчас, — и больно. Вот эти песни наши... разрывают. А вспомнишь, как ту муку сосали, чавкали... — а-а, пригодился перстень, грешный перстень мой — не мой! Лучшего не вспомню...

Апрель, 1932-35.

Париж.

ГЛАС В НОЩИ

Рассказ помещика

ДО ТОГО, я очень любил, как начнут про разное там, « потустороннее », а сам посмеивался. Самые верные люди сообщали о таинственном, что случилось с ними, и при всех ухищрениях трезвого ума никак нельзя было объяснить те случаи естественной причиной, но все таки оставалась некая для ума лазейка: да, пока необъяснимо, но со временем наука все это объяснит, и так далее. Ну, если бы полвека тому сказали, что вот Петр Иваныч чихает в своей « Богдановке », и в ту ж секунду услышат его во всех пунктах земного шара ... ну, кто бы мог поверить ? А теперь проще чего нельзя, и даже надоело слушать про пудру-империал, из за тысяч верст. Так вот, я всегда находил лазейку, чтобы укрыться от этого « потустороннего », и даже чувствовал оскорбление моему светлому уму и естеству, тем более, что по образованию я естественник. Но с того случая в овраге приемлю радостно, и одного только понять не могу, почему такое благоволение — и не по адресу ? избранники-то не очень достойные попались. Впрочем, т а м бухгалтерия особая.

А случилось со мной вот что.

Помните, господа, по нашему уезду Григория Афанасьевича Спирько, или, как его прозывали Спирток. Человек отчаянный, промотал все имения, — из земских начальников Столыпин его убрал, — остряк и великий циник. О себе не распространяюсь, но... во святые не попаду, наверное. Во всем грешен, а самое слабое во мне — великий чревоугодник-эстет.

Какие обеды закатывал, бывало. И фамилия наша знаменитая: Пра-едалов. Не «про», а «пра»: потомственное закрепление, как « пра-щур ». И вот, этот самый Спирток и аз грешный, в один прекрасный день, или, вернее, ночь, испытали душевное сотрясение. Было это ровно четверть века тому назад, до войны. Оба сравнительно еще молодые, с видом на будущее. У Спиртока назревала умирающая тетка с домами в Саратове и большим имением на Волге. Я собирался жениться на милой девушке с состоянием и всю ту зиму провел в Москве. Свадьба наша была назначена на красной горке, и в феврале, помню, приехал я в свое « Прибытково », в С . . . губернии, оформить дело с банком и привести дом в порядок. Все наладил и собирался завтра в Москву. И нанесла нелегкая Спиртока. Приехал денег перехватить до « тетки ». Денег я не дал, угостил завтраком, сыграли с ним на биллиарде, и пришло мне с чего-то в голову . . . от гостя хотел избавиться ? — « а не махнуть ли к Лихотиным, в « Копылевку » ? А они всегда к великому посту приезжали из С . . . к себе в деревню, оздоровиться. Чудесный у них повар, отменная всегда рыба, свои промысла на Каспии, заветный погреб, запасы бургонских вин, от какого то обедневшего маркиза . . . Ну, Спирток — с моим удовольствием, размечтался. И я о лихотинской кулебяеке вспомнил, засосало под ложечкой, — айда. Хотел протелефонировать, а телефон молчит, столбы вчера бурей повалило. Ладно, на голову упадем — еще лучше, экстренные обеды иной раз и званые перекрывают. Заметьте: низменный, так сказать, мотив поездки, — пожрать.

В легких саночках, парой. До « Копылевки » пятнадцать верст, рядышком совсем. Погода приятная, с

просветцем, после вчерашней метели прихватило, ветерок с востока, степной, кусается. Спирток был налегке, приехал на земских, в полудохе, в холостых ботиках, — ближайшие мы соседи. Я надел поддевку на барашке, тепло мне показалось, не забрал даже для ног тулупа, — а всегда, бывало, клали, вот подите, — совсем вышло по-городскому, валенок даже не надел, — час езды, дорога скатертью. За кучера взял Власку-кучеренка, совсем мальчишку. И о нем не подумалось, что в вытертом полушубке только. Стряпуха, его мать, крикнула ему, помню: « Власка, оделся бы, дурачок, потеплей, папенькин азям надел бы ». Но Власка отмахнулся: « ну, далеко ли ... путаться мне в нем ! » Выехали часу в четвертом. Прямая дорога, на село Вздвиженки, по-шел. Яблочными садами, в отлогий спуск. В садах просвечивало солнцем, к закату уж. Спустились, стали на взлобок подниматься, и тут, представьте себе, что видим. Оттуда, из-за взлобка, навстречу ... зайцы ! целая стая, штук пятнадцать ... невидано. Мчат под изволок, к нам, летят через головы, будто за ними гонят. Что такое ? ! Спирток ахнул, — « эх, ружьеца-то нет .. ! » Сиганули, чуть не под ноги лошадям. И что то в ихнем гоне показалось мне жуткое, зловещее ... что-то их пугануло где то. А надо вам сказать, что за тем взлобком у меня скирды были у риг, зайцы к ним стаились, под вечер, покормиться. И что то их всполошило там. Что такое ? .. Власка и говорит: « ах, барин ... зайцы то нам как нехорошо перестегнули, путя не будет ». Набрался примет дурацких. Спирток ему стишок про зайца пропел, не очень скромный. И вдруг, стемнело, как сумерки. Вытянулись на взлобок — и ахнули. Вон чего зайцы всполошились: бу-

ран. Прямо стеной туча, да ка-ка-я..! И так дохнуло... как в грудь колуном всадило. За садами, за взлобком то, нам не видно было, а тут сразу и... представление, как в театре. И прямо в лицо, сечет. Померкло, заволокло... одним словом — «буря мглою небо кроет»... помните, у Толстого парень из Пульсена-христоматии. Самое то. Поземка пошла, побежали белые вьюнки-юрки, как пуганые зайцы... завертело, завыло, и в бок, и сверху, и... свету божьего не видать. Власка опять: «ба-рин... назад, может, лучше... юра какая взялась... вон они, зайцы то!..» До Вздвиженок пять верст, прямая дорога, — шпарь! Такое легкомыслие. А я знавал бураны наши степные, но тут, прямо, какое то непонятное легкомыслие. И Спирток, руки потирает, крякает: вот, сейчас тряханем под кулебячку, согреемся, с девицами потанцуем, А тут своя пляска пошла, так хватило, как иглами по бокам, насквозь. Степные бураны наши и новый тулуп пронижут, а на нас будто кисейка только. Спирток уж плясать начал, в холостых ботиках. И доха-то у него по швам поролась. — «А не вернуться ли», — говорит, — «что то меня цыганским потом прохватывать начало...» Запросишься. — «Ворочай, Власка», — говорю, — Бог с ней и с кулебякой. Тот поворотил и... — «да где ж дорога-то?: — спрашивает. Нет дороги. За какие-нибудь двадцать минут попали мы в ад кромешный, в живую тьму. Как в театре: повернул кто то ручку, трык!.. — кончилось освещение, тьма и тьма. Ночь — и грозящая музыка бурана. Ну, будто сон... Только-только садами ехали, солнышко золотилось в сучьях, вот-вот весенняя музыка начнется... — а тут..! куда то движемся, в пустоту. Промоины, овражки, по

тряске слышно. Думаю — дубовый косячок найти, оттуда можно определиться, « Прибытково » мое в трех верстах, под изволок, лошади бы учуяли... — нет никакого дубнячка-кустика. Соображаю: промоины, трясет нас... это мы в лево забираем, на Касогово — вправо надо. Велел правей. Власка мой тоже согласился: верно, на Касогово забрали. По ветру определиться? А ветер со всех концов, самая разъехидная крутень, вертит, несет, сечет, и мелко-мелко, едкой снеговой пылью, секущей, острой. И по-шло ... будто совками в рыло, горстями, как из кулей... в груди как ножами роет, кончился воздух, дышать нечем, одна пустота ломучая. Ужасное это ощущение, когда кровь разламывает все ткани, кости, — кольями грудь ломает. Стало мне жутковато: в глазах зайцы, и такое, знаете, ми-стическое чувство, будто это не просто стихия разыгралась, а что то живое, злое, сбивающее, гонящее. И как бы мне приоткрылся « таинственный лик вещей »: кто-то за ними кроется.

Сколько мы так вертелись... утерялся смысл времени. Минуты ли, часы ли, — будто выехали давно-давно. Вынимаю часы — не вижу. И пальцы закалели. Слышу — Власка мой что то хлюпает, уши все потирает рукавицей, — « Ба-рин, ми-ленький... » — никогда так не говорил, — « замерзаю, варежки не взял, голые рукавицы ... и снутри не греет, тюрьки только похлебал с хлебушком ». Парнишка — сразу и заслабел. Втащил я его в санки, сам сел править. А куда — не знаю. И догадало меня опять на часы взглянуть: как нибудь спичку чиркну, увижу время. Снял замшевую теплую перчатку, полез за спичками... хвать! — обронил перчатку. Где найти, в миг замело сугробом. Не усидишь: стегает, пригибает.

Засунул руку, повернулся лицом к саням. А там Спирток ботиками выплясывает, ругает Власку: все сено ногами затолок. А где там сено, — все снегом завалило. Насунул я Власкины рукавицы, а они как кора, смерзлись, тепла не держат. Руки онемели, вожжи у меня выпали, и думаю, — пропадем, вот она, гибель то, совсем просто. И оттого, что казалось простым и непременным, — стало жутко. Говорю Спиртоку — а ведь пропадем мы! А он, циник, еще острит: «скверно, без подготовки приходится... а главное до кулебячки-то не доедем». И понял я, что — «без подготовки», прямо отсюда — туда. И тут, впервые в жизни, подумалось: «как же я так и не собрался все обдумать, столько еще надо разрешить, тех вопросов... о Боге, о бытии, о — будущем. Есть — или ничего? От этого и жутко стало, что «без подготовки», сразу, как на внезапном экзамене, и будет присутствовать «сам министр». И вдруг — кинуло к лошадям! Помню, ткнулся в мокрую шерсть и полетел куда-то — ляпп! — как в приятный пух. Мелькнуло: — «вот оно, самое то..?» А совсем нестрашно. И тут же понял, что это еще не то, а в овраг свалились, в пуховый снег. И лошади ничего, удачно. Спирток зовет: «жив, ямщик удалой..? чорт тебя побери... глаз я выколол, с твоей правкой!.. приехали к кулебяке, лопай!» Циник. Сползлись, сидим, ничего не видим. А Спирток сучком веку разорвал, в куст попал. Говорю — снежком примачивай. — «Да что снежком, теперь бы чинной или полынной...» И так вышло у него аппетитно — под всеми ложечками засосало. Но что же делать? Власка совсем заслаб, стонет только: «ба-рин... ми-ленький... голубчик... замерза-ю... ах, мамынька... папань-

кин азям навязывала...» Дул я ему в загривок: первое средство в сознание ввести, встряхнуть. Сразу подействовало: « я, говорит, ничего-с ». Говорю — « в струне надо быть, выбираться, а не разводить панихиду ». А куда выбираться тут!.. И лошади сбились к нам, одна меня мордой в темя стукнула — в сознание ввела. Велел я Власке в снег закапываться поглубже. А Спирток уж сам себе нору роет, и острит, с... с... — « выроем себе по могилке, а метель отпоет, что полагается ». Стали мы зарываться в снег, ничего уж не ожидая, кроме... неведомого. Власка рядом со мной улегся, охватил меня за ногу, прижался. — « Ба-рин... миленький... боюсь помирать... не хотца...» А он знал, как легко замерзнуть: у него дядя замерз совсем около овина, из « монопольки » шел, чуть выпивши, в буран попал. И стал он молитвы шептать, про Богородицу что то повторял. Тут и я попробовал вспомнить, как молятся. И, к стыду моему, не вспомнил. До половины только « Богородицу » знал, — забыл. Стал « Отче наш » вспоминать — до « хлеба насущного » дошептал, а дальше — как отшибло. А из Овидия отлично помнил, мог « Фаэтон » прочесть. И тут мы затихли... и затихли бы на веки веков, если бы не... Конечно, замерзли бы: выяснилось после, — под утро градусник упал до 23. Циклоном налетело. Это в степях бывает.

Как спаслись? Вот тут то самое главное и есть — как. И почему к нам такое благоволение проявилось? Может быть ради Власки, а может быть ради простецкой веры нашего попика Семена. А может быть для того, чтобы я рассказал вам здесь, для укрепления? Все усчитано там, прошлое не проходит там, времени нет там... все в одном миге

там... все живет и есть, и нынешнее наше там уже и тогда было, и учтено, и вот указано было, чтобы я сам познал и рассказал вам в трудные наши дни, для укрепления. И — для нынешней моей веры, в отпущение.

Столько мы были в забытьи — не знаю. Время тогда пропало. Часы, пожалуй. Помню, что снилось мне. Барахтался я в великой горе, и гора была это не простая, а все восковые свечки, великие вороха свечек, холодных, белых, как чистый мрамор. Лезу, а подо мной свечки оползают, цапаюсь за них, а они ворохами на меня... и зайцы по ним, за ними, из за бугра свечного глядят на меня стеклянными глазами, прижавши уши... и что-то за ними есть, куда я хочу всползти. Столько я перемучился на этих катучих свечках, столько в них утопал, — и вдруг, прямо над головою, — бо-оммм!.. — церковный колокол, благовест. Пропали мои свечки-горы, вскинул я головой — метет! И опять, будто вверху где то колокольня, — бо-омм... — совсем-то близко. И слышу, Власка: «ба-рин... миленький... звонят нам!» Так и сказал не своим голосом, а жалким, детским: нам. И опять — бо-оммм..! — поглуше. Нет, не во сне, — звонят. И чувствую — нам звонят. Такое ощущение: нам. Спирток тоже отозвался: «слышишь..?» И все острит: «и услыша в поле колокола звон...» — И вдруг, заорал дико: «Вздвиженки это наши, наш колокол, у меня слух тонкий! айда, на звон!» И откуда у нас сила нашлась, — во тьме кромешной, лошадей выволокли на край оврага, метели уж и не чувствуем... — только слышим: бо-омм... бо-оммм... — ровными промежутками, поглуше и порезче, словно округ нас ходит. Власка кричит:

« близко совсем, теперь я *наш* овраг знаю», — *наш* уж стал! — «по звону добегу!»

Словом, в каких нибудь пять минут, доплелись мы по звону за лошадьми до церкви нашего села Вздвиженки. Она на акраине стояла. И видим — ничего не видим, огонечек только. Это было батюшкино окошко, отца Семена. Вдовый старик, уж на покое жил. И странное дело: ночь глухая, а у него свет в окошко. И что же оказалось? Он — *уже поджидал*! Не *предполагал*, что будем, а *был уверен*, что будем, даже самовар поставил!

Подобрались мы к окошку, постучались. А он глядит из за геранек, седая бородка, лысинка. Машет нам, и видно, как рот свой беззубый разевает, за рамами не слышно. Машет на дверь. Вошли — и слышим: «а я уж давно вас жду, самоварчик для вас согрел». Ну, будто во сне все это, как представление: все во мне перепуталось, гора из свечек, зайцы, буран, и попик с самоварчиком, машет нам... — и ему *все* известно... И тут я почувствовал неопровержимо, всей глубиной душевной, что нет никаких этих *там* и *здесь*, а *все* — едино все связано, *все в Одном*.

Ввалились, и видим: на часиках — без четверти 3. На столе скатертка, хлеб пшеничный, бу-ты-лочка... «Кагору», церковного, — какая предусмотрительность! — поднос со стаканами... и калечная старушенция, бессонная, тащит старенький самоварчик, из которого такими веселыми клубами пар, и из дырки на крышке хлюпает. Чудесная эта музыка для замерзшего путника, это всхлипыванье бурлящего самоварчика.

И стал нам попик Семен рассказывать... сказку-быль.

Лег он, рано, в восьмом часу. С бурана размо-

рило. И когда засыпал — подумал: « не дай Бог, ежели кого захватит такой метелью » . . . И еще подумал: « надо бы звонить, мужикам сказать . . . Василий-сторож стар, трудно ему в такую бурю ». И заснул. И вот, слышит во сне, « глас в нощи »: « батюшка Симеон, велел бы ты звонить, путники с дороги сбились». И тут проснулся попик. Послушал — шумит метель, не дай Бог. Обуваться надо, одеваться, в метель итти к сторожке, будить Василия . . . Тут его повалило, и он заснул. И слышит опять голос, настойчивый: « что же ты не звонишь ? путники с пути сбились, замерзают ! иди, вели сторожу, звонил чтобы ! . . » Проснулся попик, подумал: « это мысли мои шумят, вчера я думал . . . а надо бы звонить » . . . И опять, будто в соблазн ему: « кто в такую погоду ездит, только народ взбулгачишь . . . не охота с постели подыматься, Василия будить надо, серчать будет . . . И так разморило сном, что перекрестился попик, прочитал молитву о плавающих и путешествующих и пригрелся, уснул опять. И вот, в третий раз, « глас в нощи », строгий-строгий: « ты что же, поп ? путники замерзают . . . звони сейчас же ! » Тут попик Семен — с постели, валенки надел, шубенку накинул, разбудил старушку калечную, наказал ставить самовар, а сам побежал сторожа будить — звонить. Старушка спрашивает, чего ты, батюшка, ни свет ни заря чаю запросил, а попик ей: « гости сейчас будут, чайком отогреть надо ! » И такая в нем вера возгорелась, что поставил на окошко восковую свечку и отворил ставню. И поджидал, молясь, у окна. И путники добрели, — « по гласу в нощи », во славу Господа.

Париж
Март, 1937.

СВЕТ ВЕЧНЫЙ

Рассказ землемера

Ивану Александровичу
Ильину

ПОДСПУДНОСТЬЮ душевной знаю: вдруг постиг, прозрел.

Там я был землемером. На землемера у нас смотрели, как на зубного техника или телеграфиста. Мой кругозор не так уж узок. Я окончил институт, на инженера. Познал и Лобачевского, знаком и с логикой, — есть навык думать. С цепью и астролябией, в командировках, исколесил Россию. Всегда с народом. В понятые к нам не выбирают « желтоглазых ». С отборными работал, опыт есть. Все это пригодилось. Осел губернским землемером в В. До тех двух « встреч » о « выводах » не думал. А кто их делал ? Слишком мы были безоглядны. « Аршином общим не измерить », — какие еще выводы ! Оказалось . . ! От « октября » как и большинство, я впал в отчаянье и думал — все погибло ! И вот, та знаменательная встреча, последняя . . . Прозрел. И увидал не плоскость для обмера, а глубину . . . про-странство. Россия . . . — « геометрия в пространстве ». Всмотрелся, и . . . —

Первая « встреча » — как бы пролог. Случилось это года за четыре до войны.

В марте, в распутицу, пришлось мне выехать в уезд по экстренному делу, для сверки планов. Требовал Сенат. С неделю провозился в земстве, распутал « неувязку » спешил к семье. А по дороге завернул

в одно поместье — получил должок за обмежевку, пятьсот рублей, Получил, и парой земских, гусем, пустился к станции. Только что провели узкоколейку, и поезда ходили редко: опоздал — жди сутки. Оставалось времени в обрез, и я махнул проселком, выгрывал версты четыре. И дорога, думалось, не так разбита. Мой ямщик был пришлый новичок, я задремал и прозевал, где надо поворачивать на тракт. Пришлось крутиться, и вымахнули мы на тракт — на старый только, давно забытый. И оказались верст за пять дальше от нужного нам пункта. Вижу, что опоздал на поезд. А уж смеркалось. Попались мужики, из леса. Смеются: « а еще землемер! Ночевать в лесу, не миновать . . . а то валяй к « Упору », он пригреет! » Ямщик не знает, что за « Упор ». Мужики смеются: « узнаешь, жарь прямо — и упрешься. . . на всем тракту, один верст на пятнадцать. Все перебрались на новый, один он тут бобылит, поджидает вас ».

И тут я вспомнил. Про этот двор я слышал. Про Упорова ходили слухи. Мужик был поперечный и закрытый. Вдруг занялся лесом, завел с десяток лошадей. Но главное, что вызывало толки, — почему остался на « старинке », где проезжали редко. Говорили — печатает фальшивки, с конокрадами мухлюет, — лошадей-то он вдруг завел. Места глухие, лес на сотню верст. С первой смуты стало особенно неладно: почту ограбили, помещицу убили, года два орудовала шайка беглого Капцова. Говорили, что « и один справляется: четверо сынов, в него, все стоеросы, нелюдимы, — « живая шайка ». Но было и другое: ревнитель к церкви! Евангелие пожертвовал, большое, в серебряном окладе, паникадило справил, образ соорудил Михал-Архангелу, — Михайлой его звали, — « ста-

лоть, грехи замаливает ». Было и еще, почему я вспомнил про « Упора »: « упоровское дело ». Упоров подбил односельчан на тяжбу с помещиками, из-за « отрезков », десятин пять-шесть, где оказалась залежь глины, не хуже « гжельской ». Предлагал взбодрить завод посудный. Дело тянулось долго. Упоров просудил тысячи полторы своих — и проиграл. Мужики валили на « Упора »: стакнулся с господами, с того и деньги. Еще до назначения меня губернским землемером много крови испортило чертежной нашей это « упоровское дело ». После я разобрался в экспертизе, нашел ошибку на генеральном плане, но было поздно: Сенат решил не в пользу мужиков. И вот, судьба меня столкнула с этим « темным ».

Стемнело, когда мы добрались до постоялого двора, у леса. Ни огонька, ворота на запоре. Стучим. Голос со двора, крутой: « кто ? » Просим, не даст ли лошадей до пункта, а пока чайку напьемся. Я передумал: взять лошадей до пункта, а там, на земских, в В. — выгадаю полсуток, чем ждать до завтрашнего вечера на станции. — « Не дам, весь день дрова возили ». Вдвое предлагал, — « не дам, животину жаль чай мне ». Самовар можно. Въехали.

Мужик серьезный, богатырь, глаза воловьи, с голубинкой. Напомнил Александра III — русой бородой, залысиной, всем обликом, спокойствием солидным. Проседь в бороде. В доме чистота, образа с подзором, лампадка у Распятия. Двор просторный, забит санями. Парни — все рослые, здоровые все молодцы, заняты уборкой лошадей. Никто ни слова, будто в монастыре. Порядок, строгость, — хозяйственность. Хозяйка молчаливая, высокая, подстать Упору, в черном платке, — старообрядкой, властная такая.

Я подумал: « Марфа-Посадница ». Вносит самовар, все молча. Прошу яишенку-глазунью, — нет яичек, куры недавно занеслись, к Светлому Дню самим. Огурчиков, капустки, — можно. А я проголодался. Ни сметаны, ни творогу: самим. Мой возница чай дует с хлебушком, огурчика дала хозяйка. Ну, своим запасом обойдемся.

А я вез к празднику пять фунтов колбасы, « салями», в М. купил: славилось то место колбасой. Старуха-немка, колбасница, — как она в М. попала ! — приготовляла замечательную колбасу, на всю губернию гремела. Что она припускала . . . ну, необычайно была душистая, коньячный пряник ! Бывало за один присест фунт съешь. Вынул я « салями » — и приступил. Колбасища была аршинная, в серебряной бумажке. Сразу — дух такой, заманный, с перцом . . . — завод колбасный ! Ямщик мой, слышу, носом так, от раздражения. Зубровки выпил, закусываю с аппетитом . . . — хозяин входит, увидал. — « Что ж ты это, барин, колбасу ешь, да еще под образами . . . так негоже ». Вот, неожиданность, на постоялом ! Почему негоже ? — « Нонче те и в трактире не подадут на людях, разве уж самые корыстолюбцы. Горница тут у нас, с постоем я покончил, знакомые когда заедут — принимаем, либо вот в неурочь, как ты ». И строго так, с укором. Вспомнил тут я, что пост, Страстная. В шутку обернул: « в пути — мол — разрешается ». — « Нонче и в пути не разрешается безпутье . . . какой день нонче ? страшной ! Великий Пяток, Христа распяли ! иль ты не православный, Христа не знаешь ? ! » Пони-ма-ете . . ! Стало мне перед ним неловко. Говорю: « не то грех, что в уста, а что из уст ». А он, с нажимом: « что в уста, то и из устов ». Муд-

рец. — « С того и все у нас, с поблажки, правилов не держим. С того и смута у нас была. Народ от страха отучают, от порядка, — пути не будет. У нас доктор земский, дурак, говорит... слыхали! — никакого Бога нету! Вот, в гласные члены буду выбираться, сор то повыметем, наведем порядки. Есть у нас мужики. Ты вот землемер... какая же у вас там правда? У нас от верного планту барину шесть десятин посудной глины оттягали! Не оставлю дела, до царя дойду. Сенат-рассенат ихний — закон ломает! Ай и правду сгноили всю? » Осерчал и вышел.

Взяло меня раздумье. Кто он? правильный или плутяга благочестием прикрылся? Слухи-то. И вот что еще приметил. Как говорил с хозяином, молодцы его все заходили. Зайдет один, глянет на меня быком таким, — будто ведро берет. Другой заглянет — узду повесит. Все побывали, поглядели. И все, как на подбор, гвардейцы. Будто... разглядывают, глазами по пожиткам шарят. Тревожное меня кольнуло. Слухи-то...

Ямщик к лошадям ходил. Приходит, озабоченный, и шепотком мне: « Можно бы и ехать, да оглобля, гляжу, сломалась, а все жива была... разве об стояк воротный? дорогой, правда, что скрипела. Надо оглоблю у хозяина просить ». Толкнуло меня — ехать. Проси оглоблю! Приходит: « хозяин говорит — заночуйте лучше, с огнем не пойду в сарай выбирать, сыны легли, хотите — свяжите свою оглоблю, уезжайте с Богом, не жалко нам ». Вот, думаю попали в монастырь.

А еще такая вышла штука. И как раз, когда входили парни. Пятьсот рублей были у меня в боковом кармане, в тужурке, пачкой, сотняжками, — с

деньгами я просто обращался. Забыл, вытаскиваю «Русское Слово» из кармана, пачка и выскочи на стол, а со стола под стол. Хозяин поднял, и говорит: «какими деньгами-то швыряешься... ай легкия за планты дарят?» — с ухмылочкой. — «Не боишься с такими... нашими лесами ездить. И лошадей отымут и... А ты ночью еще хотел, лошадей требовал. Вон и гололедь пошла».

Постелила хозяйка мне на лавке, ямщика где то в постоялке положили. Лег, — не могу уснуть, полезли мысли. А еще мне ямщик, как про оглоблю говорил, — шепнул: «поберегитесь, барин... что то наши хозяева мне не ндравятся, волками смотрят... и парни давече чего-то все шептались, приметил я». Мысли и завозились: и оглобля, и... главное — деньги показал! Мужики-то смеялись — «он пригре-ет!» Слухи слухами, а что-то за ними есть. С праведником грех бывает, а тут за деньги, ох, как держатся, видно по всему. Погляжу на лампадку, на Распятие... — нет, быть не может. Петух пропел — не сплю. Лошадь переступит — так и вздрогну. Прислушиваюсь... — глухота-а... только крупой дерет, в оконце. Лес, жилья невидно. Вынул из шубы браунинг, сбоку положил. Всегда с 905-го возил в дорогу. Чуть забылся — вздрогнул, как пронзило: скрипнуло дверью, из сеней. Вскипело, — и мороз по коже, упало сердце. И вижу, при лампадке, — белая тень... высокий... вытянул голову в покой... и слышу, шопот: «спит..?» Застыл я, слышу... — «спит... востро наточил?.. давай...» Так я и провалился в лед, а слышу — нервы-то, как струна: «сразу ты..!» Вытянул ручищу, блеснуло при лампадке... нож! И, босиком, ко мне... пригнулся... Помню, — ма-

шинально, браунинг « на бой », веду к груди, перед собой... сейчас... К столу вильнуло, тенью! Как я не выстрелил, не крикнул..! ? К столу, и — р-раз! — по кол-ба-се-э!! Как треснула бумажка, слышал... — и, тенью, испарился? Тут уж я провалился в жар, в такое облегчающее, в раж какой то, чуть не загоготал от счастья. Прямо — бежать хотел за парнем, всю колбасу отдать, и наградить. Все тут и разрешилось, все я понял: и самого « Упора », и — какую-то стихийность его правды. Так озарило меня «счастьем». Не мог заснуть, от встряски. Думал: славная семья... — в розовом для меня все стало, — есть еще « патриархи » на Руси, кряжи, живут « заветом ». Все « слухи » испарились, все стало ясно, до грешка-соблазна колбасой. Привык к насиженному месту, вот и остался на « старинке », ребята молодцы, деньжонки сбереженые пустил в дело, лесными разработками занялся, самое родное дело, в промысла пошел, мужик резонный, умный. Нет, не прикрывается, а « правильный ». Дал себе слово помочь « Упору » в тяжбе, намекнуть сторонкой насчет ошибки на генеральном плане, чтобы просил о пересмотре. Трудно это, но можно, по высочайшему указу.

На заре мы починились, простились с хозяином, — он был такой же строгий, хмурый, — и дернуло меня! Не удержался. Корю и не корю себя за это. Не корю, потому что получил урок, хо-роший. Нет, сглупил, не надо бы. Говорю, что вот, чуть, было, не случилось страшного, из-за пустяка... чуть не убил кого-то из молодцов... « Упор » весь подтянулся, выкатил глаза воловьи... — « ш-шшто-о..?!..» — не сказал, а хрипнул, будто ошпарил этим « шшшто -о..?! Я повернул на шутку, но « Упору » не до

шуток было. Пальцем мне так — « постой . . . » Тут уж мне скверно стало. Хозяин крикнул в дверь: « Андрюшка . . ! » Оклик был железный, затаенный. Я подумал: почему — Андрюшка ? Вошел Андрюшка, младший, но тоже рослый, розощекий, в пушку таком, как полупарни наши, чистые еще. Братья собирались за дровами, были на дворе у лошадей. Вошел, готовый, в полушубке, снял шапку. — « Подь сюда . . . » — каким то нутряным подзывом сказал « Упор ». Тот пододвинулся. Юное его лицо сказало все. Стал перед отцом, потупясь. Стыд, жгучий стыд, покорность, безответность, сознание неотвратимого и должного — было во всей его фигуре. Такое чистое и детское сознание вины и — искупления. Мне вдруг открылось, что это — за мою вину. Открылось в его глазах. Миг — и . . . удар ! Не по лицу, а . . . по загривку, как выстрел, сухо. Андрюшка вдруг согнулся, как неживой, без звука, и метнулся вон. Все произошло в мгновенье. « Упор » блеснул зубами, на меня, с пронзающим, холодным взглядом. — « Вот, барин . . . » — сказал он задыхаясь, с дрожью, — « твоя колбаска . . . чего стоит ! . . кто всему причина ? ! . . » И так, рукой, будто ударил, — вышел. Я понял, что он меня ударил. Ударил крепче, чем Андрюшку, — все сказал.

Когда мы отъезжали, двор уже опустел. « Упор » не провожал. Я позвал хозяйку. Она пришла, расстроенная, денег не приняла: « не велел хозяин ». Как же так . . ? — « Не знаю, не велел ». Даже не сказала: « счастливо ехать ». Я был расстроен. Ехал по ухабам и повторял растерянно и, право, не без восхищенья: « ка-ков . . . у-пор ! » Ямщик мой обернулся и подмигнул: « во-какой, су-рьезный . . . голо-ва ! »

Вторая « встреча » — через двенадцать лет, — как бы эпилог.

Весной 22-го года взяли меня большевики в подвал. Всю губернскую чертежную арестовали, за обман и ограбление трудящихся: обманными « плантами » мы грабили народ и продались помещикам. Нас опустили в подвалы бывшей « монопольки ». Всякого сорта было, — « на все — про все ». Было до полсотни мужиков. Их взяли за « вооруженное восстание при изъятии церковных ценностей ». И тут я встретился с « Упором ».

Что-то меня стесняло подойти к нему. Он поседел, но не подался: ходил все так же властно, как у себя. Одет был чисто, в новом беленом полушубке. С ним был солдат, лет 28, такой приятный. Я сразу узнал Андрюшку, по глазам. Рука его была обернута тряпицей. Они держались вместе.

Мне рассказали всю историю. Кстати: тяжбу он таки-выиграл. Глину мужикам вернули, « по царскому указу ». Так и не узнал « Упор », как выплыла ошибочка: какой-то безымянный « благодетель » намекнул в письме.

На бунт подбил « Упор ». Мужики хотели отступиться, говорили: « ладно, пущай их отбирают... наше придет — лучше еще укупим ». Но пришел « Упор », « с картечью », и привел обоих сыновей-солдат, с винтовками. — « Старшого убили на войне, в Мазурах, в болотах. Середний с Врангелем уехал. А двое воротились живы. Привел, приставил к церкви. Стал кричать, сердито: « Как можно дозволять такое! за Божье дело, за правду Божию ду-шу свою надо положить! от Бога отступиться... чего ж тогда останется ?!..» И заплакал. И мужики расстроились,

разгорячились ... — не дадим! Теперь вот свянули, а то кричали: «бей в набат, сбивай народ!» И х н ю ю комиссию отшили, по шеям попало. Три дня дежурили у церкви. Были и еще солдаты, и охотники наши, с дробовиками, кто-что. « Упор » командовал с сынами, сам из гвардейцев, прежний, службу знает. Староста еще церковный, старичек, мед скупал по уездам ... ох, шибко тоже горячился. Там его и убили, на паперти. Выбег из церкви, с запрестольным образом, стращать, — сразу и срезали из пулемета. Партию о н и своих пригнали, с пулеметом. Супротив пулемета — где-ж! В церкви мужики засели, палили через окна. Э н т и х штук восемь повредили, двоих убили. Тогда и Сеню Упорова убили, отошел во храме. Их четыре дня томили без воды, и уж патронов не хватило. Взяли мужиков обманно, бумагу прочитали, что отнимать не будут, и всем прощенье. Мужики вышли, а « Упор » не вышел, не дал веры, и сын при нем. Так их и взяли. Старик сидел над убиенным своим Сеней, читал молитву. Андрюшке руку прострелили ».

Мы встретились у крана, брали воду. Старик узнал меня: « а, земномер ... вон где привелось столкнуться ». Оживился: « а дельце-то, с глиной, на правду повернуло. Господь помог ». Вспомнил и про « колбаску ». И Андрюшка вспомнил — улыбнулся. Три дня мы были вместе, подружились. Сказал мне, шепотком, что бы Андрюшка-то не слышал: « решат нас, чую ... а правду не решат! » Он помягчел и посветлел. Все его очень почитали. Даже и те — считались. Комендант, свирепый, на перекличках вычитывал раздельно: « Михаил ... Васильевич ... — и делал передышку, «гражда-нин У-поров!» И смотрел внимательно, — где он? — и как бы с любопытством, пытливым

глазом. Было даже так. Солдатишка-страж улучил минуту и шепнул: « может домой чего сказать, отец... передам я, истинный Бог, все передам ». Говорил старик: « тут меня уважают, сказки про меня мужики забыли, теперь доверились... и что подбил-то — не серчают, ничего, прониклись перед концом-то, что за правду ». Внуки у него росли, семеро внуков и три внучки. Трое сынов женаты были. Говорил: « моя старуха воспитает их в страхе Божием, в законе ». Жалел Андрюшку: « следа-то не оставит, се-мя... ох, хо-роший ». И прибодрялся: « нас, пятерых, не станет, — вдвое будет по нас... жив наш корень ». Сказал еще: « есть по всей России... не извести ». Все вспоминал про сыновей: « молодчики-то каки все были-и...» — и слезы у него блестели, смаргивал, — « правильные были... сколько моя старуха хлебнула горя!.. внуков поставить на ноги, жива коль будет... по совету у нас с ней все, и это... все по совету ». Мягко говорил, поокивал. — « Вот, барин, и расхлебываем, а не мы варили. Нам такого не выдумать: умные наварили, а нам расхлебывать. И умным тоже приходится, дохлебывать... » — мотнул он в сторону, где были взятые из чистых. — « К тому тянули. Ничего, пройдет. Котел наш крепкий, всех не изведешь, заварим. Смоем грех. Это, барин, уж за все расплата ».

В беседы наши Андрей, сидел понурый. О чем он думал? Мне вспомнилось утро, как кликнул его отец — « Андрюшка..! » — вспомнил глаза его. Все те же они были ,светлые. Я видел в них покорность, безответственность, сознание неотвратимого, — но не вины, как прежде, а жертвы, искупления, — за что? Может быть он об этом думал. В его глазах я видел

затаенное, глубинное: тоску, которую нельзя измерить. Вот тогда я понял... не логикой, не плоско, а глубинно... таинственным, духовным зрением, что так, неискупимо, — не может быть. Подспудностью душевной понял, как закон. Увидал глаза — и понял: это — умереть не может. Свет его глаз, свет вечный, проник в меня и осветил потемки.

Их взяли ночью. Накануне старик шепнул мне: « нонче, чую ». Был спокоен, грустен.

Я не спал. Семеро очередных пошли покорно, как во сне. Крестились, быстро. И мы крестились. В мутном свете узнал я высокую фигуру старика, в новом беленом полушубке. Шел он, обняв под спину своего Андрюшу, в солдатской все еще шинели, вел, подталкивал немой лаской. В дверях запнулся, повернул голову и крикнул: « простите, православные... останутся живые... Нас помянут... Господь... » — дверь хлопнула.

Останутся живые. И помянут. И выправят. Жив корень, выбивает поросль, шумит. Я слышу. Видите пространство..? глубину? Я вижу. Ясно, без « интуиции » понятно, — по чертежу.

Апрель, 1937.
Париж.

ТРАПЕЗОНДСКИЙ КОНЬЯК

— Рассказ офицера: —

ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, что такое глухая осень в горах, на подступах к Анатолии? Возьмите прямую — Трапезонд-Эрзерум. От нее к западу — горные дебри, бездорожье, редкие поселения, девственные люди, как тысячу лет назад, — « анатолийские мужики ». Встречаются красавцы. Девушки попадаются... — персидская миниатюра. Штабс-капитан Грач... — дед из хохлов, мать московка, убежала с кавказским офицером, отцом Грача, занявшимся под старость нефтью, и к тому времени богачка, дома в Тифлисе, — так вот этот Сережа, талантливый, все стенки мазанки нашей разукрасил этими « анатолийками »: головки, чадры, шальвары, туфельки, опояски... — сон из Шехерезады. Раньше мы с ним в Персии стояли, повидали. Так вот, глухая осень, 1916 года. А где стояла наша полубатарея, так это и не глушь даже, а, прямо, орлиное гнездо. Только мы да турки — немцы еще, пожалуй, — знаем, что такое был этот « кавказский фронт ». Западу это мало внятно. А там-то и шла истинная война, « боевая игра героев ». Турки отличные вояки, но наши туркестанцы, кавказские стрелки, пластуны..! Ахнул запад, как мы в морозы, по грудь в снегу, сналету взяли считавшийся неприступным Эрзерум. А Саракамыш, Эрзинджан... Трепали и Энвера, и Кемаля, Ахмет Изета и немецких генералов. И при каких же ничтожных средствах, полуголодные, полное бездорожье, отлично вооруженный противник, который влоск раскатал союзников, в памятной « дарданелльской операции ». А мы этого трепача и растре-

пали, — Суворов с Ермоловым не постыдились бы. А почему? Традиционный кавказский дух, решительные вожди, и... союзники не мешали. И вот, к октябрю 16 года бои закончились, и мы стали на рубеже. Впереди — анатолийская горная пустыня. Завалили снега, глушь стала замогильной. Наша полубатарея, как я сказал, занимала позицию на горном тычке-обрыве, прямо — орлиное гнездо, вид верст на пятьдесят. Под нами, метров семьсот в отвес, шумела речка, один из тамошних «чорохов»: летом курица перейдет, в дожди любые понтоны расшвыряет. На нашей стороне, закрепился стрелковый батальон и сотня пластунов; за речкой турки в снегу зарылись. Путь к нам в гнездо был самый отчаянно-турецкий, печенки отобьешь, загогулинами верст двадцать, хоть и рукой подать, и жили мы, как анахореты афонские. Почта раз в две недели, душу отогревали спиртом, а при случае — трапезондский коньяк, «вывороти глаза». Доставлял его нам Аристопулос-мошенник, под собственной этикеткой. Чего он туда вертел, кукельван, что ли, подбавлял... так глушило..! А этикетка — живой магометов рай. Пьешь и любуешься, будто султан в гареме. Офицеров — командир Грач да я, команды человек семьдесят. Работы никакой, тощища. Спускались первое время к батальону, в двадцать одно стегали, но пошла погода, очертело, — полная неврастения. Лежим и плюем, кто дальше. А Грач с горьким зарядом был, два месяца ни звука от невесты. И вот, в середине октября, жданное, в розовом конвертике, и сразу Грача по голове: ошиблась в чувстве и уезжает в Питер. Кое что от Грача я знал. Писала ему мать — был в Тифлисе поэтик питерский, головка лаковая, лик прыщавый, но привлекал поэтическим

магнитом. А девица стишками баловалась и даже раз напечаталась в «Приазовском Крае». Самая современная, с болтайками на ушках, и всегда в истерической истоме: «ка-ак мне все надое-э-ло... хочу неправдоподобного!». Неправдоподобный ее и утянул. Не терплю этой бляманжи. Ну, Анна Каренина если бы, а то слюнявая панихида под дурманцем.

Грач был в отца, горячка, а от матери — твердость и прямота. Два дня все лежал, определялся. Наконец, поднялся, снял со стенки «неправдоподобную» и — в печку. И пошел у нас «трапезонд». Метель, чикалки, — катай под музыку. Вестовой барина разденет, укутает и сидит-зевает. Славный хохол, Канальчук, батумский... такая-то бестия-каналья, везде найдется, Грачу был предан... душу за него положит. Спас его Грач от сыпняка, коньяком поднял, не было камфары у нас. Грицко и платил ему. Хватило и его Грачиным горем, и он помаленьку трапезондил.

Вот Грач и говорит, и розы на лике его молочном, — красавец, карие глаза, горячие, а белотельем в свою московку: «к чорту! жениться буду — нетронутую возьму, без вывертов, чтобы душа, как родниковый ручей, чтобы все ее н е б о было видно... только вот где такая!» А Канальчук глядит на барина умильно, и рот врастяжку. Я одобрил, сам о такой мечтал. А была на стенке у нас картинка, повторял ее Грач в этюдах: тонкое девичье лицо, головка каштановая, брови таким разлетцем, как удивление, будто ей мир открылся... а глаза сине-синие, восточное что то в них, у персиянок встречается, и что то родное, наше, сердце твое берет, и чувствуешь — всю себя отдаст, если уж накрепко полюбит, такая ясность

и глубина. Так вот, глядит Грач на головку эту и кивает раздумчиво: « где я ее видал, как я ее писал . . . нет такой ! » А надо сказать — в Персии, под Тавризом, мы в духане одном видали такую мельком, в арбе она проехала со старухой. Персы зацокали, а хозяин сказал: « дешево купил: кипа табаку да двести туманов », на наши рублей восемьсот. Соседний шейх в жены сговорил, в свой гарем, и шейху тому за семьдесят. Так мы вскипели, что хоть повесить шейха. Грач ее после зарисовал, по памяти: девчушка, годков четырнадцати. Вспомнили мы ту встречу, хватили трапезонда, да так, что я два дня без памяти лежал. И вот когда я « отсутствовал », и случилось . . .

Надо сказать, что пока мы с Грачом были в еще состоянии точного прицела, усмотрели мы в этикетке трапезодна, среди волшебных гурий, ту самую девчушку: ну, по-хожа . . ! « Вот такую бы взял », сказал Грач, — « само естество, эта уж ве-рная навеки ». И впали мы с ним в анабиоз. Но тут мне придется рассказывать со слов Канальчука, до моего восчувствия. Грицко чертовски талантлив был на изобразительность, рассказывал так ярко, будто я сам присутствовал.

К вечеру потеплело, и хлынул ливень. Грач скок с тахты — « Канальчук ! » Как лист перед травой. И велит ему Грач сейчас же скакать в деревню, что за нами, в н а ш у уж, как бы в Россию, и сейчас же доставить ему сюда красивую девушку, и не для баловства, потому что Грач был отменно скромный, стыдливец даже, и, притом, что бы там ни говорили, а наша армия свято блюла приказ — с населением занятых областей обходиться строго законно, беречь имя русское и славу Белого Падишаха, — а желает,

мол, командир вступить в брак, как полагается по ихнему закону, и чтобы все по согласию, а командир закрепит по-своему — под венец. Приказал натвердо: « без невесты ко мне не возвращайся ! » Что у него в голове варилось — неизвестно. Приказывал твердо, « как у орудия, припечатали — приказали, вполне при себе », — и лег на тахту, руки за голову, « будто о важном думка ». Канальчук — « слушаю, ваше благородие ! » — и началось его мифотворчество. Что в его голове варилось ? . .

До деревни было верст семь, дорога головоломная, развело снег и грязь, загремели потоки, пала темень. Канальчук взял электрический фонарик, винтовку, сигнальную трубу — « на случай », оседлал своего « Молодчика » и пустился. Дорога была знакома, таскался в духан туда. Была глубокая ночь, когда он добрался до деревни. Все спало, но поднялись собаки и начался тарарам. Ахнул в них из нагана, выскакал к минарету на площадку, « перекрестился » и затрубил тревогу. Поднялся переполох, кто-то завыл с мечети, набежали, глядят — солдат, урус ! А он по-татарски балакал бойко. « Я, говорит, парламентер, немедленно старшину и муллу, важное приказание ! » И фонариком в них — фук-фук. Заполощились, пришел старшина безрукий и мулла, зеленая чалма, — три раза, значит, в Мекку ходил. Что такое ? А то, что главный начальник-ага, у него пушки на той горе, и чуть что, сейчас повернет, и все под косу, к шайтану ! И велит начальник-ага: сию минуту жениться законным браком, под бумагу и под печать, потому здорово затосковал, и чтоб выбрать самую красивую невесту, какая только имеется, и чтоб сам старшина и мулла, и родители немедленно яви-

лись, « екстренно », и припечатали брак, как полагается, под росписку. А у аги мамаша самому Белому Царю известна, и половина Тифлиса у них домов, и караси-ну ... двадцать пароходов ходит, а бани мраморные ... — бани приплел с чего-то! — и горы лир золотых, — « золото на вас валится! » — « А ежели заартачитесь, хоть на одну минуту, сейчас повернем все пушки, и все к чортовой бабушке, до горы ногами! » Его признали. И, представьте, эти простые люди все приняли за правду. Стали обдумывать, старшина с муллой и говорит: « начальник приказал, дело строгое, мы русских любим, обиды нам от них не было ». Стали перебирать, какую девку везти к начальнику. Выбрали. Пошли к одному двору, а мулла остановил: у Мамута надо; пять девок у него, одна краше другой, хоть и бедный самый, а одеть оденет, а лучше всех Дзюльма, пятнадцатая зима пошла, только как бы не заупрямился, что меньшую ». Канальчук им — « эту и давайте, полное вам от нас доверие ». Повалили на край деревни, подошли, стучатся: « вставай, Мамут, счастье тебе от Аллаха привалило! » Отпер Мамут, на костыле, — с войны только воротился. Стали кричать — « ага-урус требует твою Дзюльму в жены, выкуп богатый даст, и по закону, как полагается! » А мулла подмасливает: « пошлет тебе Аллах теплый ветер к сердцу». У Мамута и ноги подкосились: чудеса в решете! Вошли в мазанку, зажег Мамут сало в плошке и велел Дзюльме одеваться — смотрины будут. У них это не полагается, а Канальчук — никак: « вы нам кривую еще подсунете! » Долго спорились: « нет, кажи! » Ладно. Сели на-корточки, курить стали. Канальчук свернул « ножку » и говорит: « всех показывай, будем выбирать! » Стали показывать —

одна лучше другой. А бабушка плачет и бубнит, — матери-то у них не было, — « ярочки, звездочки... в Истамбуле не будут краше ». А как показали меньшую, хлопнул Канальчук старшину, — « лучше не требуется, берем ! » А Мамут ему: « пусть ага за жену в дом даст ... » — почесал затылок, на потолочину поглядел, — « два ста лир ». Крикнули старики: выходит полторы тысячи на наши. А Канальчук — « это нам плюнуть, дадим и триста ! » Зацокали, ударили по рукам, готово. А та, кроткая, как овечка к бабушке на грудь укрылась. Повела старуха обряжать, а Канальчук торопит: кончай до зари, делов по горло. Старшина пошептал, — нам с муллой магарыч. Ладно.

Обмыли, обрядили, фатой накрыли, розовый сарафан, шит серебром, пояс — серебрянные рубли, наши, в ожерелье два полузолотых, — наше золото в Турции ценили, — туфельки малиновые в золотых разводах, ногти хноей накрасили, бирюзовые сережки, бабушкины, навесили, — ахнул Канальчук: « и на каком огороде репка такая выросла ! » Посадили на кривую ослицу, накрыли шалью и тронулись всем собором. Мулле старую мулицу дали, старшина пеш пошел. Канальчук впереди, фонариком пострeливает, собаки проводы замыкают. Мимо духана не прошли, взбудили турка, а там Аристопулос-мошенник. Велел Канальчук всем кофию, записать за самим агой. А невеста ждала на улице. Вызвездило, морозец. В 3-м часу пришли, сторожевой окликнул, все обошлось. Вошли в офицерскую, на пол сели, невесту на табуретку посадили — « жди-сиди. А Грач — на тахте, камнем. А я за занавеской, в « трапезондском отсутствии ». Канальчук доложил — « так что, ваше благородие, привез невесту, извольте глядеть ! » — за ногу его.

Грач поднялся, как был, во френче с золотыми погонами, с Георгием, высокий, красивый, с розами во все щеки, вид орлиный, глаз соколиный, — « ну, ни в одном глазу ! » Только — « лицом сумнительны, будто в себя глядятся ». И всем понравилось, очень по виду строг. Канальчук Мамуту мигнул — показывай товар. Мамут фату откинул— извольте глядеть. У них это не полагается, до свадьбы, а тут старшина велел и мулла ничего, подакал. Ну, красота-а . . ! А Грач воззрился под потолок, не смотрит. Так всем понравилось, что закон хорошо блюдет. Грач мотнул головой — что у него варилось ? — и руку всем протянул, будто благодарит. Канальчук им — пиши заручную, по закону, — « у нас по метрике ». Мулла пошептался со старшиной, с Мамутом, поднял руки, полопотал . . . дескать, живите в согласии и любви, наставили на бумажке палочек, мулла каракули разыграл винтами, а Канальчук батарейной печаткой хлоп — все в порядке. А невеста сидит, как птичка на тычинке, перед ротиком только кисейка дышит — жива еще. А Грач ни слова, столбом, смотрит под потолок, — « ну так-то чинно, лучше нельзя, прилично ». А это на него так трапезонд оказывал — полное истуканство. Меня — в безчувствие, а его в стоячий анабиоз. А теперь к рассчету.

Махмут — триста за дочь ! А у нас пять целковых, неделя до получки, Канальчук барину — « скажите, что опосля, по телефону мамаша вышлет ». Грач промычал, а Грицко им — « четыреста, говорит, получишь за просрочку, росписку дадим с печатью ». Нет, на руки давай. Спор. И мулла, и старшина со стариками — на руки ! Канальчук грозит: « как-так не верите командиру-аге ? мы полцарства вашего за-

воевали, у нас карасину миллионы . . . а коли так, сейчас повернем все пушки — и все под косу, к шайтану! » Стали лопотать, уломали-таки Мамута: неделю погодить, только бумагу на руки. Начеркал Канальчук, что в голову попало, подал барину подмахнуть — приказ, мол, — тот подмахнул, не видя печаткой хлоп батарейной — готово, получай. А та сидит — кисейка на ней дрожит, про пушки поняла, пожалуй. А Грач — каменно стояние, « и как будто стоя спит ». А Мамут не пронялся: сыму с нее наряд, я человек бедный, кровью-потом все собирал, и нога перебита, и девок куча, после свое получит, как выкуп даст. Всех прогнал, давай разоблачать. Снял сарафан нарадный, и пояс, и ожерелье, и туфельки. Хотел и шитую шапочку с фатой, да стыдно, что-ль, ему показалось, раскрыть-то ее совсем, — оставил. И подушки ее забрал, и два кувшина медных, — осталась она в халатике на ватке, широкие рукава, раструбом. А она, вся покорная, кроткая, как овечка, ножки поджала, сидит-помалкивает, слезки сияют только: подумать — отец раздел! Канальчук туфельки вырвал у него, велел обуть: « невеста босая не бывает! » Ну, поворчал анатолийский мужик, — ладно, говорит. Взял Канальчук баринову бурку, прикрыл невесту, — стала она дрожать. А Грач рукой так, будто прощается. Вытолкал всех Грицко, а Грач — хлоп на тахту, и — камнем. Канальчук « перекрестил молодых », — « час вам добрый! » — и удалился нацыпочках. И остались молодые сам-друг с печуркой. Потрескивали дрова да ветром било о глиняную стенку.

Теперь начинается мое « присутствие ».

Меня разбудило солнце. Поднялся, гляжу за занавеску . . . — что за чудеса ?! На табуретке, у из-

головья Грача, Шехерезада, с этикетки! Протер глаза, крикнул — «Сергей, во сне это мне,, Шехерезада?» Жуть даже проняла — может, с ума сошел? Гляжу, а Шехерезада протягивает ручку — и... моего Грача не-жно так, по щеке проводит, ребенка ласкает словно! Я-то не знаю ничего, а она уж при исполнении обязанностей, супруга, это в крови у них, как инстинкт. Друг дружке и слова не сказали, и с места не сходила, как ее вчера на табуретку ткнули, а уж она будит его лаской, оклик-то услыхала мой. И черную его прядь на молочном лбу оправила, с глаз сняла. И все так нежно, как дуновение. Ножки — как младенца, ручка из голубого рукава-раструба, будто розовый стебелек, и вся — как куколка. Протер я глаза: сидит, кисейка отпахнулась, личико видно стало... — и ахнул я! Бывает же такое... — ну, та, живая т а, девушка из под Тавриза, мечта то наша, тот самый тип, с персидских миниатюр, самый живой «этюд»! Как то хранится э т о, в тысячелетиях. Странное совпадение, но — факт. Грач, наконец, очнулся, всмотрелся, приподнимается, сел. Рукой так, на нее — «ты кто?» А та... Господи, что за жест! — по лицу его, не-жно так... — фантасмагория! без слов понятно: «я, мол, жена твоя». Так вот именно и сказала ручка. И, верите, ни страха, ни... ну, ничего, как надо. Это у них от века, как дыханье, как бы служение. Так вот у пчел: чуть из ячейки выбралась, чуть обсохла, расправилась, — уж пчела, знает свое призвание. Грач на кулаки откинулся, взирает очумело, и на лице удивление и... восторг. С глаз кулаком смахнул — нет, сидит! Поднялся, осторожно, кругом ее обошел, а она с него глаз не сводит, головкой за ним следит. Он тогда, по-турецки — «ты

кто... как ты сюда попала?» А она ему, кротко-нежно, и голосок — серебро живое — буль-буль — соловей по-ихнему: «жена твоя, господин». Грач шатнулся, а Канальчук, в дверях: «так что честь имею, ваше благородие, поздравить с законным браком!» Тут уж я упал на тахту и стал себя за волосы трепать: во сне или наяву мы все?!

Словом, история неописуема. Канальчук доложил, что было, «все по закону» и... — «теперь как прикажите». Грач был в великом замешательстве и... в восторге. Дзюльма была неотразима своей покорностью, нежностью, красотой глазами... «чистоты родникового ручья и неба», и это небо было — е е н е б о, ее душа. Вся она была н а с т о я щ а я, нетронутая, «без вывертов», такая, о какой тосковал Грач в мечтах. И эта мечта осуществилась, стала его ж е н о й. Или — «почти женой».

Он взял ее руку и гладил нежно, раздумывая, как же теперь все будет, и что с ней делать. Она покорно ждала, как кроткая овечка. Глаза ее... Не детские были ее глаза, и то, что томилось в них, что было в их грустном взоре, в наклоне ее головки, шеи, — все это было извечно-женское, созданное в тысячелетиях, влекущее и творящее неудержимо... и властно чувствовал это Грач. И сразу определил — решил. Тут же, своим инстинктом. И все, будто вот так и надо, решило с ним: да будет.

Как раз заявился Аристопулос-мошенник, Грач достал у него под вексель пятьсот лир. Канальчук отвез выкуп Мамуту, уплатил магарыч мулле, старшине и старикам, привез Дзюльме ее наряд и старуху — побыть при ней. К вечеру Дзюльма разубралась и, кажется, обошлась совсем. Грач ей сказал, что повезет

ее далеко, сделает ее русской, и она будет жить у его матери и готовиться к настоящей свадьбе по нашему закону. Она радостно-удивлнно закивала. Можно сказать пожалуй, что она полюбила красивого уруса, если не устрашилась полюбить: она на него взирала с благоговением, как на живого бога. Грача смущало, как отнесутся к его « безумию ». После всего, не могло быть и мысли об отказе от посланного судьбой подарка. Но все разрешилось — нельзя лучше.

Мы перешли в общую казарму: команда живо очистила нам закуток, очень довольная происшествием. Канальчук сообщил, что « очень одобряют, молодчага наш командир ». Дзюльму оставили в мазанке со старухой. Утром Грач поскакал в штаб дивизии и подал рапорт о происшедшем. Дивизионный, старый кавказец, крепко распек его, посадил на двое суток под арест, потом в частном порядке, — он знал старого Грача-полковника, — одобрил решение жениться и обещал перевод в Тифлис. Получив отпуск, Грач вернулся с сестрой милосердия, которая привезла что нужно, Дзюльму одели и увезли в Тифлис, к матери Грача. В те дни я был в приподнятом настроении, по новому опьяненный, и было как то не по себе, что Дзюльма пропадет как беглый сон, — будто меня обидели. Жизнь наша круто изменилась. С Грачом мы простились грустно: оба творили сказку, и сказка кончилась для меня.

В феврале, перед самой революцией Грач писал из Тифлиса, что Дзюльма учится, уже порядочно говорит по-русски, и батюшка готовит ее креститься. В апреле писал, что Дзюльма необыкновенная, все от нее в восторге, ее уже окрестили, и таперь она — Оленька, и скоро свадьба, мать не нарадуется: Оля

— вся — грация, нежность, кротость, чуткость и чистота: сама природа дала ей все, чего не дадут никакие институты... что он безмерно счастлив, того же и мне желает. Да, того же... поди, поймай.

В июле, проезжая через Тифлис, я направлялся к ним. Идя городским садом, я вдруг услыхал — «Таш-Таш!» — интимное прозвище мое, и увидал прелестную девушку, шатенку, в розовом газе, в широкополой шляпке. Она шла под руку с красивым офицером, который радостно мне махал. Я, прямо, залюбовался ими. Ну да, это были они, счастливые. Дзюльма... Не было Дзюльмы: была прелестная, юная, изумительно-изящная европеянка, — вот никогда не думал, как легко ей далось, свободная эта грация светской девушки, — только в синих глазах ее оставалась знакомая мне кротость, отсвет какой то обреченности, нежная грусть и д а л ь... то извечное, что привлекло нас в Персию, на миниатюрах, что так кольнуло на пыльной дороге у духана, что старался поймать на свои этюды Сережа Грач, что он, наконец, п о й м а л и сделал своим навеки. Это ч т о - т о... чем выражалось оно в глазах? Непостижимо это... что то в разрезе глаз, в неуловимой искре, которая вдруг обожжет и обласкает... это слито с неизъяснимым «женским», «вечным-женским», чего не могут схватить славнейшие даже мастера, что Грач называл «родниковым ручьем» и н е б о м. Это совсем неточно, этому нет названия.

Проведя с ними два дня в их роскошном доме, в полувосточном комфорте, где Оля-Дзюльма чувствовала себя привольно, — мы с Грачом валялись на шелковых подушках, в бухарских халатах и тюбетейках, расшитых золотом, и дымили кальянами, под

взглядами сказочной Шехерезады, а Канальчук сервировал нам обильные явства и пития, — я уехал влюбленным, обновленным, чуть оглушенным *сказкой*. Мечтал о недостижимом, а жизнь уже казала удушающую действительность . . .

Ходили слухи, что Грач с молодой женой оставался в Тифлисе до захвата города большевиками. Живы ли они — не знаю. Но чувствую: если нет Грача на земле, нет на земле и его Оли-Дзюльмы: такие не переживают любимого.

Париж
Декабрь, 1938.

РУБЕЖ

В начале осени 36 года мне довелось посетить древний русский край, отрезок Псковщины, и ныне русский до глубочайших корней, но включенный игрой судьбы в пределы эстонские: побережье Чудского и Псковского озер. Городище, Изборск, Печоры... Много я вынес из этого посещения: и радостного, и горького. Видел Россию-Русь. Она была тут, кругом, — в проселках, в буераках, деревеньках, в песнях, в голых полях, в древних стенах Изборска, в часовенках-столбушках у перекрестка дорог, в глазах любопытной детворы... — о, эти глаза узнаешь из тысяч глаз! — в благовесте, в березах, в зорях. Помню, — первое ощущение, что я з д е с ь, что это земля — родная, испытал я наощупь, еще ничего не видя. Поезд пришел в Печоры. Было поздно, глубокий вечер. Я сошел с вокзального приступка и споткнулся: площадь у станции замощена булыжником, и я разучился ходить по нем. Этот т о л ч е к земли так все и осветил во мне, и я сразу узнал осенний воздух родного захолустья, — вспомнил. И стало родное открываться — в лае собаки из темноты, в постуке — где-то там — телеги, в окрике со двора бабьим визглизым голосом — «да черти, штоль, тебя окаянного, унесли... Мишка-а!» в дребезге подкатившего извозчика. И стало так покойно, укладливо, уютно на душе, и во всем существе моем, будто в с е к о н ч и л о с ь, и теперь будет н а с т о я щ е е.

Трудно все это выразить словами, и не об этом хочу сказать. Из поездки в Псковщину самым острым во мне осталось — странное чувство р у б е ж а, впервые испытанное мною.

Туманное утро, холодновато, зябко. Автомобиль выбирается из проселочных буераков на шоссе. Шоссе старинное — тракт: Санкт-Петербург-Псков-Рига, — ровное, как стрела. Машина идет странно, все вертится, справа налево, и опять направо, и опять налево. Что такое ? — « Фортификация », — говорит парень, за шоффера. Что ? !. — « Чтобы задержать наступление врага ! » — мотает он головой ко Пскову. — « О н и задержится, дорога-то перерыта канавками, то с этой стороны, то, сажен пять, с другой ... задержится ... а е г о о н и будут из пулеметов поливать ... последнее слово военной фортифи-ка-ции... » Говорит без усмешки, кажется. И открывается, наконец: « а покуда, мокрая погода, килек напустят в канавки, все таки доходишка ». А я думаю: « вон что ... сознание превосходства в парне ». И вспоминаю вчерашний разговор с дедом на завалинке двухсотлетнего дома, срубленного из корабельного леса, времен Петра: — « Он мне ласково говорит ... ихний ... празиден, называют его так ... ты, старик, не бойся меня ... А я ему говорю: « а чего мне тебя бояться ? я самого царя не боялся, хлеб-соль подносил ... а тебя я буду бояться ! в пинжаке — бояться ! А ты скажи чинам твоим, зачем не велят робятам по-нашему петь в трактире ? чего они наших песнев боятся ? ты им накажи, стро-го ... Как сами пьяны-напьются, наши песни кричат безтолку, а нашим сапожникам в трактире не велят играть, а ? Пусть наших песнев не боятся ».

В полуверсте от рубежа — караульный дом. Не совсем охотно дается разрешение на посещение « границы ». Строгое предписание: не говорить с красными пограничниками, « не раздражать ». Рубеж. Кустики,

болотца, — по ту сторону; с этой стороны — те же кустики, и у самой проволоки сторожевая вышка. Там часовой, в зеленом, Русского языка не понимает, по-немецки может. Я не верю: здесь не раз за день проходят советские, по-парно, переговариваются: часовой должен понимать по-русски, вслушиваться о чем разговор. Входим на вышку. Неожиданно говорю: « дайте мне взглянуть в ваш . . . » часовой снимает с шеи полевой бинокль, дает. Отлично понимает.

Пустое поле, за грядкой кустиков, в стороне какие-то постройки, — там, говорят, комендатура, Гепеу. Были деревушки — снесли. Пустыня. Мертвая страна, но где-то тут . . . таится что-то, — такое во мне чувство. И оно вот-вот скажется, и я узнаю тайну. Меня влечет — туда. Я не могу стоять на вышке. Я хочу ступить, коснуться родной земли. Вот проволока, в пять рядов, на кольях, — все обычно. Пограничный столб, красное с зеленым, на утолщении выжжены серп и молот. Я подхожу вплотную, не слушая окриков эстонца, который может стрелять. Пусть стреляет. Там — только кустики, пустая беловатая дорога-стрела на Псков. Серо, пустынно там. И вдруг — луч солнца, из щелки в тучах, и вижу . . . — снежное яичко ! — там, на конце стрелы. Оно блистает, как серебро. Оно влечет к себе, сияньем. Это собор, открылся. Блеснул оконцем, белизной стен, жестью. И — погас. Странное чувство — ненастоящего, какой-то шутки, которая вот кончится. Так я воспринимаю это заграждение, « предел пути ». — Отойдите ! » — кричит эстонец, по-немецки, — по-русски, все таки не хочет ! — « могут убить ! ».

Я не ухожу. Это же шутка, — и преграда, и пу-

стота, и « убить ». Там — все мое, века мое, всегда мое. И оно, немое, меня зовет.

— « Смотрите... идет... вон, из кустов... » — шепчет мне спутник и кричит: — « здравствуйте! » Я вижу солдата, в зеленой куртке, крепкого, статного, с медным загаром, с винтовкой за плечом. Он молча глядит на нас, выходит на дорогу. Бывало, отвечали бранью. Бывало, отзывались свысока: « Ну, как вы там, на вашем хуторе, живете? » Все, что вне их, — лишь хутор, мелочишка, так. Я пытливо жду, что будет. Солдат оглядывается на Псков, вынимает из кармана куртки... чистый, белый, платок, и трижды машет нам. Что это привет? Да, несомненно. Круто повертывается и четким солдатским шагом уходит туда, на Псков. Должно быть, смена караула, полдень.

Мы смотрим, долго смотрим. Он все уходит, все мутнеет, этот солдат зеленый. Идет на Псков, к собору, укрывшемуся в мутной дали. Сквозь сеточку дождя ли, слез ли... — белеется дорога, как стрела, кусты, болотца, рябина в гроздях, дымок... тяжелые вороны или грачи полетывают над полями... — все мое, родное. Откуда же рубеж, что за рубеж? Там Псков, соборы, давнее мое, святое... И здесь, за мной, со мной, мой, давний, крепость-монастырь. Изборск, Печоры, дед, детские глаза, родные песни, булыжники... — спотыкнулся! — все кругом дышит знакомым, родным, моим. Мой воздух, древние мои поля, родимые. Рубеж... — сон, наважденье, шутка? И горечь, горечь.

Апрель, 1940
Париж.

РОЖДЕСТВО В МОСКВЕ

— Рассказ делового человека —

Наталии Николаевне
и
Ивану Александровичу
Ильиным

Я человек деловой, торговый, в политике плохо разбираюсь, больше прикидываю совестью. К тому говорю, чтобы не подумалось кому, будто я по пристрастию так расписываю, как мы в прежней нашей России жили, а именно в теплой, укладливой Москве. Москва, — что такое Москва? Нашему всему пример и корень.

Эх, как разворошишь все... — и самому не верится, что так вот и было все. А совести-то не обойдешь: так вот оно и было.

Вот, о Рождестве мы заговорили... А невидавшие прежней России и понятия не имеют, что такое русское Рождество, как его поджидали и как встречали. У нас в Москве знамение его издалёка светилось-золотилось куполом-исполином в ночи морозной — Храм Христа Спасителя. Рождество-то Христово — его праздник. На копейку со всей России, воздвигся Храм. Силой всего народа вымело из России воителя Наполеона с двунадесятью языки, и к празднику Рождества, 25 декабря 1812 года, не осталось в ее пределах ни единого из врагов ее. И великий Храм-Витязь, в шапке литого золота, совсюду видный, с какой бы ты стороны ни въезжал в Москву, освежал в русском сердце великое былое. Бархатный, мягкий

гул дивных колоколов его... — разве о нем расскажешь! Где теперь это знамение русской народной силы?!.. Ну, почереду, будет и о нем словечко.

Рождество в Москве чувствовалось задолго, — веселой, деловой сутолкой. Только заговелись в Филипповки, 14 ноября, к рождественскому посту, а уж по товарным станциям, особенно в Рогожской, гуси и день и ночь гогочут, — «гусиные поезда», в Германию: раньше было, до ледников-вагонов, живым грузом. Не поверите, — со-тни поездов! Шел гусь через Москву, — с Козлова, Тамбова, Курска, Сератова, Самары... Не поминаю Полтавщины, Польши, Литвы, Волыни: оттуда пути другие. И утка, и ку́ра, и индюшка, и тетёрка... глухарь и рябчик, бэкон-грудинка, и... — чего только требует к Рождеству душа. Горами от нас валило отборное сливочное масло, «царское», с привкусом на-чуть-чуть грецкого ореха, — знатоки это о-чень понимают, — не хуже прославленного датчанского. Катил жерновами мягкий и сладковатый, жирный, остро-душистый «русско-швейцарский» сыр, верещагинских знаменитых сыроварен, «одна ноздря» Чуть не в пятак ноздря. Никак не хуже швейцарского... и дешевле. На сыроварнях у Верещагина вписаны были в книгу анекдоты, как отменные сыровары по Европе прошибались на дегустациях. А с предкавказских, ставропольских, степей катился «голландский», липовая головка, розовато-лимонный под разрезом, — не настояще-голландский, а чуть получше. Толк в сырах немцы понимали, могли соответствовать знаменитейшим сырникам-французам. Ну, и «мещерский» шел, — княжеское изделие! — мелкозернисто-терпкий, с острецой натуральной выдержки, — требовался в пивных-биргаллях. Крепкие

пивопивы раскусили-таки тараньку нашу: входила в славу, просилась за-границу, — белорыбьего балычка не хуже, и — дешевка. Да как мне не знать, хоть я и по полотняной части, доверенным был известной фирмы « Г-ва С-вья », — в Верхних Рядах розничная была торговля, небось слыхали? От полотна до гуся и до прочего харчевого обихода рукой подать, ежели все торговое колесо представить. Рассказать бы о нашем полотне, как мы с хозяином раз, в Берлине, самого лучшего полотна венчальную рубашку... нашли-таки! — почище сырного анекдота будет. Да уж, разгорелась душа, — извольте.

На пребойкой торговой улице, на Фридрихштрасе, зашли в приятное помещение. Часа два малый по полкам лазил, — « давай получше! » Всякие марки видели, английские и голланские... — « а получше! » Развел руками. Выложил натуральную, свою, — « нет лучше! » Глядим... — знакомое. Перемигнулись, « Цена? » — « Фир хундерт ». — Глазом не моргнул. — « Выше этого сорта быть не может ». Говорим — « правильно ». И копию фактуры ему под нос: « Катина гофрировка, бисерная, экстра... Москва... » — иголочки белошвейной Катиной, шедэвр! Ахнул малый с хозяином. А мы хозяину: « Выше этого сорта быть неможет? покорнейше вас благодарим ». 180 процентиков наварцу! Хохотал хозяин!.. Сосисками угощал и пивом.

Мало мы свое знали, мало себя ценили.

Гуси, сыры, дичина... — еще задолго до Рождества начинало свое движение. Свинина, поросята, яйца... — сотнями поездов. Волга и Дон, Гирла днепровские, Урал, Азовские отмели, далекий Каспий... — гнали рыбу ценнейшую, красную, в

европах такой не водится. Бочками, буковыми ларцами, туеса́ми, в полотняной рубашечке-укутке... — икра катилась: « салфеточная-отборная », « троечная », кто понимает, « мешечная », « первого отгреба », про-ли́тая тузлуко́м, « чуть-малосоль », и паюсная, — десятки ее сортов. По всему свету гремел русский « кавьяр ». У нас из нее чудеснейший суп варили, на огуречном рассоле, — не знаете, понятно, — калью. Кетовая-красная ? Мало уважали. А простолюдин любил круто-соленую, воблину-чистяковку, мелкозернисторозовую, из этаких окоренков скошеных, — 5-7 копеек фунт, на газетку лопаточкой, с походом. В похмелье — первейшая оттяжка, здорово холодит затылок.

Так вот-с, все это — т у д а. А о т т у д а — тоже товар по времени, веселый: галантерея рождественская, елочно-украшающий товарец, всякая щепетилка мелкая, игрушка механическая... — Наши троицкие руку набили на игрушке: овечку-коровку резали — скульптора́ дивились! — пробивали дорожку за-границу русской игрушке нашей, — Ну, картиночки водяные, краски, перышки-карандашики, глобусы всякие учебные... все просветительно-полезное, для пытливого детскоге умишки. Словом, добрый обмен соседский. Эх, о ситчике бы порассказать, о всяких саратовских сарпинках... мно-го, не буду отклонятся.

Рождественский пост — легкий, веселый пост. Рождество уж за месяц засветилось, поют за всенощной под Введенье, 20 ноября, — « Христос рождается — славите... » И с ним — суета веселая, всяких делов движенье. Я вам об обиходце все... ну, и душевного чуть коснусь, проходцем. А покуда — пост, ры-ба плывет совсюду.

Вы рыбу российскую не знаете, как и все прочее-

другое. Ну, где тут послужат тебе... на-важкой? ! А она самая предрождественская рыбка, точно-сезонная: до Масленой еще играет, ежели мясоед короткий, а в великом посту — пропала. Про наважку можно бо-льшие страницы исписать. Есть такие, что бредят ею, так и зовут — «наважники». У ней в головке парочка перломутровых костянок, с виду — зернышки огуречные, девочки на ожерелья набирали. С детства радостно замирал, как увижу, бывало, далекую, с Севера, наважку, — зима пришла! — в кулечке мочальном-духовитом, снежком чуть запорошенную, в сверканьях... — вкуса неописуемого! Только в одной России ее найдете. Первые знатоки-едалы, от дедушки Крылова до купца Гурьева, наважку особо отличали. А что такое — сеточек белозерский? Тоже знак близкого Рождества. Наш снеток — всенародно-обиходный. Говорят, Петр Великий походя его ел, сырьем, так и носил в кармане. Хрустит на зубах, с песочку. Щи со снетком или картофельная похлебка... — ну, не сказать!

О нашей рыбе можно великие книги исписать... — сиги там розовые, маслистые, селедка переславльская, ряпушка, корюшка, копчушка, шемая, стерлядка, севрюжка, осетрина, белуга, семга, белорыбица, нельма — недотрога-шельма, не дается перевозить, лососина семи сортов... А вязигу едали, нет? рыбья «струна» такая. В трактире Тестова, а лучше еще — у Судакова, на Варварке, — пирожки-растегаи с вязигой-осетринкой, к ухе ершовой из живорыбных садков на Балчуге!.. подобного кулинария не найдете нигде по свету. А главная-то основа, самая всенародная, — сельдь-астраханка, «бешенка». Миллионы бочек катились с Астрахани — во всю Россию. Каждый масте-

ровой, каждый мужик, до последнего нищего, ел ее в посту, и мясоедом, особенно любили головку взасос вылущивать. Пятак штука, а штука-то чуть не в фунт, жирнеющая, сочнющая, остропахучая, но... ни-ни, чтобы « духовного звания », а ежели и отдает, это уж высшей марки, для знатаков. Доверенные крупнейших фабрик, « морозовских », ездили специально в Астрахань, сотнями бочек на месте закупали для рабочих, на сотни тыщ, — это вот-кровь-то с народа-то сосали! — по себе-стоимости отпускали фабричные харчевые лавки, по оптовой! Вот и прикиньте задачку Евтушевского: ткач в месяц рублей 35-40 выгонял, а хлеб-то был копеечка с четвертью фунт, а зверь-селедка — пятак, а ее за день и не съесть в закусочку. Ну, бросим эти прикидочки, это дело специалистов.

В Охотном Ряду перед Рождеством — бучило. Рыба помаленьку отплывает, — мороженые лещи, карасики, карпы, шуки, судаки... О судаках полный роман можно написать, в трех томах: о свежем-живом, солено-сушеном и о снежной невинности « пылкого мороза »... — чтение завлекающее. Мне рыбак Трохим на Белоозере такое про судака рассказывал... какие его пути, как его изловишь, покуда он к последней покупательнице в кулек попадет... — прямо, в стихи пиши. Недаром вон про Ерша-Ершовича, сына Щетинникова, какое сложено, а он судаку только племянником придется... — по-эзия для господ поэтов! А Трохим-то тот с Пушкиным родной крови.

Крепко пахнет с низка, в Охотном. Там старенькая такая церковка, Пятницы-Прасковеи, редкостная была игрушечка, века светилась розовым огоньком лампадки из-за решетчатого окошечка, чуть не с Ивана Грозного. И ее, тихую, отнесли на... амортизацию.

Так там, узенький-узенький проходец, и из самого этого проходца, аршина в два, — таким-то копченым тянет, с коптильни Бараковых, и днем и ночью. Там, в полутемной лавке, длинной и низенькой, веками закопченой, для ценителей тонкой рыбки выбор неописуемый всякого рыбного копченья. Идешь мимо, думаешь об эдаком высоком и прекрасном, о звездах там, и что, к примеру, за звездами творится ... — и вдруг, пронзит тя до глубины утробы ... и хоть ты сыт погорло, потянет тебя зайти полюбоваться, и уйдешь довольный, до самого сердца прокопченый, с кульком бараковского богатства. Начто уж профессора, — университет-то вот-он, — а и они забывали Гегеля-там со Шпегелем, проваливались в коптильню ... — такой уж магнит природный. Сам одного видал, высо-кого уважения мудрец-философ ... всегда у меня тонкого полотна рубашки требовал. Для людей с капиталом, полагаете? Ну, розовый сиг, — другое дело, а копчушек щепную коробченку и бедняк покупал на Масленой.

В рождественском посту любил я зайти в харчевню. Все предрождественское время — именины за именинами: Алесандр Невский, Катерина-Мученица, Варвара-Великомученица, Никола-Угодник, Спиридон-Поворот ... да похороны еще ввернутся, — так, в пирогах-блинах, раковых супах-ушицах, в кальях-солянках, заливных да киселях пломбирах ... чистое утопание. Ну, и потянет на капусту. Так вот, в харчевнях, простой народ, и рабочий, и нищий-золоторотец, — истинное утешение смотреть. Совершенно особый дух, варено-теплый, сытно-густой и вязкий: щи стоялые с осетровой головизной, похлебка со снетками, — три монетки большая миска да хлеба еще ломтище, да на

монетку ломоть киселя горохового, крутого . . . и вдруг, чистое удивление! Такой-то осетрины звенцо отвалят, с оранжевой прослойкой, чуть не за пятиалтынный, а сыт и на целый день, икай до утра. И всегда в эту пору появится первинка — народная пастила, яблошная и клюковная, в скошенных таких ящичках-корытцах, 5-7 копеек фунт. В детстве первое удовольствие, нет вкусней: сладенькая и острая, крепкая пастила, родная, с лесных-полевых раздолий.

Движется к Рождеству, ярче сиянье Праздника.

Игрушечные. Ряды полнеют, звенят, сверкают, крепко воняет скипидаром: подошел елочный товар. Первое — святочные маски, румяные, пусто-глазые, щекастые, подымают в вас радостное детство, — пугают рыжими бакенбардами, « с покойника ». Спешишь по делу, а остановишься и стоишь, стоишь и не оторвешься: веселые, пузатые, золотисто-серебристые хлопушки, таинственные своим « сюрпризом »; малиновые серебренные, зекрально-сверкающие шарики из стекла и воска, звезды-хвостатые кометы, струящиеся « солнца », рождественские херувимы, золоченые мишки и орешки, церквушки-крошки, с пунцовыми святыми огоньками из-за слюды в оконце, трепетный « дождь » рождественский, звездная пыль небесная — елочный брильянтин, радостные, морковки зелень, зеркальные дуделки, трубы с такими, завитка́ми, неописуемо-тонкий картонаж, с грошиками из шоколада, в осып сладкой крупки, с цветным драже, всякое подражание природ... — до изумления. Помните «детские закусочки»? И рыбки на блюдечках точеных, чуть пятака побольше, и ветчина, и язычная колбаса, и сыр с ноздрями, и икорка, и арбузик, и огурчики-зелены, и румяная стопочка блинков в сметанке, и хвостик семужий, и

грудка икры зернистой, сочной, в лачку пахучем... — все точной лепки, до искушения, весело пахнет красочкой... — ласковым детством пахнет. Смотришь — и что-то такое постигаешь, о-чень глубокое! — всякие мысли, высокого калибра. Я хоть и по торговой части, а любомудрию подвержен, с образовательной стороны: Императорское коммерческое кончил! Да и почитывал, даже за прилавком, про всякие комбинации ума, слабость моя такая, про философию. И вот, смотришь все это самое, елочное-веселое, и... будто это живая сущность! души земной неодушевленности! как бы — и-де-и вещей. И чудится, — тут-то и есть смысл елки, ее заманность, детская радость от нее, ро-ждес-твенская радость... как бы рожденье живых вещей! Радует почему, и старых, и младенцев?.. Вот оно, чудо Рождества-то! Всегда мелькало... чуть намекающая тайна, вот-вот раскрылась!.. Вот бы философы занялись, составили назидающию книгу — «Чего говорит рождественская елка?» — и почему радоваться надо и уповать. Пишу кое-что, и хоть бобыль-бобылем, а елочку украшаю, свечечки возжигаю, и всякое электричество гашу. Сижу и думаю... в созерцании ума и духа.

Но главный знак Рождества — обозы: ползет свинина.

Гужом подвигается к Москве, с благостных мест Поволжья, с Тамбова, Пензы, Саратова, Самары... тянет, скрипя, в Замоскворечье, на великую площадь Конную. Она — не видно конца ее — вся уставится, ряд за рядом, широкими санями, полными всякой снеди: груды черных и белых поросят... — белые — заливать, черные — с кашей жарить, опытом дознано, хрускую корочку дает с поджаром! — уток, гусей,

индюшек... груды, будто перьё обмерзлое, гусиных-куриных потрохов, обвязаных мочалкой, пятак за штуку! — все пылкого мороза, завеянно снежком, свалено на санях и на рогожах, вздернуто на оглоблях, манит-кричит — купи! Прорва саней и ящиков, корзин, кулей, сотневедерных чанов, все полно птицей и поросятиной, окаменевшей бараниной, розоватой замерзшей солониной... каков мороз-то! — в желтокровавых льдышках. Свиные туши сложены в штабеля, — живые стены мясных задов палёных, розово-черных «пятаков»... — свиная сила, неисчислимая.

За два-три дня до Праздника на Конную тянется вся Москва — закупить посходней на Святки, на мясоед, до Масленой. Исстари так ведется. И так, поглазеть, восчувствовать крепче Рождество, встряхнуться-освежиться, поесть на морозе, на народе, горячих пышек, плотных, вязких, постных блинков с лучком, политых конопляным маслом до черной зелени, пронзительно душистым, кашных и рыбных пирожков, укрывшихся от мороза под перины; попить из пузырчатых стаканов, весело обжитая пальцы, чудесного сбитню русского, из имбиря и меда, божественного «вина морозного», согрева, с привкусом сладковатой гари, пряной какой-то карамели, чем пахнет в конфетных фабричках, — сладкой какой-то радостью, Рождеством?

Верите ли... в рождественско-деловом бучиле, — в нашем деле самая жгучая пора, отправка приданого на всю Россию, на мясоед, до масленой, дела́ на большие сотни тысяч, — всегда урывал часок, брал лихача, — «на Конную!» И я, и лихач — сияли, мчали, как очумелые... — вот оно, Рождество! Неоглядная Конная черна народом, гудит и хрустит в морозе. Дышишь

этим морозным треском, звенящим гудом, пьешь эту сыть веселую, ро́злитую по всем-то лицам, личикам и морозным рожам, по голосам, корзинам, окоренкам, чанам, по глыбам мороженого мяса, по желтобрюхим курам, индюшкам, пупырчато-розовым гусям, запорошенным, по подтянутым пустобрюхим поросятам, звенящим на морозе, их стукнешь ... слушаешь хряпы топоров по тушкам, смотришь радостными на все глазами: летят из-под топора мерзлые куски, — плевать, нищие подберут, поминай щедрого хозяина! — швыряются поросятами, гусями, рябчиками, тетёрками, — берут поштучно, нечего канителиться с весами. Вся тут предпраздничная Москва, крепко-ядреная с мороза, какая-то ошалелая ... — и богач, кому не нужна дешевка, и последний нищий.

— « А ну, нацеди стаканчик! .. »

Бородатый мужик, приземистый, будто все тот же с детства, всегда в широченном полушубке, в вязке мерзлых калачиков на брюхе, — копейка штука! — всегда краснорожий и веселый, всегда белозубый и пахучий, — имбирь и мед! — цедит из самовара-шара янтарный, божественный напиток — сбитень, все в тот же пупырчатый стаканчик, тяжелый с детства. Пышит горячим паром, не обжигает пальцы. Мочишь калачик мерзлый ... — вкуснее нет!

— « Эй, земляки ... задавим! .. »

Фабричные гуляют, впряглись в сани за битюгов, артелью закупили, полным-полно: свиные тушки, сальные, мерзлые бараны, солонина окаменевшей глыбой, а на этой мясной горе полупьяный парень сидит королем — мотается, баюкает пару поросят. Волочáт мерзлую живность по снегу на веревке, несут, на санках везут мешками, — растаскивают великий торг. Все к

Рождеству готовятся. Душа — душой, а и мамона требует своего.

В « городе » и не протолкаться. Театральной площади не видно: вырос еловый лес. Бродят в лесу собаки — волки, на полянках дымятся сбитеньщики, недвижно, в морозе-тиши, радуют глаза праздничным сияньем воздушные шары — колдовской « зимний виноград »; качаются, стряхивая снег, елки, валятся на извощиков, едут во всю Москву, радуют белыми крестами, терпкой, морозной смолкой, просятся под наряд.

Булочныя завалены. И где они столько выпекают ?! .. Пышит теплом, печеным, сдобой от куличей, от слоек, от пирожков, — в праздничной суете булочным пробавляются товаром, некогда дома стряпать. Каждые полчаса, ошалелые от народа сдобные молодцы мучнистые вносят и вносят скрипучие корзины и гремучие противни жареных пирожков, дымящихся, — жжет через тонкую бумажку: с солеными груздями, с рисом-с рыбой, с грибами, с кашей, с яблочной кашицей, с черно-смородинной остротцой ... — никак не прошибутся, — кому — чего, — знают по тайным меткам. Подрумяненным сыплются потоком, в теплом и сытном шорохе, сайки и калачи, подковки и всякие баранки, и так, и с маком, с сольцой, с анисом ... валятся сухари и кренделечки, булочки, подковки, завитушки ... — на всякий вкус. С улицы забегают погреть руки на пирожках горячих, весело обжигают глотки, трясут головами от ожогов, облизывают пальцы ... летят пятаки куда попало, — нечего тут считать, скорей, не время. Фабричные забирают для деревни, валят в мешки шуршащие пакеты — московские калачи и сайки, белый слоистый ситный,

пышней пуха. На все достанет, — на ситчик и на платки, на сладкие баранки, на розовое мыльце, на карамель — « гадалку », на пряники.

Тула и Тверь, Дорогобуж и Вязьма завалили своим товаром — сахарным пряником, мятным, душистым, всяким, с начинкой имбирно-апельсинной, с печатью старинной вязи, чуть подгоревший с краю: вязьма. Мятные белые овечки, лошадки, рыбки, зайчики, петушки и человечки, круто-крутые, сладкие... — самая елочная радость. Сухое варенье, « киевское », от Балабухи, белевская пастила перинкой, розово-палевой, мучнистой, — мягко увязнет зуб в мягко- упругом чем-то яблочном, клюковном, рябиновом. « Калужское тесто » мазкое, каменная « резань » промерзлая, сладкий товар персидский — изюм, шептала, Фисташки, винная ягода, мушмала, кунжутка в горелом сахаре, всяческая халва-нуга, сахарные цукаты, рахат-лукумы, сжатые абрикосы с листиком... грецкие и « мериканскии » орехи, зажареный в сахаре миндаль, свои-лесные — кедровый и каленый, и мягкий-шпанский, святочных вечеров забава. Помадка и « постный сахар », сухой чернослив французский, поседевший от сладости, сочный-моченый русский, сахарный мармалад Абрикосова С-вей в Москве, радужная « соломка » Яни, стружки- буравчики на елку, из монпансье, золоченые шишки и орешки, крымские яблочки-малютки... сочные, в крепком хрусте... леденцовые петушки, сахарные подвески-бусы... — валится на Москву горами.

Темнеет рано. Кондитерския горят огнями, медью и красным лаком зеркально-сверкающих простенков. Окна завалены до верху: атласные голубые бонбоньерки, — на Пасху алые! — в мелко воздушных буфчи-

ках, с золотыми застежками, — с деликатнейшим шоколадом от Эйнема, от Абрикосова, от Сиу... пуншевая, Бормана, карамель-боченки, россыпи монпансье Ландрина, шашечки-сливки Флея, ромовые бушэ от Фёльца, пирожныя от Трамблэ... Барышни-продавщицы замотались: заказы и заказы, на суп-англэз, на парижский пирог в мороженом, на ромовые кексы и пломбиры.

Дымят трубы конфетных фабрик: сотни вагонов тонкой муки, «конфетной», высыпят на Москву в бисквитах, в ящиках чайного печенья. «Соленые рыбки», — дутики, — отличнейшая заедка к пиву, новость, — попали в точку: Эйнем побивает Абрикосова, — будет с тебя и мармаладу! Старая фирма, русская, вековая, не сдается, бьет марципанной славой, мастерским художеством натюр-морт: блюдами отбивных котлет, розовой ветчиной с горошком, блинами в стопке, — политыми икрой зернистой... — все из тертого миндаля на сахаре, из «марципана», в ярко-живой окраске, чудный обман глазам, — лопнет витрина от народа. Мало? Так вот, добавлю: «звездная карамель» — святочная-рождественская новость! Эйнем — святочно-радостный подарок: высокую крэм-брюле, с вифлеемской звездой под серпиком. Нет, постойте... вдвинулся Иванов, не стыдится своей фамилии: празднует Рождество победно, редко - чудесным шоколадом. Движется - богатеет жизнь...

Гремят гастрономии оркестры. Андреев, Генералов, Елисеев, Белов, Егоров... — слепят огнями, блеском высокой кулинарии, по всему свету знаменитой: пулярды, поросята, Осыпанные золотою крошкой

прозрачно-янтарного желе, Фаршированные индейки, сыры из дичи, гусиные паштеты, салями на коньяке и вишне, пылкие волованы в провансале и о-гратэн, пожарские котлеты на кружевах, царская ветчина в знаменитом горошке из Ростова, пломбиры-кремы с пылающими оконцами из карамели, сиги-гиганты, в розово-сочном желе... клубника, вишни, персики, с ноевских теплиц под Воробьевкой, вина победоносной марки, «удельные», высокое русское шампанское Абрау-Дюрсо... — начинает валить французское.

«Мамоны», пожалуй, и довольно?.. Но она лишь земное выраженье радости Рождества. А самое Рождество — в душе, тихим сияет светом. Это оно повелевает: со всех вокзалов отходят праздничные составы с теплушками, по особенно-низкому тарифу, чуть ли не грош верста, спальное место каждому. Сотни тысяч едут под Рождество в деревню, на все Святки, везут «гостинцы» в тугих мешках, у кого не про́пита получка, купленное за русскую дешевку, за труд немалый.

Млеком и медом течет великая русская река...

Вот и канун Рождества — Сочельник. В палево-дымном небе, зеленовато-бледно, проступают рождественские звезды. Вы не знаете этих звезд российских: они п о ю т. Сердцем можно услышать, только: поют — и славят. Синий бархат затягивает небо, на нем — звездный, хрустальный свет. Где же ты, Вифлеемская?.. Вон она: над Храмом Христа Спасителя. Золотой купол Исполина мерцает смутно. Бархатный, мягкий гул дивных колоколов его плавает над Москвой вечерней, рождественской. О, этот звон морозный... можно ль забыть его?!.. Звон-чудо, звон-

виденье. Мелкая суета дней гаснет. Вот, воспоют сейчас мощные голоса Собора, ликуя, Всепобедно,

« С на   ми . . . Бог ! . .

Священной радостью, гордостью ликованья, переполнятся все сердца,

« Разумейте язы-и-и-цы-ы . . .

« И по-ко-ряй - - - теся . . .

« Я-ко . . . с на-а-а-а-а--- ми Бог ! . .

Боже мой, плакать хочется . . . — нет, не с нами. Нет Исполина-Храма . . . — и Бог не с нами. Бог отошел от нас.

Не спорьте ! Бог отошел. Мы каемся.

Звезды поют и славят. Светят пустому месту, испепеленному. Где оно, счастье наше ? . . Бог поругаем не бывает. Не спорьте: я видел, знаю. Кротость и покаяние — да будут.

И срок придет:

Воздвигнет русский народ, искупивший грехи свои, новый чудесный Храм — Храм Христа и Спасителя, величественней и краше, и ближе сердцу . . . и на светлых стенах его, возродившийся русский гений расскажет миру о тяжком русском грехе, о русском страдании и покаянии . . . о русском бездонном горе, о русском освобождении из тьмы . . . — святую правду. И снова тогда услышат пение звезд и благовест. И, вскриком души свободной в вере и уповании, воскричат:

« С нами Бог ! . . »

Декабрь 1942-1945.
Париж.

СВЕТ

(Из разорванной рукописи)

...Все...?.. — спросил Антонов душившую его тьму.

«Все» — это была жизнь, земное, что остается за чертой смерти.

Возвращение к жизни случилось так.

Он услыхал знакомые, радостно озарившие слова — ...«и сущим во гро-бех жи-во-от да-ро-вав!..» Будто из под земли дошел до него тяжелый вздох — «о, Го-споди...» Он крикнул в душившую тьму — «спасите!..» и потерял сознание.

Снова его вернуло к жизни свежее дуновение. Он открыл глаза. Солнечный благодатный дождь — во сне ли, мыслью ли видел он этот дождь? — вызвал в нем чувство легкости. Но не было ни дождя, ни солнца: был темный свод, какая-то странная машина, — отопления? — коптившая лампочка без стекла. Возле сидел на ящике седой, изможденный человек и тревожно всматривался в него. Антонову бросилось в глаза, что этот человек — безрукий: висел пустой рукав старого пиджака.

— Что это?.. где я?... с трудом прошептал Антонов и почувствовал, как бьет в голову, будто молот.

Слава Богу, очнулся! — сказал безрукий.

— Что это, где я?..

— У меня, в подвале. Подыми ногу... так. Другую... Рукой пошевили... Нигде не больно?

— Голова гудит... больно.

— Ясно, контузило, оглушило. Как-никак, — бомба!

Словом — «бомба» прорвало тьму. Хлынули мысли, но Антонов не мог разобраться в них.

— Кажется, все в порядке... — сказал безрукий и отошел куда-то.

Антонов закрыл глаза и опять почувствовалось что-то освежающее, приятное: где-то лилась живая вода, — будто солнечный дождь, весенний...

— Ну-ка, хвати моего гро-га... — услыхал Антонов сквозь этот чудесный дождь, и открыл глаза.

Мягко, прищуря глаз, смотрел на него человек без руки, держа консервную жестянку с выписанным на ней совсем живым горошком. Это было красное и крепкое вино с горячей водой, но этот «грог», без сахару, показался Антонову необыкновенным. Он почувствовал радость, что жив, что видит этот живой горошек, слышит сладкий, необыкновенно резкий запах вина.

— Чуточку бы еще, попросил он.

— До-сада!.. Это красное — последнее, что было, — сказал безрукий. Ну, это мы наладим.

Анотнов увидал на себе грязные лохмотья. А где же костюм, в котором он только что шел куда-то, — обновка, купленная по случаю за шесть тысяч?.. Шли завтракать, «с нагрузкой», потом — на скачки... всплывало в мыслях.

— Вы спасли меня?.. — спросил Антонов, стараясь вспомнить что-то, — очень, притом, важное; но оно, это «что-то», мучило мысли (и) не давалось.

И увидал, что лежит на ящике, на войлочной подстилке.

— Бог тебя спас, — сказал безрукий. — Есть хочешь ?

При слове — « есть » Антонов почувствовал, как он хочет есть.

— И с продовольствием у меня тоже слабо, — опять с досадой сказал безрукий, — есть две картошки, соль, сварю . . . А пока вот, сухарики.

Он поставил железную коробку с кусочками; но эти кусочки были слаще кулебяки известного ресторана, где недавно обедали с приятелями.

Который же теперь час ? . . Он взглянул на руку: золотые часики, купленные недавно за двенадцать тысяч, сплющило и можжила багровая ссадина, до локтя. Неловко что-то было глазу. Он потрогал: над глазом вспухло, на пальце осталась кровь. Мысли вертелись вокруг ч е г о - т о, « самого главного », но оно ускользало. В этом « главном » пряталось страшное, бывшее, где-то тут.

— А меня . . . — улавливая что-то в мыслях, спросил Антонов, — изуродовало . . . шибко ?

— Благодари Бога, что пустяками отделался. Другие ! . . мотнул безрукий головой за стены.

От горячего вина вернулись силы. Он поднялся на локте, чувствуя боль в спине, спустил ноги на земляной пол и оглянулся.

Это был подвал — кочегарка, Антонов узнал, что безрукий живет тут помогая истопнику, — зимой подбрасывает уголь к топке; узнал еще о хозяине: инвалид, — он приметил затертую георгиевскую ленточку, — капитан, был на войне и в Белой Армии, получает что-то от Союза, собирает окурки на продажу. И узнал самое главное: как вырвал его из тьмы безрукий. Мотыгой продолбил стену, где была трещи-

на. Как раз в этом месте была ниша, а стена в два кирпича всего. По звуку определил пустоту, выволок из черной дыры заживо-погребенного, втащил на ящик, смыл с лица грязь, — обливал голову, оттирал, хотел уже бежать за помощью . . .

— А ты и очнулся. А теперь, объясни, как тебя угораздило застрять там, промеж двух домов ? Соседний, шесть этажей, рухнул, и все в подвале, — человек тридцать, говорят, — погибли . . .

— Погибли ? !

— Все. Третий день откапывают, и стуку не стало слышно.

— Погибли . . . — прошептал Антонов, — третий день . . . А сегодня, какой же день сегодня ? . . Странно . . . вторник ? !

Третьего дня, в воскресенье, с тремя приятелями, — большие дела вертели они вместе, комиссионные разные, и здорово разбогатели, а раньше работали на « Рено », — шли завтракать в ресторан, а потом, думали, на скачки. Вдруг, сирены, — и сразу же бомбы... Одна упала совсем рядом, домов за пять. Они кинулись в первый абри, в закоулках темного подвала он потерял приятелей, ткнулся в тупик кудо-то, и тут его взвило и задушило тьмой. Больше ничего не помнил. Потом услыхал пение ? . .

— Это вы пели, господин капитан ?

— Я. Пою иногда, молитвы. Тяжело . . . рядом, ведь, « сущие во гробех » . . . — мотнул капитан за стены, — и Пасха скоро . . . вот и запелось.

« Сущие во гробех ! . . » — прошептал Антонов, и перекрестился, в страхе.

И увидел т е х , троих, с которыми дружил и вертел дела, еще больше его разбогатевших, строив-

ших всякие планы... — и двое были женаты, и дети были. Все в полной силе, совсем молодыми столкнулись в Галлиполи, — да так и не расставались. И теперь — «сущие во гробех»?..

— Ты все говоришь — «господин капитан»... — солдат был?

— Так точно, унтер-офицер, господин капитан. Чудо Господне, один я спасся!..

Он не постигал, как спасся, как очутился в тесной дыре, за этой стеной, треснувшей от удара. Швырнуло его вверх, — в пробоину, что ль, в стене того подвала? Бывает. Бывают в стенах пустоты, архитектора арочки применяют, для экономии... Эта стена по-низу вся в таких арочках, в два кирпича меж устоями. Бывают и чудеса.

— «Бывают и чудеса...» — повторилось сонливо в мыслях...

— Поешь картошки, — услыхал Антонов, и открыл глаза.

Дымилась и вкусно пахла чудесная картошка. Радость, что жив, жив, жив... — переполняла душу. Короткие, тупые стуки показалось ему, он слышит. Верно, это, стуки?.. это там — стуки?.

— Там... откапывают, — сказал капитан. — Да, чудо. Пока ты спал, обследовал я твой «гроб». Истинно, — гроб. Стена, та, — глухая. Только — вверху прошибло ее с метр... и, швырнуло тебя, как по заказу, вкатило наглухо клином глыбу симан-армэ! Наглухо!!.. Через эту вот трещину, здесь, в стене, подавало воздух .. — особенным, внушительным голосом сказал капитан. — Заправься, надо дать знать властям, в Комиссариат.

— Наглухо... — повторил Антонов.

— Да. Бывает. И чу-де-са бывают.

Не только наружное — видимая жизнь — прояснилось теперь Антонову. Он чувствовал, как в нем проясняется и внутри, — и не думалось раньше, что есть такое, внутри. Случилось ... чудо? Но чем он лучше других, т е х троих, всех? Он теперь ясно видел темное свое, греховное. Он томительно сознавал, до озноба в груди, боли в сердце, что не заслужил милости. И хоть и радовался счастью, что жив, ж и в е т, слышит этот неслыханный никогда, как будто, запах дымящейся картошки, до того радовался, что хотелось вскочить и прыгать, обнять милого капитана, схватить в охапку и бежать с ним куда-то из этого страшного подвала; но мешала какая-то « зацепка » .. было что-то неловкое ... был стыд, что вот уцелел, о д и н ... радуется, жи-вой ... что у него квартира, новая мебель, невеста ... в с е есть и будет ... и эта чудесная картошка, какая же вкусная она! .. — А т е, в с е ... т а м ! ..

Он не мог удержать в себе этого « неловко что-то », этого « стыда ! » И стал говорить от переполненного сердца, от чего-то чудесно-нового в нем, что открылось в его душе здесь, угнездилось в душе, здесь, в подвальном, жутком углу калеки-капитана, такого ласкового, такого заботливого к нему, чужому, незнакомому. Он высказывал сбивчиво, сумбурно, как из души просилось.

— Значит т а к н а д о б ы л о, — сказал капитан. — Кто достоин, кто недостоин ... это не нам судить.

От этих слов пропала в Антонове « зацепка » — неловкости ли, стыда ли, — и он заплакал. Плакала в нем радость его, что жив, и облегчение, что теперь

нет « зацепки », и нывшее болью тело. Так легко никогда еще он не плакал.

— Ах, господин капитан! .. Не знаете вы меня, какой я ... Я, может, последний из подлецов ... нажрался этих проклятых франчков, загордел, заскорузнул ... забыл, когда и нуждался ... все я забыл, господин капитан ... Только о себе и о себе. А вы последним куском жалуете, последним глотком поите ... а живете, как самый последний нищий! .. и с Георгием! .. Ноги мне ваши целовать надо! ..

Путались слова в слезах и всхлипах.

— Здорово тебе нервы потрепало ... — сказал капитан, — брось разбираться ... Жив? — значит, так надо было. А почему ... этого знать нельзя. Для дезинфекции, может? .. Что вот теперь творится ... для чего это? .. Все, значит, брат, как-то заслужено.

Антонов затаился. Слышались за стенами, оттуда, стуки тупые, раздумчивые, усталые.

Страшное что-то увидал Антонов: очнулся, привстал на ложе и стал креститься.

— Господи, спаси ... Господи ... Здесь вы, господин капитан? .. — испуганно и облегченно, — видя, что капитан здесь, — крикнул Антонов.

— Успокойся ... все в порядке ... — сказал капитан и положил ему на голову руку. — Такое бывало на войне ... пройдет.

— Так точно, господин капитан, пройдет. Бывало такое ... раз было под Лежанкой ... под Екатеринодаром еще, — как от красных нас вырвали. А только, господин капитан, теперь мне все страшно ... Я уж теперь не смогу без вас ... теперь я без вас никак не

могу... как я теперь без вас?!.. и он растерянно смотрел на капитана.

— Хорошо, хорошо, голубчик, постарайся не думать... сказал капитан.

— Так точно, господин капитан.

Взглядом, в котором были облегчающие душу слезы, сказал Антонов капитану все, что могла сказать раскрывшаяся душа его. И сказали они один другому все, что могут сказать люди, которым непостижимой Волей, во тьме кромешной открылся свет.

Август, 1943.
Париж.

ПОЧЕМУ ТАК СЛУЧИЛОСЬ

Все сильней мучила бессоница. Профессор понимал, что это то переутомления, главное — от жгучей потребности « подвести все итоги ». Давно это началось, но в последние месяцы обострилось, в связи с напряженной работой над « главным трудом всей жизни » — « Почему так случилось », а именно — революция и все, что произошло, как ее следствие. Он писал и раньше на тему « философия прогресса », а на склоне дней, — было ему к семидесяти, — явилась неодолимая потребность: « все уяснить », даже судить себя ». Работа увлекала, раздвигалась, терзала. Отсюда, понятно, и бессоница.

Он посоветовался с знаменитым невропатологом. После тщательного исследования — распросами о жизни и применением точнейших аппаратов, бесспорно определеляющих уклоны и поражения нервной системы, невропатолог успокоил профессора: « все поправимо рациональным лечением . . . у вас самая типическая острая неврастения . . . » — и дал указания и средства. Профессор подтянулся, поободрился, стал перед сном прогуливаться — « без мыслей », ел ягурт, принимал назначенные лекарства, ложился в 10, брал Пушкина, чтобы привести себя в душевное равновесие, и, потушив свет, начинал механически считать. На этом невропатолог особенно настаивал, дав маленькую поблажку, выпрошенную пациентом: « ну, раз уж не можете не думать . . . думайте, но только о легком и приятном ». Сон становился покойней, а, главное, прекратились эти ужасные пробуждения « от толчка », ровно в 2, после чего — бессоница и « мысли ».

Но вот, в одну « дикую » ночь, прежнее вернулось: не только прежнее, а с обострением, до бреда.

Профессор лег в 10, приняв успокоительного, взял Пушкина, открыл, как всегда, — что выйдет. Вышло « Воспоминание », где лежала спичка. Он знал это наизусть, но стал вчитываться, выискивая новые оттенки. Вспомнилось, как ценил это стихотворение В.В. Розанов, — называл « 50-м псалмом для всего человечества ». « Правда », — раздумывал профессор, — « воистину, покаянный, но человечество не почувствует изумительной глубины всего: это — наш покаянный псалом, русского духа-гения ». Нашел новые оттенки, томительные три « т »: . . . « В уме, подавленном т-оской, т-еснится т-яжких дум избыток ». Нашел еще три « и »: « Воспоминание безмолвно предо мной свой дл-и-нный разв-и-вает св-и-ток ». В этих « и » чувствовалось ему безконечно-томящая мука « угрызений ». Усмотрел и другие « и » еще больше усиливающие томленье: — « И . . . — с отвращением читая жизнь мою . . . » « И . . . — горько жалуюсь, и . . . горько слезы лью . . . » И это двой-ное — « горько » !

« Но строк печальных не смываю ».

Этот стих он называл « приговором », наступающим неизбежно, неумолимо, — уйти от него нельзя доводами рассудка, а надо принять и . . . что ? — выстрадать ? . . И опять, в какой уже раз подумал: « да, счастливы верующие крепко . . . находят исход томленью в пафосе покаяния . . . и не просто один-на-один с собой, а при уполномоченном для сего свидетеле . . . и, кажется, это верно . . . психологически . . . » Томительно признавая, что « смыть » нельзя, он закрыл книгу и, вопреки советам невропатолога, неволь-

но стал развивать свой « свиток » . . . но тут же спохватился, что не заснет, и принялся механически считать. Перевалив за 500, испугался, принял еще снотворного и заставил себя думать о « легком и приятном ». Как же чудесно было, когда, гимназистом, простаивал, бывало, ночи у Большого Театра, в морозы даже, предвкушая, что, вот, достанет на галерку за 35 копеек, снова увидит « фауста », с Бутенко в роли Мефистофеля. Ну, и басище был ! И как же чудесно-просто давал « чорта » без всяких выкрутней. И правильно: раз тот в такую « розовенькую » втюрился, к чему с ним тонкости ! Именно такой « чорт » и в немецкой легенде, и в наших сказках, — простой, без « демонического ». Вспомнил, как ярким морозным утром сторож, вывешивал, наконец, долгожданную раму в проволочной сетке, с заманчивой розовой афишей, на которой стояло чернейше крупно, радуя праздничным, —

ФАУСТ

Мефистофель —
г. Бутенко

« Бутенко поет ! бра-во ! ! . . пятым в очереди, галерка в кармане ! . . » На этом профессор заснул.

. . . Снег и снег. Сугробы — гора-горой. И — ночь. Крепкая, морозная, глухая. Он стоит на расчищенном от снега месте, будто сцена в Большом, последний акт « Жизни за Царя », без леса только. И вот, — сугроб начинает шевелиться, показывается темный гребешок . . . — изба, должно быть ? Уж и солому видно, вот и карнизик, с « петушками » . . . — старая изба,

такая милая, родная. Так и возликовало сердце: родная, ми-лая! А снег все осыпается, уж и оконце видно — красным пятном, все пламенней. Топится печь, должно быть ... пылает, прямо. Может, щи варят, со свининой, — дух такой, томный, родной, чудесный?.. Да, щи ...и со свининкой! Рождество, вот и со свининкой. И — пирогами, будто?.. с кашей, лучком припахивает... И так захотелось огневых щей... ложкой, шершавой-крашеной. Постучаться — войти?.. побалакать с празднично-краснорожим мужиком, с ребятками пошутить... да подарить-то нечего?.. Порассказать, как там томились по родному... порасспросить, как здесь мытарились... — слава Богу, все кончилось. Такая безумная радость охватила... и — такая тоска! и ... стыд, — так и пронзили сердце. А мужик вдруг и спросит... непременно спросит!.. — «ба-рин... а почему... так... случилось?! ты вон в книгу пишешь а все не то! ты по со-вести пиши... кто довел нашу Расею-матушку до такой ямищи?! до такого смертоубивства?!.. а?!.. нет, ты сказывай, не виляй... кака притчи-на, кто додумался до такого? кто научил?.. а?!! Непременно спросит. Нет, стыдно войти, нельзя.

И все пропало: ни оконца, ни жаркой печи, — высокий опять сугроб. И глухая ночь. И — тоска. А дух от огневых щей и пирогов с кашей так и остался во рту. Но тут другой сугроб, как стена, тоже зашевелился... — черное что-то там, будто большая собака возится, хочет на волю выскочить. И вот, выскочила... но не собака!.. — профессор шатнулся от удивления и страха, — выскочил на «сцену»... Мефистофель! Совсем тот самый, как представлял Бутенко. И грохнул, потрясающе-низким басом:

« Я — зде-зсь ! ..

« Но чего ж ты бо-ишься ?

« Смотри сме-лей — и пригляди-шься ! ..

Страх вдруг пропал, и стало тепло-приятно, как в театре. Крикнуть даже хотелось — « брра-во Бутенко ! би-ис ! ! .. » Но тут пошло другое, уже не как в театре.

Мефистофель заговорил ... Но не бутенковским басом, а скрипуче, с едким таким подтреском, козлиным словно, или вот если бы заговорила ехидная кощенка:

— « Бравов-то уж ты по-сле ... а « биса » у меня не полагается. Ну, по-нюхал ? .. как щами-то со свининкой, пирогами с кашей ? мужицким духом, таким дорогим и ми-лым ... таким родным ? ! А, ведь, в Париже-то ароматы то-ньше, нежней ... нэ-с-па ? .. А-а ... ре-ми-ни-сцен-ции, понятно ! — « И дым отечества нам сладок и приятен » .. ? Брось, ста-ро. Ты поумней же Чацкого, хоть чуть и поглупей моего приятеля ... до его дурости, понятно. Влип в конфетку ! .. самую-то па-тошную ! .. сорвал « маргариточку », и ... сорвался ! Ты в с е постиг, и да поможет тебе Сатана свершить твой труд мироточивый — « Почему так случилось » Для кой-каких поправок я и принял сию прохладительную ванну. Не слишком тут комфортно... хоть и с руки мне, наскучила высокая температура, приятно освежиться. Да и оскомину набила последняя работка, уж слишком ки-сло ! да и запашок ! .. « фантасмагория », понятно, разумею. Дешевка ! дешевое вранье, дешевенький обман безглазый ... и — на готовеньком ! легко и просто, под апплодисменты ! Не говоря уж об ... « апофеозе ли-чности » ! По-думай ... ли-чности ! Такая чудотворная икона, должны бы

истекать ка-ки-е чудеса... а истекло!.. — не стоит шевелить, нанюхался. С тебе подобными преподобными — ку-да полюбопытней. Есть — некая головоломка все таки... игра ума! ведь как трудились, подпарывая т к а н ь - т ю ! Как се-яли... «разумное, доброе, ве-чное...» и... «спасибо вам скажет сердечное...» — но к т о ? ! П о ч е м у т а к с л у ч и л о с ь..?! Навязчивая темка. Ответик у тебя готов... неполный только. Плохо ты знаешь Пушкина! Проглядел пустяк, но... важный. Т о г д а - т о... Да без заглавия, ведь... проглядеть не хитро. Да и — «в скобках! Теперь-то знаешь, спохватился... — «Два чувства дивно близки нам... «хе-хе-хе-хе-хе-э... — теперь и бли-зки да... далеки! Так вот, хочу направить... не из любви к тебе, а так, по долгу... массажиста. Чорт возьми, и я, ведь, то-же... почитываю Пушкина! Ну, что-то в нем... це-пляет. У нас, понятно, под запретом... для зеленцы, — «да не смутятся»,— ну, под партой, как, помнишь, Чернышевского, ошибки молодости? Что теперь сей «дум властитель»! Солома. В Пушкине — остротца «сияньице»... Не думай, по привычке глупой, что размяк, и... «дар невольный умиленья впервые...» — и так далее... ну, поросячьи песенки. Да, стран-но... поросята чертовски падки жалеть чорта! петь «демоническое» и поклоняться. Впрочем, мерси-с на лестном слове. Все вы ужасные жалетели... с прохладцей. А, бай-ронизм! Перешагнули? Ну, что такое «ангел нежный» «в дверях Эдэма»? Ну, сиял... да еще «главой поникшею»! хе-хе-хе, как ми-ло! А что ему делать, как не сиять? Ведь сам же хохотал... не помнишь? я только твои словечки вспомнил, не корежься. Подумать... что я могу к пятнадцитилетке-невинности, с

душком просвирки! Нет-с, я люблю с горчичкой. Но Пушкина почитываем — у-мен! Для тренировки. Надо же знать противника, быть на чеку. Так вот-с, ты все таки полюбопытней « бесов » ... в извивах мысли. Факт, не комплимент. Логика твоя! редкая головоломка, увлекаюсь. Строишь дворец, а выйдет... и чорт не разберет, что выйдет... прорва?.. А труд мироточивый! Судишь себя, а... гимн.

Это задело. Профессор попытался возражать: « моя дедукция, если читают не предвзято, совершенно объктивна... все предпосылки... » — но « Мефистофель », в смехе, перебил:

— А, брось, старо. Я предложу тебе ин-дукцию! Не очень-то комфортно, негде и присесть. Холодок люблю, но несколько повышена температура, сядешь — выйдет грязь. Ми-лая, родная... но грязь. А я, ведь, чистоту люблю, на дню три раза зубы чищу... как-кие! в мои-то лета!.. А, ведь, первая моя встреча с же-нщиной восходит... А, была ка-кая!.. Приятно вспомнить, но, увы, не-по-вто-ри-мо. А знаешь, не махнуть ли нам в... — ты, ведь, ан-тичник! — в Грецию? В Каноссу не желаешь?.. Так поведем ин-дукцию в ан-тичном месте.

Профессор увидал пустую комнатушку, обшарпанную, заплеванную, угарное ведро на глине. Да, Греция... та самая, в которую вступил он, « свободный » с корабля, т о г д а... признал ведро — мангал.

— Комфорт! — мяукнул чорт, болтая руки над мангалом, — античность.

Это был уже не « Мефистофель », а волосатый, желчный, в жидкой бороденке, со скверными зубами, с помятой папироской, в пиджачишке, в бахромчатых

манжетах, серых, в размятых туфлях... — «вечный студент». Напоминал кого-то... кто же он?.. Такое отвратительное что-то... — что же?.. Томило, вспоминалось... нет, не мог. Воняло затхлым... бельем бессменным, прелыми носками?.. Но голос тот же, со снеговой поляны.

— Ки-сло? не ндравится? — скрипнул «студент», мерзкий от внешней грязи, и от другой... иной. — Комфорт в сво-бо-де! Скоро ж ты забыл. А когда-то, — вспомнил? — прилег у этого ан-тичного треножника, в тот неуютный вечер, как же был детски счастлив, как лепетал... правда, коверкая, — «Отче наш»..! — налегая особенно на «хлеб насущный»! Теперь бормочешь и — не веришь! Логика: не веришь, а... прибегаешь. И в меня не очень, а ожидаешь «чортовой ин-дукции»! А, ведь, недурственно, меня-то, Федор-то Михайлыч, представил, а? И анекдотики мои про нос, исповедальню, бретоночку-красотку... Повеселились наши. Да-а, Иван-то Федорыч его... у нас! чиновником особых поручений, сверх штата... масса кандидатов. Как ни вертелся, тогда-то... а признал: аз есмь! И ты... Впрочем, — в твоей манере: и призна-ешь, а не сознаешься. Да, вопросик любопытный есмь? не есмь?.. Так и не решил? Пора бы... Просил... «явлений»? Получи, сполна. Не в силах? понатужься, ну же... Нет в тебе этой русской широты, а то бы..! Правда, и дерзости особой, а так, «логически осмыслив», как тот, «чиновник»... Тепловатый, замешан на водичке. Да, вспо-мнил!.. хи-хи-хи-и... ну, не могу... без смеха... хе-хе-хе-э... ну, обмираю, прямо... хи-хи-хи-и... за... зака... зака-шлялся... ха-ха-а... Недавно... ка-ка... картинку... картин-

ку видел, одного ико... иконо-писца-старовера... хи-хи-хихи-и... «Стра... тот... «Страшный... Суд...» — хе-хе... ты, вылитый!.. Некуда тебя ему девать-пристроить... все определились: один — по-одесную, где там... «сияние» и гимны, другие — в квартирку с отоплением, хе-хе... а у тебя, мой друг, профессор всех наук, такая... хи-хи-хи-хи-и... ли-ко... графия...: — в-тупик! И что же, хитроум, придумал!.. — по-се-ред-ке! хе-хе... ни в тех, ни в сих, а... дерево писнул... о-сину! осину... и тебя-то, дедуктора-то знаменитого, и... привязал!.. хи-хи-хи-хи-и... веревкой!.. не повесил, а привязал... хи-хи-и... как вот кобелька мужик... драть сподручней... хи-хи-хи-иии... До чего же остроумно-едко! Я, прямо, зарукоплескал! за... ло-гику! Что? у Трубецкого вычитал? Но и Трубецкой рукоплескал! за ло-гику. Да как же не очароваться?! Читал твой труд мироточивый — «Почему...» ну, ло-пнул! Приспел в «бессмертные»! науку обессмертил!!! создал... сверх-силлогизм!!!.. — «Все люди смертны: Кай — человек: следственно... «я тут ни-причем»! До-стиг, завоевал бессмертие, ура-а!..

— Откуда ты, мерзейший, взял?!.. — вспылил профессор, — так извратить! все муки... все муки мысли... признаний, совести... все извратить...

— Все муки... с оговорочками?.. То-то и оно-то... и муки совести, а... песнопенья... «вечному порыву»?! а... постановочка, все та же... «вечного вопроса», открывши клапан, предохранительный: «логически осмыслив»?! Хе-хе... Что, нервы?.. закурить..? Прошу... — протянул, мерзейший, — золотой портсигар, с инициалами под чернь, знакомыми: в тоске, узнал профессор портсигар брата-инже-

нера, погибшего. Его любимые, кручонки... помнишь? Без колебаний, не смущайся, как... привет, для укрепленья нервов и... Табак отличный, крымский! Нарочно для тебя украл из «склада», попотчевать. Странно: поместили в отделение «вещей священных»! это портсигар-то, с чортовым зельем, а?! в штанах болтался, и — в «вещах священных» оказался! Ка-ких... Мягко выражаясь, краденых... поснятых с... окропленных этой... жидкостью такой... свя-щен-ной! Тот, «нежный», в дверях-то, созерцанием, что ль, умилился... ну, я, для милого дружка... и щегольнуть приятно. А ты сейчас — дедукцию: «раз даже портсигар его — в «вещах священных», эрго: мой Костя в... непостижимом! Первый точный вывод.

Профессор машинально закурил... — и острая тоска сдавила гердце. И — радость, вдруг: есть «там»! «если даже вещи живут...»

— ...И если ты со мною диспутируешь... — закончил его мысль мерзейший. — А, ло-гика... Нет, ты сверх логики понюхай! Ну, начнем.

— Это внизу дерут, Новый Год справляют Капулари, гречура... дерут псаломчик. Помнишь, как плакал ты... тогда... у этого антик! Хоть разноголосо, дико, пьяно... но ты знаешь древне-греческий, аттический... напевный, э-ти!.. Но раз все прожито, одна паршивая коринка до горклая маслинка! Ты мысленно переводил... и — плакал. Узнаешь мотивчик?..

Профессор узнал псалом, тот самый, как когда-то, на островке, зимой. То был 103-й, псалом «Творения». В душе профессора он преображался в хваление всей твари: безднами, горами пелся, звездами, пустынями морями... всею тварью, чистой и нечистой...

и левиафаном-змием, играющим в пучинах, — всем, что «премудростию сотворил еси».

— Размяк? надолго?.. — хихикнул чорт-студент. — Да ты эс-тэт! Ты понимаешь и величие, хотя бы эстэ-ти-чески... ну, на три с плюсом. На меня, признаюсь откровенно, тоже, действует маленько... такое. Не знал, хе-хе-э..? Слабость, братец, слабость... ре-ми-ни-сцен-ции! порой — всплакну. Знавал я мужика Микиту, рязанского... ну, и заводил он сей псаломчик! Живот, бывало, надорвешь, ежели эстэ-ти-ческий подходец... а ежели по существу... ого-го-го-го-о!.. дале-ко, братец, до Микиты и тебе, и... Он... сему левиафану--змию молился! гимн свой пел! чтил, как священное. Так умилялся, что и его, поганца, создал Бог — в великих водах игратися и безобразничать радостями левиафансткими. Нет, каков?! Так твое-то эстэтство перед таким рязанским всеумилением... ну, что?! Ноль круглый. Пробовал я того Микиту на-зуб, так и эдак... — плюнул. Как же он все коверкал, и — как же понимал... все! Нутром, сверх-логикой! Ведет своей культяпкой по строке — вспотеет: «на-сл-дять... ф-фу... наследять!..» — на «я» надавит! — «землю...» — и сокрушается солящими слезами орошает затертые странички... сокрушается, что... земельку-то, священную... всю-то наследили, запакостили... во-как! И за загаженную молится. Он «аще» и «абие» за тайно-священное принимал: заслышит — осеняется. А как — «паки и паки»... — об пол лбищем, от умиления! По-нял, дурак? Это — мой комплимент, не корчись. Ну, пошли к чорту, да тут останусь, по ло-гике. Так вот, постиг теперь, что есть — сверхлогика?.. Теперь — к «симфониям»...

Профессор закрыл лицо руками, постигая что-то, сокрушаясь?.. Как же он не понимал такого... раньше... тогда, тогда?.. И вдруг, во-сне... — он сознавал, что это с ним — во сне... — все понял! И как же просто — все!..

— Что, очертело? хочется скорей уразуметь — «почему так случилось»? Понятно, что теперь... «так просто»! А вот, в «симфониях»... совсем осмыслишь... ну, мо-жет быть, осмыслишь, не утверждаю. Ин-дукцией, на-водкой.

Ах, концерты..! как ты любил их Благородное Собрание, этот «колонный зал», ан-тик! и — «величаво-царственная», как выражался, будучи еще студентом, — «Симфони Эроик», Бетховена... всякие квартеты... эс-моли эти... Моцарт, вдруг всеми завладевший Вагнер... даже и Бах, «хвалитель»! Ну, Шопэнчик... мечтами умягчавший, манивший недосказанной грустью... особенно его «вальс — 3»... — стремления, исканья... нахожденье! Чайковского — смотря по настроению... но «Патетическая» уносила. Та, ну... этот, «12-й Год»... не очень, так — «жужанье»... помнишь свое «словечко»? И понятно: хоть там и есть заветное, «марсельское»... — «ах, если б!..» — не мыло, а «взмыв» такой, влекущий... но!.. — там это, ладанное это... из панихиды и молебна, что ли... и это... ну, «на славу»... ну коронное... ну, некий запашок, квасной... Я тоже посещал концерты. Музыка... она, брат... почитай Толстого, — будит страсть. Старого Льва мутило. Попотел я с ним, а сбил-таки, на «Крейцера»! — переперчил он... сам не сознавая, а... подтолкнул, у многих слюньки накипали... да что поделать, темперамент! С каким зарядом ты выходил

под звезды, под тот горох пылающий, январский! как вскипал приливно — «се-ять, се-ять... разумное, доброе, вечное...» — и призывал извозчика... и чем-то троглодитным, опосля «симфонией»-то был для тебя тот «ванька»... но как же без него, хоть и с «зарядом»? Я провожал тебя, и, тоже подогретый, я шептал тебе, я умолял тебя: «сей, сей, голубчик... больше, гуще... что выростет!!!...» И... выросло: Ты напевал под визг полозьев — ...

«Белин-ского... и Го-голя

«С база ра по-несут!

— И все, базары, провалились и мужики, и симфонисты... все разбазарилось. Кричи «ура», — взо-шло! Хе-хехохо-э... взошло, взошло, взошло-о-о-о!..

Споем, споем куплетик:

Мерси — не ожидал!

— И что же... мужик-то тоже... любил «симфо нии»! Что пучишь глазки? Не вихляйся, о-тлично понимаешь. Понятно, не Бетховена... но были у него свои «симфонии». Не ухом — всем нутром вбирал и даже брюхом, — распирало. Не портсигар, а... умилился. Коль на-чистоту, так вот, поведую: ему, во тьме и грязи, его-то... с загаженной землишки, открывалось... ну... да, открывалось!.. небо! приходится признаться, — весь универс! Да мне ли, чорт возьми, не знать, раз я всегда таился на его «концертах»! ну, сбочку, ну — там, где метлы... И, ведь, свободно, без билетов, сколько влезет. Миките-то... — ишь, хе-хо... как я его жалею! — грудищу распирало «симфонией», и во-зно-сился он! Да, чоррт возьми, он возносился. Да, да, в вонючем полушубке, в валенках, — и возносился! порой и пья-

ненький маленько, а... возносился. Ну, ты понимаешь... — «и в небесах я вижу...» и тому подобное. Это для пояснения, понятно, отнюдь не в утверждение, нэ-с-па? А? может быть, между нами, там — пустышка, а? Что? можешь утверждать?.. Блажен, кто верует... тепленько ему будет на том свете ...хе-хе-э И воспретить так возноситься — никто не мог. Пред «вознесеньем»... нечего таиться, я пасую. И вот, твой «ванька»... — знавал таких, — за день намерзнется, брюхо чайком попарит, лошаденку на постоялку, а сам — либо к этому... к Миколе-на-Пузырках там, где хор «васильевских», либо — где «чудовские», в Чудов, в Успенский, к «синодальным», а то — под Золотую Шапку, где, ради славы — вот поди ж ты! — певали и солисты из Большого, Хохлов, Бутенко-с... Собинов, потом, Смирнов... Ммда-с, пе-вали. И, ведь, прознавал, безглазый, в полпивных, в трактирах, где будет нонче «симфонический концерт»! М-да-с, певали... слыхал-с... м-да-с, Бортянского, номерок 6-й-с... т у, «Херувимскую»... — он и к обедням шмыгал. А вот, как «синодальные», за всенощной... дрожью пробирало Микиту-«ваньку»! Раз как-то... нервы, что-ли... — полная капелла, один-то голос! — «Слава в вышных»... — ну, ей-ей... ну, вознестись хотелось... — ре-ми-ни-сценции, понятно. Ты подумай: в метлах-то сидя, в морозе, за дверьми, — и вознестись! М-да... слышно силу! А «ваньки», прямо, обмирали, возносились, забывали все. А вот Рождество... бывало, грохнут «С нами» и проч... — «разумейте, языцы, и покоряйтеся...»! — так грохнут, что у «ваньки»-то мороз по коже, и вознесется он под самый кумпол, к Самому... помнишь, там, в

Храме, Репин, что ли, на спинке лежа, чуть ли не полгода мазюкал. А-пропо... это «покоряйтеся» даже и у нас, там, некое трепыханье вызывало! между нами, — шатанье даже мыслей... — «покориться»? Понятно темперамент... из-за темперамента вся и «пертурбация» случилась... эти «вверхтормашки»! И никто Миките-«ваньке» не воспретит так пре-возноситься, нельзя. Так сказать, философски, — преодоление всех полпивных, трактиров, кабаков и прочих благ материальных. И даже... жертвоприношенье! Ведь за эти «вознесенья»-то седок не платит. Да, никто не воспретит... разве мундирный сторож в соборе важном носом поведет и — «вперед не оченно, не проедайся, уж больно во-здух...» А вознесенный и не слышит, — вознесен! И вот, все это... ты, у него, украл.

— Как..? как я... что...?!.. — даже вскочил профессор, — как я..? как, у... у-крал?!...

— Хе-хе-хе-э... ма-хонький, не понимает!.. разжевать прикажете? Извольте-с. Сначала помаленьку обворовывал, потом... «двоюродные» начисто... хе-хе-хе-э... все обобрали. Помолчи, сейчас индукция... хе-хе-хе-хеэ..!

— Подлец! фальсификатор!.. шулер!.. лжец!.. — пробовал покрыть скрипучий мерзкий смех профессор, — так все... извратить!..

— По ло-гике... и лжец, и шулер — ты, моншер... я только переписываю мысли.. твои, но... ах, инти-мнейшие мысли «рундучков подспудных»! — или, как говорится, — подсо-зна-ния! Спишь ты? Так хоть во сне будь посмелей, раскрой коробочку, где пребывают «угрызенья»!.. Духу нет? Придам я духу, подставлю зеркальце. По-стой. Помнишь, как

после « Героической », в запале, — « к звездам ! к звездам ! ! . . » — из « Брандта », твоего героя ? А старикан-извозчик, на эти « звезды », так себе умильно: « да, барин . . . чудеса Господни, не сосчитать . . . да-а . . . выше Бога не будешь ». По неразвитию, понятно. А ты ему, в запале « все сосчитаны, и каждой дано имя ! » — ну, се-ешь . . . — « а про Бога . . . еще неизвестно, есть ли ! » Понятно, по неразвитию, так сглу-па. А старик — « ето мы от господ слыхали будто им неизвестно . . . » — а, ка-ков ? ! — « только нам без внимания . . . не-эт, выше Бога не будешь ». Крепкий старик попался. А вот, « воробьев » берет, сумление родится . . . потому народишка до энтого « вопроса » падок, пытливы, подлецы, даром что грамоты на грош с полтинкой. Вот и прикинь статистику: « сеятелей » таких, ну . . . сколько за день на одних « ваньках » протрясется, не говоря, о прочих и-и . . . упражнениях ! Ну, и раскачивали помаленьку, подпарывали, т к а н ь - то. Ты-то из любвишки, прохладной, к слепому « воробью », « во имя просвещения », понятно . . . и с т и н о й поделиться, а сколько было спецов, сеяло по штату и наградным ! Чай, прекрасно помнишь, как один туляк-извозчик, лет 20 парнишка . . . « подвел итог » ? Я же и веревочку подсунул. И, представь . . . из-за « вопроса » ! Ну, прознай Европа . . . вот бы гогота-ла ! Тут прочная прививка, дезинфекция, Декарты . . . тут т а к о е, из-за « вопроса » . .. абсурд, непостижимо ! ну, недостижимо . . . наплевать. И начаряпал на пачпорте: « прашу никаво не винить, а как тапери всее раскрыта, шта Бога нету, да-к мине скушно . . . и порешилси ». Вы тогда доклады все читали, во всяких обществах, философы-психологи-криминалисты, психиаторы, социологи и чуть ли

даже не геологи . . . — ведь, троглодитным пахнет ! — анализ углубляли: « глупость или психоз ? » И никому в башку не влезло — да глупость, — чья только ? . . Так, по мелочишкам, и своровывали, со всех бочков. Подпарывали ткань-то, « устойцы » - то шатали. Тот-то порешился, а другой на что иное уж решился, как взошло-то. Голому-то дождя не страшно.

— Чур, не перебивать, сейчас . . . ин-дукция. Был ты студентиком, зеленым. Помнишь, перехватывало в горле как на « Татьяну » заводили — « Выдь на Волгу » ! Старикан-лакей, при « Эрмитаже », говаривал: « как до градуса дойдут, выть на Волгу пойдут ». « Клянусь кишками Вельзевула и пупочком Сатаны ! » — тоже распевали ! — прелестней песеньки и не найти. Вот это так . . . « Парадный . . . По . . . двох » ! Сколько любви-то, скорби . . . гррудь теснило, пересыхало в горле, требовали — пи-ва ! . . больше пи-ва ! ! . . — « пе-эй тоска пройде-от . . ! » Ну, с чем сравню . . ? ну, « Плач Ярославны » ? ! — меньше не уступлю. Что за картина . . . Айвазовского ! И — « свесив русые головы к груди . . . — это Микиты-то ! . . и — « крест на шее и . . . кровь на ногах, в самодельные лапти обутых » ! . . Видал когда-нибудь, ну, хоть раз в жизни . . . кр-ровь на ногах у онучников ? ! А чтоб скорей всходило — дрожжей ! дрожжей ! ! . . Ты им от Пиронэ не выписал, плакучий ? Ну, и пошлепывают в « самодельных », — привычно да и гигиенично, нэспа ? Ты вон в Крыму в каких поплясывал, а все не разберешься, « почему » и прочее. Ну-с продолжая « Плач » — « и пошли они солнцем . . . па-ли-мы . . . » Хе-хе . . . для рифмочки ? раз уж « пилигриммы », катай — « палимы » ! Все слопают. Подумать, что за муку терпят « пилигриммы » ! от солнышка ! Хоть бы

какой зонтишка, что ли... ведь, для Микиты это гибель, солнечный у-дар! Скорби, несчастный!.. Пива, больше пи-ва!!.. залить, залить!.. И, сталоть, сенокосная пора, либо жарынь июля..? Да в страдную-то пору будет тебе Микита по подъездам шляться, хоша бы и «парадным»! А каков финальчик «стонный»! И под телегой-то, и под овином, и под стогом... ну, стон и стон. Нам чертям от сего «стона» стало тошно, «гофманские» принимали, мятные пряники жевали... всетаки у нас есть мера. Ну, ты был глупее воробья и верил. А не верил — так жульничал, только бы «стон всеобщий»! Но, ведь, и седобрадые вторили! И допелись таки до стона таки-накликали. «И пойдут, побираясь, дорогой, и... засто-о-онут..!» Извини, тошнит. Пропили все, идут и... сто-нут. Видал? слыхал? А создатель то праведный заверяет «родную землю», что «такого угла не видал, где бы русский мужик не стонал». И сейчас осведомили все «европы», где никаких «стонов» никто, понятно, никогда не слышит, и все «европы» поверили и ужаснулись, сейчас же отпечатали ярлык и наклеили, куда нужно, согласно любви и благородству, и, содрогнувшись, стали помогать посильно — «сеять разумное, доброе, вечное». И ты поверил, что так он именно и видал? «Такого угла не видал», а за дупельками-то к «стону» хаживал? А Пушкин вот не видал. «Сват-Ивана» видал, и старуху взбалмошную видал, и все видал, и все знал, а... вот не «стонал». Помаленьку и получилось, «почему так случилось», — пардон за каламбурчик. А как «стоном-то все стояло», хлебушко копеечка фунт был, «стон» — то землицей обростал, железцом покрывался, пил чай с сахаром и человечины не вкушал, и... мог даже, чоррт

побери, и возноситься. Ну, в Менделеева, что ли, заглянул бы . . . кажется, не дурак же был. Да-а . . . как Фет-то « стоножалетеля » и « стонопевца » разделал ! Я, я даже восхитился, сейчас же ему визит, да попал не совсем в приличную минутку, тот уже в дальнее плаванье пускался, и только взглянули друг на дружку. Он, вдруг, с чего-то испугался, в ужасе прохрипел, показывая в угол, где я присел с визитом . . . — « он . . . там ! .. . он ! .. . » и . . . Но тут явное недоразумение. В общем, все таки, ты терпим, но . . . как поумней бы, что ли, а то очень уж неэстэтично вышло: возносили дворец до неба а вышло . . . мокренькое место. Какая мне с тебя корысть ? Ну, хоть бы на копейку « божественной гармонии », дерзаний перед Самим . . . — было бы, над чем стараться ! а то — « на-побегушках », платок сморкательный ! Чур, одну минутку . . . Микиту обработать — игра свеч стоит, и было б, с чем предстать пред лмя пославшим. А с мокреньким . . . фи, donc.

Стой, подлец, вспомнил ! . . . — с яростью вскричал профессор, — ты — Сенька Хоботков ! юриствторокурсник . . . шапку украл со сбором по партам мы тогда пускали, на семью жертвенного Каляева ! Я тебя в тот же вечер, циник . . . негодяй . . . в ресторане Саврасенкова видал, в новенькой тужурке, с « Разлюли-Малиной » ! . . на святые деньги, ты жрал отбивную котлетищу с горошком, запивал, портером ! . .

— Ффу-ты, что за гениальный блеск памяти ! даже . . . до зеленого горошка ! . . . А все забыл. Допустим, я в этой благородной шкуре, хоть ты прекрасно знаешь, кто аз есмь. Ну, у кого острей ? . . У Саврасенкова — да, с « Разлюли-Малиной » — верно . . . с коей ты, накануне, в « Малоярославце », на

святотатственное-краденое, изволил кушать: осетринку по-американски, сотэ из рябчика, почки в мадере, клубничку со сливками... и орошал сие сухоядие портвейнцем и коньячком с абрикотинчиком... даже «Разлюли-Малина» ужасалась, теребила за мундирчик и вопрошала: «и де ты, андел, накрал на столько? иль упреподобил старушонку, как Расколкин?..» Погодь, не все, ягодки еще к дессерту. А заработал все сие в поте своей душонки... Сто-ой, мироточивый! У богатой тетеньки проживал, на маменьку выклянчивал — «ах, больная, в глуши, нет даже на лекарства...» — «Ах, на пошли...» — две красных. «Пошли» — на «Разлюли-Малину», нэ-с-па? Душеньку твою спасала, тянула на веревке в церковь, — упирался. И заключили вы условьице, тетенькину душу успокоить: за всеношную — рублик, за обедню — вдвое, чтоб на ее глазах выстаивал. Сто-ой... И ты, овечка погибшая, выстаивал... для рябчиков и почек, абрикотинчиков, «Малин», «Фру-Фру», и проч., и проч., и проч.... Нет, чур, не все. «Двунадесятые» — тариф двойной. «Великие» — тройной, а «Праздник Праздников» — за разовый сеанс по красной?! А как те, «окаянные» наступят, — твое бомо? — ну, покаянные... тут уж Клондайк, Голконда, «радугами» блещет. Что мироточивый, померк твой блеск? и у меня не притупилась, а?!

— Все преувеличил, негодяй... все извратил!... — вскричал профессор с острой болью, — было... пустяки, как шутка... надо ж так заплевать все!... Я давал уроки, посылал матери... эти «службы», для успокоения религиозной тетушки, которая столько для меня... отнимали время... я не мог все на ее плечах... давал уроки... и она, поняв, мне помогала

добавляла... Все извратил гад!.. Да, я не верил, вынуждал себя... для ее покоя... только для ее покоя, а не для... извратил, подлец! извратил, как все!..

— Ну, игра ума, а суть-то таже. Что?! Глазки в передничек, как «папа-мама»? Постиг ин-дукцию? Но я великодушен. За «по-бегушки» для меня, вот, три презентика, обогащайся. Первый: ты вдрызг бессчастный и посему бессилен оплодотворять... дарю совет: лечись! да вот, досада... слишком поздно. Второй: займи хоть у Микиты на монетку его сверх-логики! ах, нет под-рукой Микиты! И — последний: свешивай почаще русую... пардон, седую! — голову к груди, где инструментик... «угрызений» им меряется, говорит, все очень точно! но... — анкор эля! — там так же пусто, как в этом логове, ан-тичном, хе-хехехе-э...

Профессор проснулся от «толчка». Часы указывали — 2.

— Ф-ф... ко-шмар... — с трудом передохнул он, нашаривая нервно папиросы... где они?!... — Ффу... грязь какая!.. — и стал креститься.

Весь дрожа, он сунул ноги в туфли, надел, халат. Но... что же надо..? Вертелось в мыслях, что-то надо было... что-то сделать... что?.. По привычке, он подошел к столу, «занести мысли». Узнал свою работу, стал листать, привычно-бегло... и, вдруг, найдя что надо, схватил перо и, в дрожи, прорвав бумаги, написал размашисто, во всю страницу — ЛОЖЬ! Сгреб комом, бросил об пол и стал топтать. И повторял, как исступленный задыхаясь... —

— К чорту!.. к чорту!.. к чоррту!..

« МИСЮСЬ » И « РЫБИЙ ГЛАЗ »

Письмо о русских женщинах

...Редко я отвечаю читателям, но вам отвечу: вы иностранец, а дело тут о нашем большом писателе.

В рассказе А. Чехова « Дом с мезонином », названном в немецком переводе — « Мисюсь », вскрывается очень важное, — о мироотношениях и путях жизни: по уму, и по сердцу; и читателю образно открывается, какому пути отвечает художественная правда Чехова.

Вы заключаете, что Чехов признает правоту Лиды. Я попытаюсь показать, что это не отвечает художественной правде рассказа.

В послесловии к сборнику — « А. Чехов » * я привел одну из сцен рассказа, где намекается чеховская п р а в д а; а ясней она проступает в последней сцене художника-пейзажиста с Лидой, и в « диктовке ».

Можно ли приписать чуткому Чехову, что он признает правоту за Лидой ? правоту ее отношения к свободе чувства, духа ? Чехов и имя-то ей дал, хладно звучащее по-русски: сочетание в ее имени « Л » и « Д », дающее звуковое впечатление слова Л е Д, вызывает ощущение холода. И, действительно, Лида в рассказе — « леденая »; немцы зовут таких « рыбий глаз », « фиш-ауге ». На такой « лиде » поскользнешся, из « рыбъего глаза » их веет мертвящим холодом.

Как дал Чехов Лиду в последней сцене ? Дал

---

* Anton Tschechow. Meistererzölungen. Herausgeber von Iwan Schmeljew. Manesse Verlag. Zurich 1946.

окарикатуренной, усмешливым глазом скользнув по ней.

Что сделала Лида? Расправилась с судьбой сестры, — с полуребенком « Мисюсь », и с матерью. Она давно запугала их, придавила своим авторитетом, властностью, « умом »; и они вручили ей покорно свою волю. Они до того подавлены « диктатурой » Лиды, что даже в важном вопросе личной жизни, где решалась судьба « Мисюсь », ее счастье с любимым человеком, они рабски покорны ей: Лида куда-то их убрала, распорядилась ими, как багажом — отправила куда-то, срочно. Она за « Мисюсь » решила, « своим умом », что для « Мисюсь » счастья с художником — « пейзажистом » быть не может, и самовластно распорядилась судьбой сестренки. Срочно-нежданно выпроводила ее из дома, без всяких объяснений с влюбленным в нее художником, и твердо уверена, что так, именно, и надо: она знает, что делает, ибо она все знает. Разбила родное счастье, и до того спокойна, что может тянуть рутинное, — обычную в ее расписании « диктовку ». По ней это означает: делать дело, выполнять долг, учить. При таком разгроме семьи — диктовка! Не ясная ли усмешка Чехова?! — заставить Лиду диктовать деревенской ученице басню Крылова — « Ворона и Лисица »: о глупости и тщеславии. По басне, Ворона осталась « в дурах »; по рассказу — осталась « в-дурах » самоуверенная Лида. Тут — прикровенно вынесенный ей вердикт. Одним словечком « ворона » Чехов дал всю ее, с вороньим ее умишком, с ее самолюбованьем: усмешкой скользнул по ней. И читатель обязан понять эту усмешку: этого требует искусство.

Мало того: Чехов, в конце рассказа, приоткры-

вает, с кем он душой, и подает надежду — в словах рассказчика-пейзажиста, — на встречу с утраченной « Мисюсь », — тонким упоминанием « зеленого света » в мезонине, этого « грюне лихт », — цвет надежды! Нежная грусть этого « конца » не может обмануть читателя в выводе, с кем же Чехов. Надо только уметь читать, а это не малое искусство, особенно для читателей не русских: Чехова и свои-то вполне не знают: слишком он прикровенно-целомудрен.

В этом небольшом рассказе дано большое, — показаны два мироотношения, два пути творить жизнь: хладным умом, «надуманно», и — вдохновенно вслушиваясь в сердце. Впоследствии я ограничивался намеком, указав на глубокий библейский символ — « Два Древа ». Читатель сам наполнит намеченные формы: Чехов дал все для этого, своим мастерским искусством.

Что такое « Лида » в русской жизни? Редкий довольно образец, каррикатурно дававшийся литературой нашей: так этот тип несвойствен характеру русской женщины.

Русская женщина, русская девушка... — носят в себе великий дар: большое сердце, тревожно-чуткое. Русская женщина... — нежна, мечтательна, жертвенна, принимает жизнь, как священное. Это она творит жизнь, это она выносит бремя испытаний, хранит « соль жизни ». Наша литература ею прославлена. Сколько чарующих образов матерей, жен, бабушек, нянь, сестер, невест... у Тургенева, Достоевского, Гончарова, Толстого, Лескова, Чехова, Мельникова-Печерского... и, конечно, у нашего Солнца — Пушкина! Есть и « Лиды », но почти все они подчеркнуты, окаррикатурены, — все они как бы сбрасываются с жиз-

ненного счета. « Русская женщина » — у иностранцев — получает значение особливости — душевной сложности, загадочности, неопределенности, как и пресловутое наименование — « ам сляв », — и это свидетельствует о наличии ч е г о - то, еще непонятного, неузнанного, что в н е привычных мерок. Быть может этим « чем-то » — творчество жизни с е р д ц е м ? — и отмечается предназначенье наше — о с в е т и т ь и о б н о в и т ь Жизнь ? о с в я т и т ь ее ? ! ! ! Это заветное таится и в большой литературе нашей в искании нами Идеала. Мы не миримся с привычным сущим, мы ждем и — и щ е м .

И так понятно, что чуткий Чехов, как и его пейзажист-рассказчик, грустит по утраченной « Мисюсь » и призывает ее — « Мисюсь, где ты ? .. »

А « Лиды » . . . — таких — баб — называют « дуботолками », про них шутки как, наприм. про упрямую старуху, которая, в трясине, хоть высунутой рукой кричит и кричит свое « стри-жено ! .. » — и стрижет пальцами: « не брито ». Таких народ зовет метко — « голова воронья ». И хоть ты им кол на голове, они все свое будут « дуботолить ». Вот, про « ворону » — то и Чехов . . .

Эти « Лиды » — маленькие и узкие, с усохшим сердцем, упрямые. Их когда-то именовали кличкой « синий чулок », « передовая ». От такой-то « передовой » педантки, сбежал в приключения герой чеховского рассказа « Дама с собачкой ». Такие бесплодят жизнь и никогда ничего не создают. Такие всплывают в революции, и тут они прямолинейно-тупы, нередко одержимы. Людей будут годы удушать, вгонять в надуманные формы гнуть в дугу по придуманному плану, а « рыбьи глаза » как ни в чем ни бывало, будут

продолжеть: « Во-ро-не где-то... Во-ро-не... » Написала ?

Пушкин сказал: « глупец один не изменяется... » Он был умен, свободен — и « изменялся » Тоже и Чехов. Рационалист он нашел силу открыть себя. Его « Дом с мезонином », не был глубинно понят, как и немалое из его творений. Вдумайтесь, каков его суд над ему подобными, — над профессором, в « Скучной истории », над Рагиным в « Палате № 6 ? ! Оба — врачи, как он.

« Рыбьему глазу » все равно: он и в трагическом будет долбить свое « воронье », скокойный, уверенный, что делает важное для жизни: будет диктовать « Ворону », будет диктовать и из прейс-куранта, и из « политической программы ». К счастью для русской женщины, политика не берет ее: это область малого ума, — не Разума, не сердца. Русская женщина призвана творить, а не мертвить: она — сама Жизнь, священное.

Вот почему так притягательна власть нашей большой литературы, которая мало еще понятна миру, несмотря на интерес к ней: она зовет к священному творчеству жизни, показывая созидающие силы. Творит разумом сердца, творит даже через этих « Мисюсь »-полудетей. Такие-то, чистые с большими открытыми на мир глазами, и выносят тяготы жизни. Для таких « Мисюсь » — жизнь есть некое таинство, и они, как евангельская Мария, живут в себе, внутренним созерцанием, и это внутренне, без думы о нем даже, проводят в жизнь И этим живят ее. Без них — оледенеет она, станет — как « рыбий глаз ».

Напечатан в « Русской Мысли »

Июнь, 1947.

ЗАМЕТЫ...

1. — «ВРЕШЬ, ЕСТЬ БОГ...»

Никогда я не заводил записных книжек: не было терпенья — воли записывать. Думалось, — удержит память, чему надо удержаться. Теперь жалею: много пропало слов и мелочей. В этом рассказе какие-то « слова » уплыли, — лиц, пожалуй, « исторических ».

Рассказывал мне Вересаев, автор « Записок врача », в Москве, летом 22 года. Рассказывал со слов шурина, Смидовича, видного большевика, Смидович только что был у Троцкого, в «Ильинском», былой резиденции вел. кн. Сергея Александровича. По Вересаеву, шурин возмущался происшедшим: « чорт знает... престиж роняют, дурачье ! »

Не помню точных слов Вересаева, а он делал « примечания ». Говорил не только о сыне Троцкого « выкинувшем штуку », но и о детях шурина: « ахают, какие вызревают « фрукты » ... сами родители не сладят ». Подробности о « фруктах » ускользнули из памяти: что-то совершенно дикое, в отношении к людям, к жизни ... — « очень далекое от « идеалов » папаши ».

Вот, что случилось в посещение Смидовичем « Ильинского ».

Сын Троцкого, мальчишка лет двенадцати, завел « потешных », как Петр. Разумеется, с одобрения отца. Все к услугам: верховые лошади, оружие, средства ... — имперского масштаба. Без сверстников, хоть и подвластных, скучно. Мальчишки и девчонки с. Ильинского ходить к « барчуку » боялись, не как их отцы и матери, бывало приходившие играть к де-

тям вел. кн. Павла Александровича. Сдерживали и родители: « нечего вязаться с ними ». Родителям, говорят, внушали: « к вам, дурачье, идут навстречу... теперь ра-венство! » Стали приманивать сластями. На сласти потянуло: набралось человек двадцать, мальчишек и девчонок. Троцкий-младший командовал: говорил, следуя примеру, « зажигательные речи », « объезжал фронт », ему отдавали честь. Троцкий-старший любовался. Ружейные приемы, маршировка, построенья, стрельба, атаки ... — как полагается. Было и обучение « словесности ».

На одном из уроков командир объявил, что — « никакого Бога нет ». Это уже слыхали. Из церкви с. Ильинского уже были изъяты « ценности », но церковь еще не закрыли, народ молился, и ребят водили. Кой-кто отбился, по словам батюшки: после рассказа Вересаева я был в с. Ильинском.

А произошло вот что.

Командир объявил, что завтра он на опыте покажет, что — « Бога нет ».

— « Завтра все приходите, увидите! »

Ребятишки ли испугались, или матери им заказали, но только на « опыт » пришло лишь человек пять.

— « А где же все? .. »

— « Мамки не пустили ... и боятся ».

— « Дурачье! .. »

Повел на « княжью пристань », на пруд. Велел садиться в « княжью лодку ». Посажались. Велел грести на середину. Пруд большой, глубокий. Выплыли на середину, ждут, с опаской. Командир — бесстрашный. Поднял с сиденья крышку и вынул ... икону Богородицы, — « великокняжескую », возмож-

но: великая княгиня иконы почитала, много их было у нее в моленной: возможно, что во дворце некоторые иконы сохранились к водворенью Троцкого.

Увидав Икону, ребятишки притихли. Командир смеялся:

— « Что, струсили ? ! .. А я вам докажу: утоплю икону, — и ничего не будет ! На деле убедитесь, есть ли Бог ! .. »

На глазах всех, притихших, сам обвязал икону сахарной бичевкой, на-туго, а к концам привязал кирпич: обвязал крест-на-крест, попробовал, крепко ли бичевка держится.

— « А теперь глядите... Раз, два, три... пали ! »

И — бух ! .. — швырнул Икону в воду.

По словам батюшки — « ахнули ребята ! » Сидели, вероятно, — « ни жив, ни мертв ». Может быть — наверное даже, — ждали: « как же Бог-то .. ? ! .. »

Расходились по воде круги ...

— « Что видали ? ! .. » — крикнул командир, окидывая все победно, — « Вот вам, дурачье, нагляднейший урок, что никакого ... »

Но не докончил: вы-плыла Икона ! Это удостоверил сам Смидович своему зятю, Вересаеву. Правда, удостоверил, без смущенья:

— Разумеется, кирпич сорвался или оборвался ».

Пусть так. А, на глазах ребят, Икона вы-плыла.

Тут самый должно быть, бойкий крикнул командиру:

— « Врешь, с ... ! ... » — с прибавкой, буквы « с »: — « Есть Бог ! .. »

И — командира ... в-ухо. Возревновал. Тот досмерти перепугался, смотрел на воду.

Икона, обвязанная, как была — «сияла в солнце».

Так говорили ребятишки, — передавал священник. Командир, все смотрел... Но все-же осмелел, велел:

— « Греби к иконе ! . . »

Но гребец вел к берегу... только не к « княжьей пристани », а к дальнему, откуда ко дворам поближе. Как не взывал командир — «к нам, чорт ! . . к нам ! . .» — лодка плыла своей дорогой. Ребятишки повыскакивали еще до берега, помчались — кто куда.

На другой день « во дворце » узнали. Было следствие. Смидович при сем пристутствовал. Троцкий был взбешен, обругал сына дураком. Про « ухо », будто бы, сказал: « так дураку и надо . . . достиг обратного !»

Пруд весь изъездили. Иконы не нашли. И не мудрено: ночью ее п р и н я л, вплавь, на середине пруда, матрос-порт-артурец, — поведал батюшка, — отец возревновавшего мальчишки. Где та Икона — неизвестно.

Время придет — о б ъ я в и т с я.

Май 1947.
Париж.

2. — ЯСНОВИДЕЦ

Лет за пятьдесят. Москвич. Много читает, мыслит *по-своему*, не проторенными путями. Вдумчиво-замкнутый, — как бы вглядывается в *свое*.

Помню говорили о Москве, о некоем астрологе, который собирается ехать туда невдолге. Мой собеседник, что-то вдруг уловивший в *себе*, прерывает разговор и как бы вспоминает:

— Да . . . почему-то ему так видится по гороскопу. Таинственная область . . . Конечно, странно эта . . . — « невдолге » ! . . Но вот . . . как вы отнесетесь к одному случаю из моей жизни . . ? Впрочем, не один только случай: были еще. Что мне . . . лет 17-18 было, до войны. Жили на даче, в « Богдановке », близ Кунцева, под Московой. Дня три, как переехали на дачу. Никогда раньше здесь я не бывал. После уже узнал, что все это место — бывшая вотчина Нарышкиных, по р. Сетуни. У Забелина есть книжка « Стан Сетунь » . . . — тут уже прочел ее, — про вотчину Нарышкиных.

— Помню, гулял я с родными по р. Сетуни, в старой березовой роще. Тогда я учился в училище Живописи, Ваяния и Зодчества, интересовался архитектурой XVII века. Не помню, о чем я тогда думал, на прогулке . . . об историческом, кажется, не думал. И вот, кто-то из компании говорит: « смотрите, какой странный камень . . . будто могильная плита ! » И я вижу, шагах в пятнадцати, в березах, длинное возвышение, как плита, темнозеленое, мшистое . . .

— И, вдруг, ни с того, ни с сего, *выкрикнулось из* меня ! . . — вот, именно, без всякой мысли об этом, невольно как-то: « это боярина Матвеева ! . . » Выкрикнулось совсем спокойно, без колебания, но и без

уверенности... совсем непроизвольно, безразлично, *свободно*, отлично помню и сейчас, что — совсем свободно. Все засмеялись: — «он и на похоронах был!..» Но заинтересовались, обступили «плиту». Она крепко поросла плюшевым мохом, густым и гладким, каким обростают камни в сырых местах. Все стали отдирать мох, смеясь: «что тут за «Матвеев»..?» Давний мох отдирался туго, с подтреском, клочьями, как шкурка. И я ревностно отдирал, как бы *ища*. Действительно, — плита, и проступили высеченные крупно буквы... мы могли разобрать лишь — ...МАТВЕЕВ... — другие знаки были неразличимы. Все закричали: «он знал раньше!..» Я был очень изумлен, почти смущен: *как* же я мог узнать?!

— Я стал говорить, что мох старый, десятки лет рос, конечно... как же я мог знать!.. в этих местах я не был никогда до сего, только три дня, как переехали на-дачу, вместе мы все гуляли!.. Мне не верили: «Как-нибудь да узнал... вычитал!..» Я божился, что не знаю даже, где «боярин Матвеев», и какой «Матвеев»... знаю только, что был в XУII веке боярин Артамон Сергеевич Матвеев, образованнейший для своего времени. И только. Впрочем, никакого значения моему «открытию» не придали, и сам я скоро забыл об этом.

— Но вот, другой случай. Только не из минувшего, а из... *будущего*. Мой отец не мог спать без лампадки: сейчас просыпался, как только лампадка гасла. За галлиполийским маслом надо было на Никольскую, в часовню Пантелеймона. Гарное же масло горело не всегда хорошо. И вот, отец велел приладить в лампаду... — а лампада была большая и глубокая, перед семейным киботом... — электрическую лампоч-

ку, какие светят на елках. Насыпали в лампаду гречневой крупы, в нее и воткнули лампочку, глубоко, чтобы невидно было. Теперь отец мог спокойно спать.

— Как-то сказал я маме, совсем не думая, почему так говорю: « мама, а ведь может случиться ... вынем мы эту крупу, промоем и съедим ! » Она, помню, сказала: « какую ты чушь говоришь ... » Мне даже стыдно стало, — действительно, чушь. И вот, революция, большевизм, голод. Мы вынули из лампады крупу, промыли и сварили кашу. Вспомнили тогда мою « чушь » ...

— Но вот, третий случай ... еще более *странный*. Но — еще *неполный*. Мне теперь в голову иногда приходит, что все эти « случаи » как-то связываются с « проблемой времени ». *Время* .. ? не фикция ли это .. ? какая-то « категория » мышления .. ? в связи с ... *чувствованием* .. ? Наша, человеческая, условность. В « Откровении », помните: « ... и времени уже не будет » ? ..

— Так вот ... Об этом третьем « случае » я последнее время о-чень почему-то думаю ... *жду* .. ? Судите сами. Заметьте, что *это* было, — помню совершенно точно, — в 1915 году, во время войны.

— Мы жили тогда на даче в « Малаховке », по Казанской дороге, верст 20 от Москвы. Я был на 3-м курсе в Училище Живописи, Ваяния и Зодчества ... Ни о какой « загранице » не думал. Кажется, было *это* в поле, день был очень яркий. Иду, задумался, забылся ... — и вдруг, вижу *себя* ... в Кремле ! .. Не думал о Кремле ... не помню, о чем думал.

— Вижу так: будто я на коленях, в Успенском соборе, в полусумраке. Стою перед иконостасом. Народа, будто нет, я один. Смотрю на икону, Спаса или

Богоматери. Стою, радостный, и так говорю себе, свободно на душе... и говорю себе, мысленно: « как долго я жил *там!* .. ско-лько я всего видел... видел Океан, пальмы... много стран... » — и чувствую, что я был *вынужден* так долго жить *там, вне* России !.. Думаю: « и вот, я *снова здесь,* стою в Успенском соборе, древнем, родном... как мне легко, Господи, как я счастлив, что опять *здесь,* в любимом моем Кремле ! .. » Вдруг пропало, я вижу луг, цветы ... — « Малаховка » ! .. вон наша дача ...

— Не странно ли .. ? Ну, если бы я хоть чуть думал о « загранице » ! что меня что-то заставит туда уехать... ну, если бы я был революционер, мог бы опасаться ареста, думал бы о побеге... — ничего подобного ! .. никакой связи ... И такое яркое чувство — « как до-лго я жил на чужбине ! .. » И — вернулся, и так счастлив до слез, до радостного биения сердца: вернулся, *снова здесь !* .. » Поразительно ярко было это чудесное чувство *встречи !* ..

— Теперь часто вспоминаю *это* ... *жду ?* Не могу сказать твердо — да. Но ... *для чего* же было *это* тогда со мной ? ! .. Связываешь невольно с теми странными случаями ...

— У-ви-дите ... — сказал я ему, невольно тоже, уверенно-спокойно. — Будет именно так, как *было* с вами в ... *греве.*

— Вы думаете ? .. — сказал он, вглядываясь в *свое,* совсем спокойно.

И я почувствовал в его вдумчивости и в его голосе, что и он сам так думает.

Май, 1947.
Париж.

3. — ЕЛОВЫЕ ЛАПЫ

День был будний, метельный, музейные посетители были редки, и появление старика, в ветхом полушубке, в лаптях-онучах, с мешком за спиной, привлекло любопытство музейских и хорошо запомнилось.

Выдававшая входные ярлычки спросила старика с удивлением: откуда он, и что ему тут нужно?

Старик сказал: « из-под Сарова, пришел Батюшке Серафиму поклониться ». Сказал твердо, — видимо, знал, что не ошибся местом. На его спрос — « где тут у вас Батюшка Серафим ? » — выдавальщица показала на лестницу: « т а м укажут ».

Как узналось после, она — « смутилась как-то ... забыла приказать старику оставить мешок здесь ».

Старик, хоть и очень старый и согбенный, поднимался по лестнице легко и совсем неслышно, в своих лаптях. Лестница была в три колена и крутовата, и бодрость старика удивила выдавальщицу.

На верхней площадке сидела барышня, пробивавшая ярлычки. По ее словам, старик и не задохнулся даже. На досуге, она читала, и неслышное появление такого необычного посетителя испугало даже ее. Она тоже спросила, откуда он, и зачем. Получив тот же ответ, что и нижная, заинтересовалась « такой редкостью » и, на досуге, без посетителей, стала спрашивать, то и сё. далеко ли отсюда до Сарова, приехал по железной дороге, или подвез кто, как разыскал музей ... Старик отвечал ясно и охотно, — оказался детски-откровенным. Пришел пешком, по обещанию; от Сарова верстов сот пять, шел боле месяца, « все было хорошо, задачливо »; а пришел — « по маменькину наказу, для памяти ». Для какой ... « памяти » ?

— « Как маменька помирала, — наказала: « помни, Ваня... вымолила я тебя у Батюшки Серафима...» — « отмолила, стало-ть, маменька меня...» — « воздвиг тебя Батюшка Серафим-Угодник...»

Слово за слово, узнала барышня, — « как воздвиг ». Усадила старика на стул, поотдохнуть, — пожалела, какой он старый, заросший, « как моховой »; борода стала уж и зеленоватой будто.

И вот, что узнала барышня.

Мальчонком, был он дюже болен, вот вот помрет; ни рукой — ни ногой, сразу с чего-то сталось. Все слезы маменька выплакала, все ходила к Батюшке Серафиму на могилку, от их села верстов сорок. И Батюшка Серафим воздвиг его. С той поры всякий год хаживали они на могилку, правили панихидку, — « порадовать-поклониться цветочками, с его полянки в бору », а в зимнюю пору еловые лапы в бору ломали и сосновые сучочки с шишечками, на могилку клали — порадовать. А как « просветились мощи », годов тридцать тому, беспременно два раза на году навещивали. И маменька померла, и жена-покойница померла, и сынка в большую войну убили, и внуки попримерли, « от бедовой жизни », никого у него теперь... а то все ходили, « по завету, для памяти ». А как Батюшку Серафима « взяли от нас...» — стал дознавать, куда увезли его. Верные люди и указали, только молчать велели... Вот и пошел Батюшку искать. И теперь хорошие люди есть, « законные »: и ночевать пускали, и покормят от скудости, и на печь даже погреться дозволяли, и копеечки подавали — и от них чтобы поклониться Батюшке Серафиму, свечечку родимому, поставить... А то и всплакивали... — « Скажу им святое слово — « плачущии утешутся...» — ан и

станет им весело». Задачливо было всю дорогу. Паренек однораз нагнал, с оружией, который высокой при начальстве, — «что за человек?.. куда-а?..» — стро-го так было-окрикнул... а ничего, нестрашный: — «чать тебе, дед, годов сто будет?..» На ахтынабиль к себе сесть велел... — «помчало, снегу не видать!..» Сто не сто, а за восьмой десяток много перешло.

Помнилось еще барышне, как другое начальство бумажку ему сунуло, «орленую»: «везде тебя, дед, с колокольным звоном будут встречать с моей бумагой!» — «Да я ее, малость отойдя, в снег сунул, от греха... ну-ка она неправая?..»

Барышня сама довела старика до т о й двери... — и спохватилась, что отпустила его с мешком: «в голову как-то не пришло!» После было ей строгое внушение, но без особых последствий.

Когда старик вернулся о т т у д а, она сказала ему присесть и подала воды в кружке, но он пить не стал, сказал: «не, там снежку пожую». Она предложила ему кусочек сахару, «для силы», но он отвел ее руку с сахаром: «не, милая... меня и покормят, и чайком напоят... хорошие люди есть». Ей стало грустно: не принял от нее водицы даже.

Из расспросов у старика и по рассказам музейских... — (это «явление» произвело сильное впечатление даже и на «ответственных» при т о м отделе), — узналось, что произошло т а м.

Дававшая объяснения посетителям, «ответственная», — «была, прямо, поражена» появлением старика с мешком. Старик нимало не смущался, объяснений не слушал, а первым делом спросил-перебил: «где положили Батюшку Серафима Преподобного... от

нас взяли из Сарова? ..» Она показала на витрину. Он поглядел на «ответственую» «недоверчиво», и перебил настойчиво, строго даже: «а не обманываешь? .. самый тут Батюшка Серафим и покоится?! ..» Она сказала «этому темному»: «ясно — тут! вон, за стеклом, и косточки ...»

Из слухов, ходивших среди музейских, узналась «вся история».

«Ответственная» сначала — «немножко растерялась, но взяла себя в руки», велела старику отдать ей мешок: «с вещами у нас нельзя! .. как тебя пропустили?! ..» Старик отмахнулся головой и сказал — «упрямо»: «не, не дам я тебе мешка! .. это Батюшке Серафиму, память». Она оставила: «что требовать с такого! ..» —

Подойдя к указанной витрине, где были «останки из Сарова», старик трижды перекрестился и положил три земных поклона. «Ответственная» хорошо не помнила, смотрел ли старик за стекло ... — «кажется, поглядел». Но заметила, что в его бороде блестели слезы ... Говорили, что, по ее словам, — «досадно ей как то было ... жалкий, темный народ!»

Положив поклоны, старик снял со спины мешок и стал развязывать ... Она сейчас же ему сказала, возвысив голос: «что .. ?! .. что ты?! .. нельзя у нас! ..» — не знал, что вынет он из мешка, но чувствуя «что-то недопустимое». Старик отмахнулся, хрипнул что-то такое, вроде ... — «ну, тя .. !» — схватил мешок за углы и вытряхнул под витрину, на пол ... — «е-лки ... и какие-то шишки! ..» Она крикнула на него — «нельзя! .. тут у нас не базар! ..» Старик — словно и не слыхал: ткнулся головой в елки, «потрясся там» ... и, стоя на коленях, — «стал

тянуть, жа-лобно-плаксиво » . . . — передавали музейские шепотком:

« . . . роди-мый ты на-ш . . , Ба-а-тюшка Серафи-им . . . пришел к тебе . . . Ваню-шка-а . . . по-мню . . , го-лу-бчик ты на-аш . . . Ба-атюшка Серафи-им . . . Угодник Бо-о-жий . . ! »

« Ответственная » ясно видела, как по его « страшному, изможденному лицу градом катились слезы . . . » Все же она строго выговорила ему, что — « это у нас никак нельзя ! . . что это? ! к чему это? . . »

Старик . . . — « конечно, понял по-своему, наивно . . . » — и едва выговорил вдруг посеревшими губами, « ласково как-то даже, совсем по-детски . . . бесцельно было, конечно, такому, что-нибудь втолковать . . . » — — —

« Еловые лапы это. . . с самого борку Батюшки. . . любил Батюшка свой борок . . . па-мять наша . . . в память это ему, по маменьке . . . »

Покрестился, едва поднялся — и побрел, нетвердо, волоча свой мешок.

Барышня-пробивальщица увидала старика — « совсем изнеможенного, желтого-желтого, как покойник . . . » — перепугалась, — ну-ка, он тут помрет ! — и усадила его на стул, видя, как он мотается. Он сел и разинул рот . . . воздуху нехватало, « свистело в нем ». И вот, тут, она подала ему воды, но он не принял. Потом, путаясь пальцами, долго складывал свой мешок, приглаживая его ровней, — сунул за полушубок. Когда чуть отдышался, стал нашептывать, себе будто, что привел Господь . . . поклониться Батюшке Серафиму . . . Преподобному . . . теперь спокойна пойдет домой. И так благодушно огляделся . . . Она спросила — « а что же с мешком . . ? почему пу-

стой?..» Он, будто, улыбнулся, все головой покачивал, чего-то думал. Досказал, спокойно совсем, будто гляделся в свои думы: «стро-га-а... а ничего... ничего... кричит свое — «выкинем, сожгем!..» — что ж... ничего.., ты свое делай... чего тебе велят... а я свое... сделал... маменька покойная... наказывала... т у т а вот...» И стал потирать у сердца.

Расстроился, что ли, с дум своих... — захлюпал. У барышни, — сказывала она, — «сжалось сердце». Горько было, что и воды от нее не принял. Помнила его слова: «не... там, снежку пожую...» Она не обижалась, чувствуя, почему он не принял и так сказал... но ей было не по себе.

Поотдохнул и пошел, сказавши: «прощай, милая...»

Долго вспоминали об этом посещении, потом забылось.

⁂

Не прошло года, было в самом начале августа. Та же барышня вдруг опять увидала старика. Он был в том же полушубке, в лаптях, с мешком. Стал, кажется, еще старей и слабей. Она напомнила ему, и он признал ее. На ее вопрос — «с елочками?..» — сказал: «да, милая... еловые лапы, Батюшке Серафиму». Намачивал дорогой, не посохли чтобы, не пообсыпались.

Было, как и в тот раз: поклоны и «память-радование» — еловые лапы и сосновые ветки в шишечках. Никто т а м ни слова не сказал старику. Он ушел с миром, благостный. Ласково сказал барышне: «ну, милая... прощай».

Больше не приходил.

Июль, 1947.

Париж.

4. — БЕСКРЕСТНЫЙ ЛАЗАРЬ

Барин Н., законник, потомок видного деятеля по освобождению крестьян, увидал однажды у жены бумажку волостного правления, такого « дикого » содержания:

« ... отдаю барыне Н ..., в полное крепостное владение, трех моих сыновей, навечно. За неграмотного ... расписался ... » и печать, копотью.

Барин взглянул удивленно на жену. Она спокойно сказала: « оставь, это наше дело ». Раз так, значит — так и надо: он не мешался в дела жены, женщины рассудительной.

Так оно и оказалось. Отдавший сыновей в « закрепощение » барыне, был отъявленный пьяница и лиходей, что называется — « хомут на миру »: не раз собирались удалить его из общества, приговорить к выселению в Сибирь, но барыня заступалась, по слезной мольбе бабы лиходея. Наконец, не стало сил и у бабы: молила барыню взять ребят на себя, « а то смертью убьет, злодей ... бьет, чем ни попади, печькой только не бил ! .. » И барыня придумала « закрепощение ». Лиходей получил сколько-то и отступился, — скоро и освободил всех: замерз, пьяный, — а трое мальчишек и баба были взяты в усадьбу.

Мальчишки сами выбрали себе дорогу в люди: старший отдан был конюшему, и вышел из него хороший кучер; середний обучился садоводству; а младший, Лазарь, захотел к повару, и стал отличным поваром.

Пришла война, а за ней и революция. Господа перебрались к дочери в Москву и скоро померли. Дочь-вдова, жившая в богатой квартире, была уплот-

нена и обездолена. При ней остались старушка няня и дворецкий, верные: ютились по углам в том же доме и выменивали на пропитание остатки барынина добра. Тем трое и влачились. А жизнь становилась беспросветней.

И вот, как-то приходит няня и говорит:

— Барыня, Лазарька наш сыскался!..

Не помнила барыня, какой « Лазарька ». Напомнила ей старушка-няня: еще все дивились в именьи, какое сладкое умеет готовить Лазарька, совсем мальчишка!

— Разыскал нас... давно искал! Хороший такой, франтом... у американцев служит... на глаза хочет показаться, ждет на дворе.

— Что за чудеса!.. зови, зови... — обрадовалась барыная; помнила вихрастого поваренка, которого Листратыч-повар называл — « золотые руки ».

— И жарко-е с собой принес!.. — радостно шептала няня, дивясь: — це-льную, говорит, индейку!.. и под серебреной кры-шечкой!..

— Что за чудеса!.. у американцев?!..

— Да вот, увидите.

Никогда бы не признала барыня стоявшего перед нею, с блюдом под мельхиоровой крышкой, статного молодца, совсем военного: в крагах, френч с клапанами, часики на руке: только вихор да веселые-бойкие глаза напоминали ей поваренка Лазарьку: а то — ну, совсем американец.

— Здраствуйте, барыня!.. — весело сказал « американец », — не узнаете? А я вас помню. Еще полтинник мне как-то подарили... кошелечек у вас был, кольчиками, серебряный!..

Барыня вспомнила, — и у нее навернулись слезы.

Она взяла Лазарьку за плечи, будто совсем родного, и, говорить не в силах, усадила на стул, с собой. И все смотрела ему в глаза. И через эти глаза — все видела... А он, поставив на столик блюдо, стал рассказывать, как пошел счастья искать в Москву, и как далось ему это счастье, — сразу попал к американцам, в «Ару», — к самому главному! — женщина одна попалась на вокзале, наша: разговорились, — сразу все и устроила, тоже у американцев служит.

Долго Лазарь барыню по Москве искал, фамилию только помнил. И вот, нашел. Живется — нельзя лучше: полное пропитание, хорошо платят, как сыр в масле катается.

Смотрели на Лазаря, дивились. Он подошел к столику, поднял покрышку с блюда...

— Вы, барыня, не сомневайтесь... все в порядке. Это не в-украдку, а сам економ дозволил. Я ему доложился, а наша барышня, горничная у них... поих и объяснила. Можно, говорит... и по плечу потрепал. Теперь я вам буду предоставлять. Как у Дистратыча-покойника... и гарнирчик, и зажарено в меру, только апельсиновое они варенье любят.., а весь гарнир наш, полный.

Индейка еще «дышала»: в согревалке доставлено, в американской.

Тот день явления Лазаря был как-бы — «светлый день».

Как сказал Лазарь, — так и сделал: в праздник или в воскресенье, приходил к барыне и приносил разное жаркое и сладкое. Няня и дворецкий хаживали к нему, там их угощали и навязывали с собой. Жилось Лазарю — лучше и не придумаешь. Понравились

старики американцу-економу, и он распорядился давать им — чего хотят.

Так прошло с полгода. И перестал Лазарь приходить. Пошел дворецкий узнать, что с ним. Оказалось, что Лазарь уже не служит в « Ара »; забрали его в солдаты и куда-то угнали из Москвы. Сразу вышло, не довелось Лазарю и попрощаться.

Прошло с год. Наведывалась няня к американцам. Говорили свои, что и они скоро « сматываются ». О Лазаре были вести скудные, — на Волге где-то. Барыне так и не написал. Решили, — нет ничего хорошего, оттого и не пишет.

Как-то приходит няня от американцев и говорит — заплакала:

— Худое, барыня . . . ох, худое ! . . Ла-зарь-то наш . . . о, Господи ! . .

И сказать не может, все крестится.

— Уж и похоронили, барыня . . . сказать страшно.

И вот, что выяснилось.

Служившая у американцев судомойкой была и на похоронах, « все видала ». Там и узнала, что случилось. Где был в солдатах Лазарь, — там « словно война была ». Привезли Лазаря в Москву, в лазарет, с другими: не-то раненого, не-то больного. Лазарет помещался в церкви. Иконостаса уже не было, но на стенах еще оставались святые изображения. Солдаты, — « красногвардейцы », что ли, — вели себя соевольно, добывали и спирт, в-утайку, пьянствовали, играли на гармошках, плясали и безобразили. Как-то достали пистолет, и давай палить по святым. И что такое с Лазарем сделалось ! — вошел в раж, вырвал у товарища пистолет и крикнул: « покажу вам, как стреляют по-настоящему ! недаром я отличник за стрель-

бу !.. Энтот вон архангел... у него глаза большие... я ему сейчас прямо в правый глаз попаду!..» Долго нацеливался... — и хлоп!.. Попал ли в глаз — неизвестно. А вышло так: отскочила пуля от цели в свод, от свода — Лазарю в правый глаз! — упал и кончился. Все стали кричать: «переводите нас, тут больше не останемся!..» Перевели, будто, в другое место. А Лазаря похоронили с почетом, в красном гробу. Очень девушка одна убивалась, в красном была платочке, как *ихняя*. Все на гроб падала, все кричала: «Ла-зарик мой... Ла-зарик!..» «Зарыли, как собаку», без креста, — поставили столбушек и на него красную звезду посадили для почета.

— И что такое с Лазариком нашим сталось!.. — плакала няня, — хороший-то какой был.., а вот.., как обернулось!..

Оплакали Лазаря, «бескрестного». Да, сталось...

И вспоминаются мне слова «бывалого человека», встречного:

«...По России теперь таких... какие же перевращения видал!.. не поверишь, что у человека в душе быть может: и на добро, и на зло. А то все закрыто было. Бо-льшое перевращение... на край взошли!..»

Август, 1947.

Париж.

5. — УГОДНИКИ СОЛОВЕЦКИЕ

СРЕДНЕГО размера образ, 30 на 26. Живопись тоже средняя, « палеховская »: писано, вероятно, иконописцем Обители. Лики отчетливы, у каждого свой характер. Слева направо: Св. Митроп. Филипп, священномученик; преподобные — Сергий и Герман, валаамские; Зосима и Савватий, соловецкие. Над ними, писанными в рост, — Господь Саваоф. На тыльной стороне наклейка, померкшими чернилами:

« Сию Святую Икону Соловецких Угодников, на, их Святых нетленных Мощах освященную, приносит Соловецкий Архимандрит А... в благословение на гроб своей дочери девицы Анастасии, в этой обители погребенной, на вечное время. Мая 17 д. 1856, четверг. А. А. »

Икона имеет свою историю: икона-мученица, икона-странница: а по вере одного лютеранина-швейцарца, уже покинувшего земной удел, икона-освободительница из уз тяжких.

В 20-х годах века сего, некий швейцарский подданный, проживавший в Петрограде, был присужден к соловецкой каторге на 10 лет, как « паразит » советской страны. В до советские времена был он биржевой маклер, лицо, так сказать, законное, совершаемых на бирже сделок. В те годы не было дипломатических отношений между Швейцарией и Советами, и за чужестранца никто не заступился. Привезли его на Соловки. Было ему уже за пятьдесят. Сначала его поставили на лесные работы, но, год спустя, прознав, что он сведущ в чужих языках, перевели в канцелярию, « по иностранной части». Дело ответственное опасное. Знатто было по опыту: чуть что, пришьют « шпионаж »,

если проштрафишься ошибкой в переводе « секретных документов », и тогда . . . известно.

Так он проработал года два, все время страшась, не случилось бы какой « ошибки », а то « Секирка » *, верная смерть. « Там это просто », — рассказывал он, — « как они говорят — « в два счета ».

Проходил он как-то в свободный час под монастырем, и видит: в стороне от дороги, в грязи, валяется дощечка. Подумал, — на подтопочку сгодится. Поднял дощечку, смотрит — икона, расколота: два лика только, расколота ровно, чем-то острым, повидимому — штыком: две полудырки — в самом верху и в самом низу: совершенно ясно, что верхняя часть одного удара и нижняя часть другого пришлись в воздух. На тыльной стороне — половинка наклеенной записки. Заколебался взять: священное, а за священное, если увидят т ѣ, может быть строгая кара, — за хранение « опиума для народа », Да еще и чужестранец. Но что-то, в мыслях, велело: « взять, сберечь ! » И он спрятал дощечку под фуфайку. Ни одной душе в казарме не поведал, страшился. Хранил дощечку под нарами, — « а для чего — не знаю: мы лютеране, никаких священных изображений, кроме Креста, не почитаем ».

Прошло дней пять, и швейцарец забыл про свою находку.

Вскоре ему случилось проходить монастырским кладбищем, еще не вовсе срытым. И вот, видит: мотается в ветке, на могильном кресте, на проволочке, дощечка. Было это совсем в другой стороне от той

* Страшное место заключения, откуда, обычно, один выход — в могилу.

дороги, где, с неделю тому, нашел он расколотую икону. Что-то толкнуло его подойти взглянуть... и, к удивлению своему, узнает он другую половинку расколотой иконы! Не думая ни о чем, высвободил он из проволочной петли ту дощечку, и видит еще три лика, а на тыльной стороне открывок той записки.

Тут в нем прояснилось нечто, мелькнуло мыслью — «какая странность!.. указание, — что ли..?» — и он уже сознательно взял эту половинку. Что он чувствовал от этой «странной» находки, — неизвестно: он не рассказывал о чувствах. Одно только было в мыслях, — впоследствии признавался он, — что «это не случайно». И решил — «непременно хранить эту икону». А зачем... — не знал, и предположений не высказывал.

Но теперь у него «разные мысли завозились», и он уже не переставал думать о находке. Ночью, в бессонницу, он представлял себе, как могло все это произойти... Икону, конечно, расколол какой-то кощунник, из тех... «искоренял суеверие»?.. или злорадно издевался?.. Метил штыком... — удар был острый, пронзающий!.. — метил, конечно в лики... может быть, в Бога Саваофа... — как раз намечал удар по средней вертикали! — но удар пришелся совсем по верхнему краю, на одну треть в воздух. Тогда кощунник взял чуть пониже, ударил... — и удар пришелся совсем по нижнему краю, по той же вертикали, но на одну треть в воздух... икона раскололась, а лики уцелели!.. Что же дальше? Упавшую половинку кощунник зачем-то понес с собой и... швырнул в сторону от дороги. Почему же швырнул? почему оставил другую половинку?.. почему

не уничтожил « опиум » ?.. Этого никто не знает. Словом — швырнул... — « а я вот ее нашел!..» И вот эта « странность », что кощунник не истребил икону, а он, чужой всему этому, нашел ее в разных совсем местах... — вызывала в нем « разные вопросы ». Вызывала — и... « как-то укрепляла ». Для него становилось ясным, что — « это не случайно ».

Прошло два с половиной месяца. Была осень 1928 года. И вот, вызывают его в « управление », и начальник объявляет ему приказ: « забирай свое барахло! » Он страшно испугался. Взглядом спросил — «конец ?» Не отвечают. И сам он не мог бы сказать, что разумеет под этим туманным словом — « конец ». Свои, « отбывающие », разное говорят: кто — « в расход », а кто — « загонят дальше ». Куда же — дальше-то?.. И никто не предположил, что это — конец каторге.

Швейцарец стал собирать свое барахло, увидел свою находку и... — « что-то чуть мелькнуло в мыслях, стал разглядывать лики Угодников Соловецких ». Строго они смотрели, — « будто в себя смотрели, что-то тая в себе ». Но это лишь мелькнуло, не выразилось мыслью, тогда. Были в нем спутаны два чувства: страх и радость. Радости было больше: неясной, несознавоемой.

На пристани он узнал, что его повезут « дальше ». Значит, — пока еще не « в расход ». Об освобождении и мысли не было. Кто мог за него похлопотать?.. Никто. Он знал много случаев, что выпадало порой на долю таким же, как он, швейцарцам: с ними не церемонились. Американцы, англичане... — другое дело. Не раз ему бросали, презрительно: « эй, ты...

шви-цар! по своему «огороду» соскучился?..» Никого не было, кто мог бы похлопотать. Правда, как-то он, безнадежно, сказал кому-то, отбывшему срок и уезжавшему с Соловков — бывшему ихнему: «хоть кому бы дать знать о себе... ни за что, ведь, губят!..» И этот «бывший! сказал усмешливо» «а вот, разве что Николе-Угоднику дашь знать, да вы его не знаете!..»

Расколотые половинки иконы он запрятал на дно мешка, в лохматья. Их не дощупались. В Архангельске он узнал, что его отправляют в Ленинград. Зачем?.. Всякие приходили мысли.

И вот, он в Ленинграде. Через неделю вызывают его в тюремную канцелярию и дают «проходное свидетельство» и во-семь рублей с копейками — «заработанной платы». Нехватит на билет и до границы. И говорят: «катись в свой «огород», там у вас, сказывают, и плюнуть некуда!»

Было это — «как сон». Двинулся он пешком, на Гатчину, таща свое барахло в мешке. Погода была — золотая осень. И было это великое путешествие для него — «самым радостным путешествием за всю жизнь», — и самым легким, «будто несло на крыльях». Питался спелой брусникой, — много было ее! — и была она ему слаще сахара. Пек рыжики и волнушки на угольках, — и казались они ему «несравненными ни с чем по вкусу». И, странно: «не хотелось с Россией расставаться!»

Смотрел на золотые березы большака и говорил с грустью — «прощаете, милые!..» А они роняли на него золотые листья. Подвозили его суровые русские мужики, жалели. Он хорошо говорил по-русски, говорил осторожно-бережно, но они пони-

мали все. Давали хлебца. Помнил швейцарец, как один старик потрепал его по плечу, сказал: « ну, ничего... таперича до своего добьешься, молись Богу ». Путь его лежал на Нарву, к Эстонии, — а там — « к консулу нашему, отправит ». Помнил « радостную реку Лугу »: радушно приняли его русские рыбаки, накормили ухой чудесной... — « не ел никогда такой ! » — и положили спать в шалаше. « И показался мне тот их шалаш дворцом ! » Дали в дорогу хорошей рыбы: « на угольках испекешь ». Ласково проводила его Россия.

Без гроша, с мешком бараxла, с посохшей веткой березки русской, вернулся он в родную свою Швейцарию, откуда давным-давно, юношей, выехал в великую Россию — искать счастья: жил хорошо все годы, много видал хорошего, и проводила его Россия лаской. А то... — надо забыть про то... « Как забывается дурной сон ».

Вернулся он в родной Цюрих. Оставались еще какие-то родные, дальние. Подивились « выходцу с того света ». Он рассказал им свою историю. Показал им икону: « она вывела меня из ада ! » — так и сказал. Но они не поверили. Наводил справки, кто же похлопотал о нем. Не мог ничего узнать: не знали и в самом Берне. Но ему казалось, что он теперь знает все.

Жил — не роптал, на скромное пособие сограждан. Отдал мастеру « русскую икону » — склеить разбитые половинки и заделать « раны »; велел отмыть нарост времени и покрыть лаком. Икона поновилась. Молился ей ? .. Этого никто не видел: никто не ведал, что теперь стало в его душе. Но почетно хранил икону, « на полочке », как православные.

Русская благочестивая женщина, рассказавшая

мне эту историю, знала этого швейцарца. На ее просьбы отдать ей икону эту — она предлагала ему деньги, — швейцарец решительно ответил: « ни за что ! .. она вывела меня из ада ! но вы, после моей смерти ее получите ».

И она, действительно, получила ее, и получила « без распоряжений ». Это ее особенно радовало и удивляло.

Она редко бывала в той швейцарской семье. Зашла как-то и узнала, что бывший соловчанин умер. Вспомнила о чудесной его иконе, но не успела спросить, не было ли распоряжений покойного насчет иконы, как ей сказали: « возьмите икону, которую он вынес из России ... нам она не нужна ». Она спросила:

— Покойный распорядился передать ее мне ?

— Нет, он нам ничего не говорил. Но вы почитаете иконы ... возьмите.

Она предложила деньги, но они отказались взять.

Так исполнились слова швейцарца: « после моей смерти вы ее получите ».

Она приняла эту икону благоговейно, « как дар назначенный ».

Я вглядывался в строгие лики Угодников Соловецких, и они многое мне сказали. В этом, ими потайно сказанном, я постиг, что они вернутся в свою Обитель. Вернутся по воле Божией. Думалось мне когда я вглядывался в лики: « не втуне написал неведомый Архимандрит А. « на вечное время »: они вернутся ». Почему так думал ? На это нельзя ответить словом, но это так явно светится во всем нераскрытом содержании этой достоверной истории.

Июль. 1948.

ЗАПИСКИ НЕ ПИСАТЕЛЯ

I.

... Так и озаглавлю. Я не писатель, но надо подвести итог: стукнуло — 70. Пора. Начерно прикинуть, — и потрясен: сколько!.. Но дело не в «сколько», а — что. Неужели... *познал*?!.. Едва-ли сумею изложить, но обязан все-же попытаться. Почему — обя-зан?.. Не знаю, но чувствую, что не отмахнуться, что то велит.

Я и не мыслитель. Но ободряет: сколько было мыслителей, а... — что вышло! А мне то, немыслителю, вдруг и удастся?.. Что загадывать... просто перескажу все, а там, кому попадется эта серая тетрадь, пусть! Когда покупал — подумал: какую дадут-и возьму. И вот, серая. Подумалось... но тут же и отмахнулся: ведь жизнь то моя совсем не была «серой», а даже с блеском. Не в смысле красивости, успеха... — хотя и это было, и еще ка — ак! — а с окаянным блеском, когда вот бомбы или шрапнель. Этого повидал достаточно. И так, просто начну, не устрашаясь, как когда то мой ученик Егоров. Я в Т-ой гимназии был учителем истории и русского языка. По-те-ха Егоров этот. Дурак..? Будто и дурак, но старик Капнист... Да что я... какой Капнист..? Капнист был попечителем Округа, когда я сидел за партой, в 80-х... а это другой, плешивый. Сказал про Егорова: «гени-альный дурак»! Именно: так гениально упрощал все как упрощает... жизнь.

Старик-попечитель вошел в мой — 4-ый — класс и сказал: «вызовите самого слабого «историка». Я мысленно потер руки и не без тревоги посмотрел на

толстяка-короткошею: выдержит ли его склеротическая система . . ? Выдержала, но пришлось мочить лысину, которая стала сизой, как свекла.

О Сократе было, по Иловайскому.

— Расскажите нам, Егоров, о Сократе.

Егоров, прозвищем « Булка », сын богача-сапожника. Всегда жевал: приносил булку за пятак, с икрой и маслом. Я его оторвал от любимого занятия: он вышел к доске прожевывая. Пухлый, тяжелый, розовый, невозмутимый, всегда уверенный, что «все знает». Еще до « Сократа », я спросил его, чтобы подготовить попечителя к представлению:

— Скажите, чем замечателен . . . Аристотель ?

— Аристотель был очень мудрый человек. . . мудрец . . . и потому . . . смотрел всегда под крышу храма . . . и говорил знаменитые слова: « Я ничего не знаю ».

Старичок визгнул и потер плешь. Я сейчас же поставил у первой парты, где он уселся, « столик на аттестат зрелости » . . . помните ? с графином и стаканом. Старичок тут же и прихлебнул и понюхал из пузыречка. Началось « про Сократа ». Класс притаился радостно . . .

— Сократ был очень мудрый человек . . . му-дрец. И у него была злая жена . . . Антина . . .

Старичок поперхнулся и усиленно понюхал из пузыречка.

— И потому . . . любил стоять под окнами . . . и все думал, о . . . разных вопросах. А она серчала . . .

— Почему . . . — вопросил старичок.

— Да . . . не занимался делом . . . гм . . . не подавал в дом . . . жалованья.

Старичок клюкнул головой в парту и стал уси-

ленно потирать « свеклу ». Егоров взглядом спросил меня — продолжать . . ? Старичок покивал: дальше, дальше ! . .

— Тогда она выплеснула ему на плешивую голову, со второго этажа, горшок горячих щей . . . чтобы привести его в чувство . . . ре . . . реальности ! . . — выпалил Егоров, вспомнив мои слова.

Старичок весь затрепыхался, и пришлось вызвать нашего доктора. Старичка вывели под-руки, и он уехал, не кончив ревизии. Мне был выговор, но обошлось.

Так вот-с жизнь упрощает, как Егоров. Вскрывает всю « изнанку », даже для дураков. Да вот, атомная бомба, до которой мы дожили. Разве не « упрощение » ? Ну, кто не понимает . . . А я понял.

Не только упрощает, — жизнь сказывает такими метафорами, так все разжевывает, что надо быть дураком, чтобы добиться того, чего добились. Вывод . . ? Или человечество поглупело, или . . . всегда было круглым дураком. Конечко, иносказательно. « Ума » у человечества — палата. Но почему же . . . все — так ? ! . . Я даже рад, что « не-писатель ». Писатель всегда с « поползновеньем », хотя и исполнен вдохновенья. Боится, что ли, « упрощений » ? . . И потому сворачивает с дороги, на которую вдохновенье его влекло ? Вот, чего не найти у Пушкина, и вот почему надо у Пушкина учиться. Он о-чень « упрощает ». Это доказал мой ученик Субботин, сын нашего протоиерея, — смело скажу : гениальнейший ! Доказал в пробном сочинении на аттетстат зрелости. Мысль не моя, — его. Но ревнивая к « тайнам » сила . . . нечто, жизни враждебное, его прихлопнула: милый мой Васик погиб от апендицита, на втором курсе историко-фило-

логического. Очень жалел Ключевский: готовил себе смену.

Жизнь любит поигрывать символам. Да вот, мой случай. Я весь вышел из ... пряников: мой отец был пряничный фабрикант. И деды искони были пряничники. Может быть, слыхивали про нашу фирму — « Печкин и Сын » ? Во всяком случае, « тверские пряники » знаете. Такие белые, крутые, с мятным духом, — на елку покупали: человечки, рыбки, лошадки, овечки, петушки ... других не мяли, даже и звездочек. Дед внушал мне: « наше дело — радость да сладость, помни ! » Гордился своим делом. И я гордился. Да и теперь горжусь, все прикинув. Все деды — « выпекалы-пряничники ». Благодарю Тебя, Господи ! — зла никому не делали, были нрава веселого: радость-сладость. Пряники наши известны по всей России.

Шел пряник и в Бухару: остались в памяти пышные грамоты эмира. Ел наш пряник и император Николай Павлович. У меня хранится его юношеское письмо — « благодарю за пряники ». Памятливый был: в 1828 году мой прадед получил почетное гражданство, а то был « из казенных ». Говорили, что такого красавца еще и не бывало.

Известно ли вам, что наша Тверь славилась красавцами ? Большинство истовых тверянок — высокие, статные чуть, будто и горделивые — величавые-белорумяные ... — « живой пряник ». И — с детства во мне осталось — душистые, мяткой пахли. И, при чуть-горделивости, такие мягкие сердцем, взглядом, движеньями, всей повадкой. Думается, что Некрасов про тверянок и сочинил « ... их только слепой не заметит, а зрячий про них говорит »: « пройдет — словно солнцем осветит, посмотрит — рублем подарит ». Матушка

рассказывала, что Некрасов — « пил у нас чай с пряниками и подарил Колюше стишки — « Что так жадно глядишь на дорогу . . . » « Колюша » — мой отец. Она была очень скромная, стыдливая. Когда поминала про стишки — краснела. Мне кажется, что это про нее, стишки эти.

Не лишнее это, про пряники: это связано с моим « открытием ». Чувствую, что связано, — внутренней пуповиной. Не лишнее и то, что сказал про прадеда: красавец.

Когда прадед поехал в Питер благодарить царя . . . « вежливость соблюсти », хоть капитан-исправник и отговаривал — ему ставили там рогатки. Стравил на всяких « цепных » пудиков двадцать всякого товару и приложил по случаю всяких — « надо-ж-дать », « надо-до-ложить ». Ж-дал и докладывал, и своего добился. Царь сказал: « какие у меня кавалергарды-то ! . . » Хлопнул в ладоши и показал царице. Та « ручку пожаловала ». Приняла милостиво короб « особенных », — сам прадед мял ! — и « с приятностью покивала ». Царь велел выдать из кабинетских — « тыщу на серебро » и серебреные часы, с Орлом, — на пакетах у нас печатались. Пожаловал фирме « герб под горностаем ». И . . . — черта-то наша родная — простота, при многих пороках наших, оставил прадеда обедать за семейным столом, — хранилась у нас карточка-меню: был там « жареный поросенок с кашей », на Святках было. Отлично подгадал прадед, поехав на Рождество, зато своего добился: Святки остались для него « царскими ».

Надо думать, что его выправка, рост и красота много помогли: « все на меня глазели, особенно женский пол ». Царь его расцеловал, а царица « с прият-

ность » сказала: « как раз твои пряники на нашу елку ». Кто-то из вышних ему там посмеялся: « на полвека опоздал! был бы при Матушке-Екатерине графом ... и в великих миллионах ».

С этим связан во мне мой « исток ». Я и тверяк, и москвич. Дед по матери — московский купец С-в, оптовик по красному товару. По смерти первой жены, приехал по делам в Тверь и тут приглядел вторую, дочь краснотоварца-покупателя. Вот почему у меня трое сводных дядей, разного калибра, и все в Москве. Матушка бывала, девушкой, в Твери, гащивала у бабушки; там то и встретилась с отцом, тоже красавцем-пряничником. Не нравилось деду-москвичу, что « пряничники », но покорило, что « жалованные », почетные граждане, и ... « порода ». Это сказалось впоследствии, когда я вступил в Москву, на отношениях с дядями, особенно с « книжным » лядей.

Я унаследовал много статей от дедов-прянишников и от матери. Это было причиной моих успехов и неудач в жизни, почти трагических. Но то, что я нес в себе от « радостей-сладостей », очень, думаю повлияло на мой « итог ». Без « пряников » я, может быть, и не приступил бы к выводам. А-а, жизнь то!.. И как же « у-прощено »! — никакая философская система и в сравнение итти не может: из « систем » я не высосал и капельки моего крепящего молочка.

Я рос и мужал « на пряниках ». Смешон? Никто не посмеется, когда проникнет, что такое « русские пряники ».

Помню деда, тоже красавца, и его редко-душевный склад. Он был « идеалистом », по терминологии... но лучше упрощу: он был добрый русский человек душевно-чистый. Правда, с изломами. Как бы его по-

нял Пушкин! Не навязываю же себе, что в маме было от... Тани Лариной! Совершенно иной уклад, замоскворецко-купеческий, исконный, «качельный», с собаками цепными, с гвоздяными заборами, с курильницами староверов, с лестовками, гаданьями, странниками, утренями, с «мамкой», с обрядностью... с няниными сказками, с болезненной, до обмороков, стыдливостью, с предельным целомудрием... — сколько можно о сем сказать, и я непременно скажу скажу, обязан!.. с множеством икон в доме обмоленных, почти живых, с глубочайшим чувствованием иного мира, который вот тут близко, глядит и шепчет. Помните, у Пушкина, — «скучный шепот»?.. Сколько всего этого во мне!.. Благодарю Тебя, Господи. Как это ширило мир и углубляло!.. Этот-то мир, народный, из глубин извечных, через Арину Родионовну в нашего Пушкина всосался... и не раскрылся; нечто, жизни враждебное, ревниво помешало. Сам уносясь, в восторгах, как рассказывал я моим мальчикам!.. — сотни их у меня коснулись сего «мира» и — обещали богатый плод. Милые мои, где-то вы?!.. Кой-кого я нашел в Европе — отличная иллюстрация к «итогу». Теперь растревожив душу, чувствую, что надо же, наконец, все сказать.

Да, в маме было — пусть хотя бы чуть-чуть, — от «милой Тани». И вот, какое счастье: отец был удачным ей дополнением. Такого образа я не знаю в литературе нашей... — проглядели?.. Я-то не проглядел, а это самое важное, без сего мне бы и не открылось — что открылось...

Май, 1948.

II.

Кажется, начал верно, уясняя себе, — а, может быть, и не себе только? — «откуда есмь пошел»; то-есть, с моих «*истоков*». И это вовсе не потому, что привык к учебному канону, — вступление-изложение-заключение, — что я преподавал историю, набил руку, как педогог-словесник, раскрывать «основную мысль» произведения для моих мальчиков. Что мне нужно? Мне нужно доискаться в моей жизни «итога», в сущности — той же «основной идеи».

Потому-то и пошел «от предков». И вдруг, мелькнуло, будто уж и нащупал самое главное, будто уж знаю все: почему жизнь уперлась в тупик... верней — подошла к провалу и вот-вот и провалится. Не личная моя жизнь, а — она-то уж провалилась, знаю... — а жизнь всеобщая, предмет «философии Истории». Почему-то теперь мне кажется, что я это давно предвидел, за годы еще до нашего разгрома. Собственно, не предвидел, а предощущал мигами, иногда даже на уроках вдруг вдохновенно открывалось, как, должно быть, бывает у поэтов и, несомненно, у пророков. Написалось — и вот, смущен, что возвожу себя в такой ранг. Но правды-то от себя нечего скрывать: было, и — есть. И потому тороплюсь занести в «Главную», как бухгалтер: в «Главной-то, ведь, — итоги. Лично мне это, пожалуй, лишнее: списываюсь «на амортизацию». А это я потому, что мой-то урок еще не кончен, пять минут еще до звонка... и урок-то уж последний, перед роспуском на большие каникулы... Отсюда вот и мои «записки», для моих милых мальчиков: пусть почитают на-досуге, для подготовки, если потребуется, к переэкзаменовкам.

Какое, однако, самомнене!.. и нисколько не самомнение, а как бы по властному инстинкту: «веленью Божию послушный». Но что мне до того, «как обо мне подумают»? — перед всеобщим провалом-то, когда уж не до..?

Итак, вперед!

Вся основа моя — от предков, от наших «пряников». И как же благостно и глубоко дедовское напутствие: «помни, Серьга, исконное наше: «радость-сладость!» И еще крепко запомнилось, его-же: «придут черные дни уныния, гибнуть будешь... — за край Ризы Господней цапайся, — вызволит!» «За край Ризы Господней...» — где это я прочел?.. Здесь прочел у проникновенного нашего мудреца. И... как это благостно!..

Дед, Иван Васильевич, сколько его помню, всегда был радостный, праздничный, как с виду, так и душой. После я разобрался, почему — всегда праздничный: будто он все познал и, так сказать «стяжал Благодать». Не дерзну сравнивать с несравнимым нашим Святым, который радовался всегда, во всем. Наша семья его очень почитала, еще задолго до его прославления. Прадед Василий Иванович удостоился его видеть и принять от него благословение и укрепляющее напутствие: «ступай, радость моя, как ступал доселе, Господь с тобой».

И мама, и мой отец, «всегда где то витающий», всегда говорила с улыбкой мама, казались тоже праздничными. А почему я похмурился и уже давно похмурился..? Чуткие мои мальчики меня прозвали, с первых же моих уроков, а совсем еще зеленца, — «сумрачный добряк». А девушки... — я и в женской гимназии учил, — совсем по-Пушкински «сумрачно-

бледный », — « рыцаря » только не хватало. Не потому-ли похмурился, что и тогда уже ощущал-предчувствовал « неблагополучие » и потому « опустил забрало » ? Сестра Катюша, тремя годами меньше меня, часто любовно говорила: « мой грустный братик ».

Ах, Катюша, Катоюша... где-то ты ?.. С последнего твоего письма на оберточном лоскутке, в августе 30-го года, с этим ужасным рылом в « шлеме » на пакете, все о тебе закрылось... жива ты, а ?.. Непостижима твоя судьба, вся — тайна. Начинала блистать, все ждали... и... ? ! Го-споди... это последнее от тебя письмо... с пятнышками твоих слезинок... все мне сказавшее..! Эти желтые пятнышки растворили давивший камень, и я благодатно плакал забытыми слезами. Теперь не плачу. Ни слова о себе, одно только — « дай силы, Господи!.. » Кое-что осветили слухи, кем-то написанные строки, уже отсюда, случайные: « ...там, в городе В... после увоза святителя на муки... слабенькая, больная сердцем, в сторожке при соборе, босая... собирает корочки и одежонку для совсем нищих... хоронит бездомных и безродных... » И радостно мне и горько.

Разве я мог подумать тогда?!.. Ты не услышишь и не смутишься от моих слов, — « гениальная моя Катюша! » Всем гениальная... о, сердце!..

Как творила ты в музыке, исполняя Моцарта, Бетховена, особенно С. Баха... и нашего нежного Чайковского, — все и всех, самых великих и различных музыкально небесного Олимпа! Как ты, по-своему раскрыла, на фисгармонии Бортнянского, данного мне тобою, тобой только! Ты не знаешь, как ты меня вернула!..

Разве могу забыть первое выступление ее, когда она кончала Консерваторию « на виртуозку » ! Гордились ею и изящно-изысканный Т... и требовательно-властный С.., и восхищался совсем еще молодой тогда Р.., ныне прославленный. Даже тот, похрамывающий, придирчиво-строгий к « гениальным », присяжный критик все-музыки, К... обронил как-то недоуменное: « гм ... вот вам и « без корней » .. ! — намекал, вероятно, на « без традиций », на « пряничное » наше ? ..

В ту пору и в детстве, Катюша была вся еще — душа на распашку, вся н а ш а , всем открывалась радостно-доверчиво. Дед называл ее — « стеклянная ты моя, без крышечки ». Всегда перед Рождеством просила она у деда, не очень благоволившего к московскому ее « болтанью » и « бряцанью » — « пряничков », для подруг и « наших музыкантов-мучителей », и дед посылал с нарочным отборный короб « тверских ». Она раздаривала пригоршнями, и все, строгие « боги » даже, жевали и жевали. Она и не думала, конечно, что все влюблены в нее, до суровых старцев-гонителей: все лелеяли нежно « пряничную », ждали от нее, с в о е г о а п о ф е о з а , — « праздника св. музыки », как обронил случайно один из строгих.

И как жы ты, Катюша, всех потрясла и оглушила ! .. Не разочаровала, а как бы отупила, в д р у г , в с е, с л о м а в. Чудесно музыкальное дитя, ты уже начинала творить сама. Больше 30 лет прошло, а я все в и ж у будто это вчера: как после выпускного по композиции, и после, в тонном салоне меценатки М.., куда входили лишь избранные, человек пятнадцать, — ты настояла, чтобы был приглашен и я, — ты покорила всех, повергла в восторженное изумленье.

Полушутя, играючи, стремительно отзвучала « Последняя песня », т в о я . . . предельное аллегро, « звучащего света бег ». Я не забуду шепот — « безумный ритм . . . непостижимая техника . . . »

Я видел лица. Я видел, как побледнела ты, в нежном всегда румянце, свеженькая и чистая, как первый снежок на зорьке . . . как поднялась, изнемогшая, от дивного рояля . . . видел тебя, светоносную, в концертном платье, заказанном по приказу деда, — « уж раз т а к о е , — н а д о ! » — у элегантнейшей из портних Москвы, не в черном шелке, а в белоснежном плисэмуслине, с закрытыми плечами и рукавами . . . — о, моя скромница ! — видел тебя на зеркальном щите поднятого крыла рояля . . . Шла ты с закрытыми глазами, как в сновидении, к стоявшей под пальмой, в нише, отличной фисгармонии . . . Ты чудесно вдадела ею, Как светло обвела всех . . . а я шептал-молился, как маленький: « Господи, помоги Катюшке ! . . » Я знал, что ты исполнишь сейчас с в о е, но я не думал — ч т о.

Вышло так неожиданно, для всех неожиданно, что ты исполнишь э т о . Ты едва молвила, не своим звучным голосом, сочным, грудным контральто, восхищавшим артистов и певцов, а угасающим шепотом, о т х о д я щ и м . . . — « Херувимская . . . » — и почувствовал трепет твой, от теплившегося в тебе горенья — с в е т а . твой это был шепот, а . . . — теперь-то могу определить: трепет небесных крыл. Студент, я понял тогда впервые, через тебя, Катюша, что высочайшее из искусств — М о л и т в а . Ты сотворила чудо, на глазах всех: ты всех соединила и в о в л е к л а.

О, это, последнее, возносящее . . . — « всякое ныне . . . житейское . . . отложим попечение . . . » Это было т в о е , чуть мне знакомое . . . ты наигрывала на на-

шей фисгармонии, в весенних сумерках, уже больному деду, и он заплакал. А он никогда не плакал. Но тут ты дала полней и совершенней. Ты вся светилась, ты стала... неземная..? чувствовал я, и все. Минуты упавшего молчанья, онеменья. Я видел твое лицо, нездешнее. Не лицо — лик, душу твою бессмертную. И ужаснулся, какой я темный, и все, кто здесь. Нестерпимы были покашливанья, — от волненья? — шелест шелка, духи, статуйка рядом, — «силен» ли, «фавн», ли, — и чья-то морда, трясшая бородой, в финале. Последнее выступление, последний кивок «житейскому»... О нем судили, дивились, домекали...

Потом... нет, не надо о том, после. Тот обморок..! Не вынесла земная оболочка. Катюша хотела встать, в мертвенно-молчаливом зале... — рукоплесканий не смело быть! — и пала вперед, на клавиатуру... Этот рванувшийся звук, этот тревожный срыв-взрев... Она сейчас-же пришла в себя: я отвез ее в ее комнатку на Садовой...

О чем ты плакала, Катюша, когда я вез тебя в автомобиле меценатки?.. Я объяснял нервной разбитостью, «разрядом»: чуть ли не по шестнадцати часов работать!.. Я ошибался.., но, конечно, и это значило. Теперь я почти знаю, что вызвало твое решенье: это давно готовилось, как и все.

Через месяц после того сеанса, присутствовавший на нем медик последнего курса одного профессора, тоже музыкант, неожиданно бросил университет, семью, Москву... Об этом после.

Вижу, что заношу бесплановно, но так надо: надо все взрыть в себе, встряхнуть, как встряхивают стеклышки в калейдоскопной трубке все вдруг застынет и даст рисунок.

Катюша — « все сломала ». Почему? О сем — дальше. Но для себя отмечу: между твоим и « бегством » того студента... связи, как-будто, не было. А, может быть, и..? Догадки только. Нет, лучше по череду.

О прадеде я вписал не все; но рассказ о деде пояснит многое в нашем.

Дед Иван тоже был красавец, — высокий, крепкий, статный, темный шатен, с волнистой и пышной бородой, всегда заботливо ухоженной, чуть впроседь. Душился английскими духами, фирмы Блессон, « из Лондона ». « Лондон » у него значил — « товар по деньгам ». Одевался всегда очень опрятно, даже дома: « не надо распускаться ». Даже элегантно одевался, но всегда легко и просто: поддевка ли, сюртук ли, — все его как-то дополняло, « облекало » и все самое первосортное. Шил на него « наш портняга », бывший мастер лучшей московской марки, на покое. Отец, тоже умевший одеваться, ездил « осюртучиваться » в Москву. Одеваться изрядно-просто — наша семейная черта, неизвестно откуда влипшая.

В обиходе дед был сугубо скромный, в еде — особенно, и строго наблюдал посты. Посты у нас были стойким и радостным законом.. Я всегда весело ждал посты, особенно — Великого. Так осталось и заграницей, хотя я, в молодости и « пошатнулся », лет на десять. А посты почему-то соблюдал. Мы постились также и во все среды и пятницы. Если, мальчишкой, я срывался, меня начинало мутить, до тошноты я бежал к маме и признавался с ревом. Она меня не укоряла, давала святой воды, крестила и тихо целовала в лобик. И я сразу становился радостным.

После прадеда, дед был почетным старостой на-

шей соборной церкви. Не опускал ни одной службы, хоть бы и прихворнул. В церковь он никогда не ездил, а до нее было версты полторы с окраины, где был наш поместительный и удивительно уютный дом, бывший барский, и пряничная фабрика со службами. Говорил: « к Богу не подъезжают, а притекают ». Меня он очень любил и всегда брал с собой. Катюшу любил не меньше, нежнее как-то, — это я чувствовал и не ревновал, — Катюшу все любили: за ее веселость и открытость, за необычную, не по годам, « разумность », — я бы сказал: « вглядыванье в себя и во все »; за ее откровенное лицо за полное самоотвержение: она податливо, без колебанья, всем отдавала все, чего ни попроси, будто в веселую игру играла.

В отличку от семьи, волосы у ней были светлые, пепельные, и мягкие-мягкие, как ленок, лоб чуть вперед, открытый, ясный, — лучезарный. Я любовался ею, когда помазывали ее елеем: мне казалось, что на нее нисходит « благодать », и батюшке особенно приятно ставить крестик « на такой красивый лобик ». Глаза у ней были тоже лучезарные: то — блеклой незабудки, то синие-синие, как молодой василек. Все наши были брюнетистые, — мама только « каштаночка », — а глаза прямые, ясные: у деда — в мечтательном туманце, « неотразимые » — все говорили, а он шутил: « некому только отражать ». У отца — темно-серые, « витающие где-то ». У Катюши в глазах-миндалинах, необыкновенно чистых и добрых-добрых теплился « тихий свет », — « ангельский зрак », по деду. Когда пели за всенощной — « Свете тихий », я вспоминал Катюшины глаза, — вспоминаю и поныне. Рот у не был благодушно-мягкий, свежий и сочный, — «сладкий»; «дай-ка арбузика», шутил дед. Я любил ей

ерошить губки и называл их — « мюмочки », — такие они податливые и нежные. Ростом была в отца, высоконькая, но статная, соразмерная, хоть и юница. Как и мама, — совсем тверянка, но величаво-покойной поступи еще не нашла « ма-а-лявка еще », по деду.

Дед был широким « милостынщиком »: шутили, что разорит семью. У него были широкие карманы, и в них парусиновые мешочки с медью. Подавал, когда шел из церкви. Вся дорога уставлялась с обеих сторон нищими, кто хотел: мальчишкам дед никогда не подавал, а девочкам, особенно — смиренным, всегда сугубо. Подавал на обе стороны, будто и не глядел, а все видел. Я тоже подавал, из « нищего полтинника ». А нашему городскому голове-шутнику, протянувшему лапу к грошикам полушкам, как-то дед подал, не посмотрев, все засмеялись, а дед нахмурился и сказал наставительно-сурово: « Этим не шути, Прохор ... статься может! Так и сбылось, через много лет, на моих глазах.

Август
1948.

III.

Хорошо помню слово деда Ивана: « к Богу не подъезжают, а притекают ». Он говорил, метко, крепко, — много ему дало чтение Истории. В свободный час, между церковью, фабрикой и конным заводом в

« Лужках », верст пять от города, он сидел в кресле у окна, в оливковом бархатном халате, и казался мне старинным вельможей или думным дьяком. Отец говорил: « одеть вас, папаша, в ферязь . . . совсем думный дьяк ! »

У нас называли « папаша » и « мамаша », на « вы », а перед отходом ко сну нас крестили, а мы целовали ручку. Не « попрощавшись » не могли заснуть; когда родители уезжали в гости, мы просили дедушку-бабушку: « а еще за папашу и мамашу ». Вернувшись родители непременно заходили в детскую и крестили нас, и мы всегда находили утром под подушкой крымское яблочко или дюшес, « из гостей », — как это светло вспомнить !

На окошке каленые орехи на тарелке, перед креслом столик с поднимающейся дощечкой, а на ней толстая История. У стены широкие полки с тяжелыми книгами Татищева, Карамзина, Соловьева, в переплетах. На орехи дед не глядел, а, читая, нащупывал и давил щипцами. Иногда я ему читал вслух, и он заставлял пересказывать, особенно про Святителей: « Запомни, Серьга, как они строили Россию ! » Я уже понимал, как строили. Романов дед не любил, даже исторических, — говорил « ро-маны ». Одно только позволил — « Войну и мир »: для него это был не ро-ман, а — бытие. Помню рассказал как-то анекдотец:

— « Есть у нас знаменитый профессор Истории . . .» — произнося слово — История, всегда поднимал палец, почему и пишу, из уважения к его памяти, с большой буквы. — Познакомился с ним на « Ярыньке ». Большой рыболов, господин Ключевский. Всякое лето бывает с супругой у нашего свояка . . . » — кожев-

ник Дудин, рядом с нашим имеиьем, старик мудрый и тоже великий рыболов. — «Чаем их угощаю на «*Ярыньке*». *Говорим про историю и государственные* порядки, а больше слушаем. Редкостный по уму, и шутку любит. Приятелями стали, и много я от него поспособствовал себе. Узнал он, что люблю читать про Историю, и очень одобрял. «А вот, говорю, исторические ро-маны читать не тянет». — «И хорошо делаете». — говорит. Спросил я почему хорошо. Он хитро так посмотрел, и обинячком мне: «мы с вами по лещам, а не по верхоплавкам». Я его стал доспрашивать. — «*Много у нас исторические романы* сочиняют, да мало знают историю... один только за исключение, граф Салиас, который... совсем ее не знает». — А тут у него и сорвись лещище!.. — ...вняк!..» словечко он пустил, с глаголи пишется. Во-от, смеху было!..»

Дед хорошо знал церковный обиход и учил нас с Катюшей песнопениям. Как она выучилась у мамы на рояле и показала успехи, дед выписал ей фисгармонию. Мама окончила Елизаветинский институт с отличием, особенно по рисованию и музыке, и принесла в приданное прекрасный по тем временам рояль Штюрцваге. Мы с Катюшей разыгрывали на нем и на фисгармонии по слуху церковное, особенно любимый дедом страстной канон. Когда исполняли «Се Жених грядет...» или «Чертог Твой...» — трепетали от радостного чего то в нас... святого света.

Мне было лет 12, Катюше — 9. Однажды, — весенними сумерками, помню, было, галки кружились в небе и кричали... будто стучат костяшки, через форточку слышалось... — Катюша ко мне прильнула и шепнула: «Ах, Сережечка... всегда т а к, да?..»

Я понял, что она хочет сказать: «всегда так будет?» Какие мы были чистые!..

Так вот, в церковь, — всегда пешком. Мирволил дед только бабушке, из-за больных ног. Отпускал ее в церковь, перекрестив, на смирной лошадке, в покойной пролетке, с самым степенным кучером. Попасть в кучера у деда было нелегко, «как на аттестат зрелости», шутил отец. Ни пить, ни курить, ни «баловаться»: кучером мог быть только «цельный мужик», женатый или вдовый, и не моложе сорока лет. Дед никогда не говорил — «кучер», — не наше слово». — а — «ездовой» или «выездной».

У нас было трое ездовых, и служили до срока, пока могли править тройкой «горячих». А там — на конный завод в «Лужки». Совсем заслуженные выходили на спокой, могли заниматься, кто чем хотел, на полном харче: плели плетушки и короба под пряники, драли осину на щепу, а больше рыбачили на «Ярыньке», кто как излавчивался, — по сомам, лещам и налимам; могли на базаре продавать, посылали и нам в гостинец. Я лавливал с ними крупных окуней и необыкновенных ершей, в четверть даже, и наслушался их рассказов про лошадей и про все, особенно «из природы».

При заводе была красивая наша дача «Milовида», а за ней сейчас-же глухобор, или строевик: сосны, дубы, береза, — необор белого гриба, груздей и рыжиков, с любимыми детскими маслятками по опушке. Перед дачей был выверенный землемером беговой круг, и даже «членская беседка» со шпилем, на котором взвивался трехцветный флаг, в царские и беговые дни. У круга было загородье, для молодняка, с высоким частоколом — от волков. Рядом с загородьем — «ло-

шадная богадельня », для отслуживших: все лошади помирали своею смертью, дед не терпел даже слова « живодерня ».

Этот конный завод был единственной страстью деда, нашей родовой страстью, еще от прадеда. Отец, мечтатель и книгочий, — по ночам он что-то писал и выкладывал на счетах, — унаследовал эту страсть и, до женитьбы, погибал в Москве с дедом на зимних бегах на Пресне. Мама не хотела лишать его радости, говорила даже — « я так любуюсь, как ты бежишь . . . » — но он сразу отрезал, когда понес его на пресненских бегах наш славный « Мороз 2-ой », сломавший санки и едва не закинувшийся в народ. Он тогда сказал маме: « кончил ! . . видел твое лицо, до чего ты была красива, даже в том ужасе ! . . » Помню, рассказывала сама мама, смущенно, и краснея, и я подумал, что ей приятно это рассказывать. Тогда, впервые увидел я, какая она красавица, — и лицом и всем. Слушала и Катюша, и после сказала мне шепотком: « а знаешь, Сережечка . . . мамаша ужасная чудо-красавица ! . . как ты думаешь ? . . » Я сказал, что мамаша гораздо больше чудо-красавицы, она — идеал !

Я знал уже это слово и пускал его в ход, когда надо было сказать о самом красивом или очень вкусном. Раз насмешил всех на Святках, сказав о заливном поросенке под хреном со сметаной:: « это . . . идеал ! . . » В тот же вечер мама посадила меня к себе на колени и стала говорить мне об « идеале ». Это была самая лучшая лекция за всю жизнь, открывшая целый мир. Я ее хорошо запомнил и потом восстанавливал на уроках, — с каким увлечением слушали ее милые мои мальчики и девочки ! . . Слушал мамину

лекцию и отец, что-то даже записывал. Помню, как он воскликнул: « Грина ! . . . » редко он называл так маму — Агриппину, — « отку-да *это* ? ! . . » Она смутилась и стала и д е а л о м .

Потом, на уроках, и до сего дня . . . я всегда в и - д е л , в и ж у ее, незаменимую, когда перед глазами оживает . . . священное для меня, незабываемое для всех: « А ты, с которой образован — Татьяны милый идеал . . . — О, много, много рок отъял ! »

Наш завод был невелик: пять-шесть маток, но первоклассных, заверенных. Помню уже отбывшую срок « Метель », оставшуюся красавицей. Она очень ценилась знатоками: известный коннозаводчик Телегин упорно выменивал ее у деда. Она была высоких кровей, — по слухам, от « Холстомера » ! — когда то звалась « Машистой », но что-то вышло . . . кажется был утрачен ее паспорт. Дед никогда не говорил об этом. Раз только . . . помню, когда я ему читал толстовского « Холстомера », он скрипнул креслом и показал над книгами, где висели в зеркальных рамах фотографий « призовых » . . . Может быть, мне послышалось . . ? — « Вон о н а . . . « Машистая »-то наша . . . » Перекрестился и строго велел: « Дальше ! » Я знал почти наизусть этого « Холстомера », его « ночи ». Тут дед позволил себе редкое исключение — н е из истории. Впрочем, это тоже была История: так и было написано.

Я очень любил про лошадей и пробовал читать деду « Чертопханова », но он отмахнул, сказав: « нечего ерунду !» я хотел ему объяснить, что тут самое трогательное, но он не слушал: « ерунда, цыганщина ! . . от Колюши знаю, темное тут, по-хоть ! . . » Я не знал, что такое « по-хоть », спросил у деда, но он сердито

чвокнул, — это значило: « кончен разговор ». Я после спросил у мамы. Она сказала, тихо: « греховное чувство ». Я понял, кажется.

От « Метели » пошли наши — « Метельный » и « Буран ». « Метельный » — ехал на нем сам дед — заработал на Пресне « Долгоруковский » и серебряную братину графа Орлова, « Буран », великая надежда деда, умер: его покусала взбесившаяся кошка, как-то прорвавшаяся к нему в денник. Смерть его была страшная, говорили ездовые, но я так и не мог дознаться почему — страшная: « дедушка наказал не сказывать про него всего ».

Раз в неделю, в хорошую погоду, дед ездил в « Лужки » и брал меня. Я тоже начинал загораться этой страстью и дивил деда познаниями статей. Это был особенный мир, стихия. Всегда ровный, не повышавший голоса ни дома, ни на фабрике, тут дед вскипал и, если усматривал непорядок, гремел и разносил. Но никто его не боялся. Я любил его гром, да и все на заводе начинали при нем вскипать и загораться, даже и виноватые. Дед не бранился, а только голос показывал, разносил наставительно, « как протопоп-благочинный », — говорили ездовые, — « даже и от Писания ». На заводе, кажется, нарочно устраивали, чтобы « повеселил разгоном ». Даже лошади радовались его приезду: издалеча чуяли его и начинали весело-мелко ржать и играть по стойлам. Они очень любили пряники и всегда получали мерно.

Когда мы приезжали, начиналась парадная выводка. Конюхи надевали новые безрукавки и щеголяли — каждый своим показом. Щеголяли и рысаки: шея дугой, хвост трубой, ноги — в-выпляс.

Эта лошадиная страсть — русская наша страсть.

Я убедился в этом на чужбине, когда побывал в Латгалии. Эта страсть захватывала даже маму, такую всегда ровную, во что-то углубленную. Об отце что и говорить. Оба они рьяно состязались на лужковском кругу, зимой. « Побитая » отцом мама загоралась, вспыхивала густым румянцем, чуть-что не плакала. Но чаще всего торжествовала и тогда вся горела. Она вела бег умело, расчетливо, не « ерзала » руками, как бывало с отцом, мечтавшим и на кругу, « считавшим галок », — словечко деда, — а будто и на кругу молилась, — Катюшино словечко, — помнила лошадиные сноровки — науку деда и ездовых.

На ее победы дед радостно гремел и называл молодцом. Отец тоже радовался и кланялся ей смущенно, одухотворенно как-то. В эти минуты она была чудо-красавицей, идеалом. Но больше всех радовалась Катюша. прыгала вокруг мамы, целовала зеленые ее рукавички из сафвъяна, мокрые губы « Зорьки », и умоляла деда — позволить ей. Она скоро стала страстной « охотницей », переняв от « Сентьича » — Арсентьича — все беговые тонкости, и побила на « Гульке » не только маму, но и самого деда. Дед сорвал свою беличью шапку и бросил к ножкам Катюши, крикнув: « кро-вная ты моя ! »

Катюша не верила своей победе и умоляла деда сказать « всю правду »: « вы, дедушка, это нарочно... четыре сбоя дали !.. » Дед даже рассерчал, крикнул « Сентьича »: « у него спроси, глупая !.. он те скажет, почему дед про... промазал !.. » Старого ездового слово считалось непреложным. Он выложил всю правду: « у дедушки не те руки... по второму кругу стал перехватывать, заерзал ». Дед подтвердил кивком и сказал: « верно, пора кончать ».

Это был последний его « заезд », перед надвигавшейся болезнью.

« Гулька » с Катюшей были великими друзьями, до удивления. Катюша переболела тифозной горячкой и долго не навещала « Гульку ». Стояли первые дни весны. По случаю выздоровления Катюши дед устроил парадную выводку: во время Катюшиной болезни он и в « Лужки » не ездил. Катюша еще не могла поехать. Когда дед выводил « Гульку » на поводу, она осматривалась и тихо-призывно ржала. Дед хотел выправить из-под ремешка холку, бросил на шею « Гульке » повод, — « не остерегся », — она тихо толкнула деда губами и в подбородок, махнула через перильца круга и помчалась . . . За ней пустились верхом сторожевые, но перехватить не могли. По желанию деда « Гулька » два раза навещала Катюшу во время ее болезни, дорогу помнила: влетела во двор и по-особому, радостно заржала.

Катюшу вынесли на кресле и они обе целовались на радость всем. Как раз въехал на дрожках дед, прикидывая « секунды »: « Гулька » — точно, конечно, не известно, — показала тогда « свои настоящие секунды », так говорил и « Сентьич ». Но главное, обошлось все благополучно: « Гулька » никого не сшибла, не захлестнулась в повод, ловко перехватив его зубами.

Дед тотчас же послал за батюшкой, отслужили благодарственный молебен, святили воду и кропили « Гульку » и Катюшу. Все говорили, — и я это сам видел, — что « Гулька » удивлялась, что Катюша совсем другая, — ее остригли, — и два раза лизнула « стрижку ». По просьбе Катюши ее оставили ночевать.

После молитвы, музыки и чтения, лошади были

главной привязанностью Катюши. Проездка и бега как-то вязались в ней с музыкой. Раз она мне сказала: « знаешь, Сережечка . . . лошади самые чистые, самые постигающие! когда я вслушиваюсь, как они шепчутся в денниках . . . заметил, как они шепчутся? мне кажется, что они молятся . . . »

Я вполне согласился с ней.

Август, 1948.

IV.

Два события связаны во мне с дедом Иваном: историческое и семейное. Вот историческое.

Масленица выдалась на-редкость: солнечная, в морозце. Справляли ее у нас в тот год так весело, что дед сказал: « что-то мы больно разыгрались, плакать бы не пришлось ». Старейший из ездовых, Кузьмич, под девяносто годов, поправил деда: « эка беда, Иванушка . . . сле-зы! все от Господа, все примай ». Был он мудрец, всегда веселый, называл деда Иванушкой, мальчишкой даже; когда поступил к прадеду, деду было пять лет, — так он для Кузьмича мальчишкой и остался.

Как всегда, ездовые наладили в « Лужках », на пруду, ледяные горы и каток. Всю масленицу катали мы в « Лужки » на тройках, в розанах, бубенцах и колокольцах, с родными и гостями. До упаду катались с гор, а с нами и ездовые, даже и Кузьмич, на ледянке, размахивая шапкой. После катанья ели в людской

блины, румянистые, с гречкой, необыкновенно вкусные. Ели с нами и ездовые, и конюха, веселые все, довольные, учили меня, как свертывать уголком обжигающий пальцы блин и макать в растопленое масло. Дед угощал на-славу, не отличая, гость ты или последний мальчишка-конюх: и черной икрой, и семгой, только мало кто из простых ел икру, — копытная, будто, мазь; а вот с селедочкой, — за милое удовольствие! А ездовые своим нас угощали, — чудесной ухой налимьей, с молоками, и жареными лещами с кашей, на наших глазах пойманными в «Ярыньке»: протаскивали сети подо льдом. Лещи были — живой-то противень, золотистые, чуть с красникой, не налюбуешься. И уха, и лещи были до того вкусные, что мы, прямо, объедались. Взрослые выпивали по третьей и даже по четвертой, и братски лобызались с ездовыми. Даже отец и дед, не пившие никогда, на сей раз разрешили и были отменно веселы; мама — и та пригубила.

Без всякой чувствительности, впишу: такое общение с народом было, поистине, братским, православным. От этой ласки играла моя душа, и я целовался с ездовыми, а они ласково называли меня — Сергунь. Та масленица так и осталась во мне светлой-светлой. Не омрачило ее, что мама вывихнула себе ногу, и ее уложили на несколько дней в постель. Дед с облегчением говорил: «ну, вот и слезы, после радости-то!» А слезы то были впереди.

Теперь, вспоминая все, нисколько не преувеличу, вписывая: «были слезы, великие, у многих-многих».

На первой неделе поста, как всегда дед говел, и на Страстной еще. Я ходил с ним к преждеосвященной обедне, а в субботу приобщался, — мне еще не исполнилось семи лет. После причастия, поминали усопших,

ели блины с луком и кутью, — « коливо »: распаренную пшеницу с медом и взварец, будто в рождественский сочельник.

Дед мне рассказывал, что это — в воспоминание о языческих гонениях. Древние христиане на Востоке с Божией помощью узнали про обман царя-гонителя, приказавшего тайно окропить на рынках идоложертвенной кровью все припасы, чтобы христиане осквернились: но один святой старец получил во сне откровение и предупредил братию, и никто на рынках не покупал, а питался скудным своим запасцем, — медом с пшеничкой да фигами . . . — « вот мы и вспоминаем ». « Коливо » вкушал я с благоговением, как просвирку. Да и все: и дед, и отец с мамой. Только дядя Вася, живший отдельно, в мезонине, больной чахоткой, не захотел этого « колива » и отослал с запиской. Дед прочитал записку, покачал головой в раздумьи и сказал, как бы про себя: « и дурак же ! . . прости меня, Господи ». И разорвал записку. Я и тогда уже понимал, что в записке было что-то нехорошее. О дяде Васе у нас говорили шепотком, и я мало что знал о нем, а при деде о нем и не поминали. А когда я как-то спросил маму, хороший ли дядя Вася, она сказала только: « да, он добрый . . . »

Дядя был старший сын деда и любимец, дед им гордился и говорил про него — « бо-льшая голова ! » Но это было давно. А потом стал для деда — «болью». Раз я услыхал, как рассердившийся дед крикнул, спускаясь от дяди по лестнице: « не человек, в кого только ? ! . . отшибок какой-то . . . прости, Господи ! . . »

О дяде Васе надо вписать в « записки », тогда многое уяснится во всем нашем.

Он окончил гимназию с золотой медалью, посту-

пил в университет, но скоро бросил ученье и пошел странствовать по России. Два года о нем ни слуху, ни духу не было. Дед, говорили, исколесил всю Россию, где-то его нашел... — и воротился в большой тревоге. Скоро узналось, что дядя сослан в Сибирь на поселение. Дед ездил в Петербург и исхлопотал прощение: отдали дядю деду на поруки, и он поселился над нами, в мезонине. Мама раз мне сказала: « дядя добрый и ... несчастный ». Я подумал, что он потому « несчастный », что очень болен.

Редко я заходил к нему, и всегда с мамой, которая за ним ходила. У него все комнаты были уставлены полками с книгами и всякими аппаратами: он делал какие-то « опыты », — « химик », называл дед. Говорили, что он заболел в Сибири; а наши ездовые как-то сказали мне, будто его избили в рощах парни за какую-то девушку: он пролежал целую ночь в лесу, под холодным дождем, — отбили ему грудь. Он был красавец, но только совсем лысый и страшно худой, с горячими глазами. В его комнате не было ни одного образка, а на письменном столе лежал человеческий череп, очень страшный, как « адамова голова ». Как-то я пробрался к нему без мамы — смотреть картинки. Он показал мне череп: « хорош фонарик? » — велел отвернуться на минутку, что-то сделал и приказал: « а теперь смотри ». Я обернулся и увидал очень страшное: череп смотрел на меня зелеными глазами: в его глазницы вправлены были зеленые стекляшки, а внутри горела свеча. Я закрылся руками, а дядя засмеялся: « видишь, как это просто! был человек, а теперь фонарик ». Я признался маме, что был у дяди и видел « человеческий фонарик ». Она вся вспыхнула, сейчас же пошла к дяде и сказала, — я подслушал

на лестнице: « стыдно показывать ребенку такие опыты!» И ушла раздраженно хлопнула, даже, дверью. Я уже понимал, что дядя какой-то другой, чем мы. В церковь он не ходил и не пускал священников Христа славить. Хоть мне и было почему-то страшно, что он *такой*, но меня всегда тянуло к нему: на стенах у него были карты разных земель, висели с потолка птичьи чучелки, и всюду лежали атласы со зверьми, цветами, птицами. Но лучше всего была горка-камень, с вправленными в нее самоцветными камнями. Была еще на белом картоне, на стене, огромная лягушка, распластанная, будто человек. Я как-то спросил, зачем *такая* лягушка, распластанная? Он только засмеялся. Потом, уже взрослый, я понял, зачем лягушка: на лягушках в те времена делались опыты, лягушка *оживала*... — такие опыты делал известный Сеченов, написавший книгу « рефлексы головного мозга », очень ценившуюся материалистами.

От ездовых я слышал, что дядя Вася богаче деда: « отказал ему дяденька миллиён ». Знал я также, что дядя выстроил два училища для крестьянских ребятишек, и что он « любит простой народ ». Это было очень приятно мне. Должно быть за это и ухаживала за ним мама, которая тоже любила простой народ. Дед как-то сказал: « эх, золотое сердце, да ум-то у него... *заумный* »! Этого я не понимал. Прислуживал ему лакей Гаврилка, которого дед называл « петрушкой », за пестрое франтовство: Гаврилка ходил в разноцветных галстуках и штанах в клеточку. Дед раз схватил его за ворот и спустил с лестницы, когда Гаврилка осмелился ему сказать: « барин больны и не примают-с ». Дядя извинялся перед дедом: « он же дурак, прогнал бы его, да привык ». Однажды,

в грозу, я перекрестился и примолвил, при молнии: « свя-свят-свят, Господь Саваоф . . . » — было это при Гаврилке, в мезонине. Гаврилка сказал: « никакого Господа нет, а иликтричество, давно всем известно по наукам ! » Я сказал маме. Она ужасно рассердилась, пошла к дяде и заявила: « если такое повторится, я не стану ходить за вами ! » Дядя умоляюще поднял руки и тихо сказал: « не бросайте хоть вы меня ! » Он отказал маме все свое состояние, больше ста тысяч, — « за исцеление от самого страшного недуга », — так и написал в завещании. Я думаю, что он боготворил маму.

На другой день после « колива », в соборе была торжественная служба — « литургия с анафемой », — так у нас называли. Это была « неделя Православия ». Собор был переполнен. На середину храма вынесли иконы, и вышло много священников с преосвященным. На солее стоял наш великан — протодьякон Дроздов, с черной бородой и пламенными глазами, и выкликал имена святителей и царей, — так объяснил мне дед, — поминал их за подвиги во славу Православия. Потом возглашал вечную память. Но самое главное было после. Протодьякон изо всей мочи стал выкликать имена богоотступников и еретиков и после каждого имени гремел страшным голосом — « а-на-фе-ма-а ! » — а священники повторяли трижды — « а-на-фе-ма-а ! . . » Я разобрал имена знакомые мне по Истории и по рассказам деда: « Пугачова Емельку », « Стеньку Разина », « Гришку Отрепьева » . . . и « всех богоотступников и преступников православной Державы . . . » — насколько помню. Было страшно. Недалеко от свещного ящика, где стояли мы с дедом, одна барышня вскрикнула — « Ой ! . . » — и упала в обморок. А

протодьякон Дроздов гремел и гремел, пугая: « а-нафе-м-а-а-а ! . . » Со страху я залез под свещной ящик, но дед вытащил меня за ногу и прошептал строго-строго: « Молись, а не трепещи ! » Мама с отцом были тогда в Москве, на « сборное воскресенье »: была там в Манеже, выставка куроводства, и они всегда ездили покупать отборные « гнезда » кур и уток, — оба были большие куроводы. Вернувшись мама мне объяснила про « ана-фему », про богоотступников и « государственных преступников », которые хотят разрушить наше царство. В тот вечер я горячо молился чтобы не разрушили враги наше православное царство, и поминал-повторял: « анафема ».

В вечер «анафемы» Гаврилка позвал меня к дяде: прислали новые картинки. Это был атлас рыб — совсем живые налимы, лещи ерши . . . как в « Ярыньке ». Я сказал дяде про « анафему ». Он усмехнулся: « вот, идиоты-то ». И стал говорить, что это ругань, а в церкви ругаться, кажется . . . — это « кажется » он произнес усмешливо и даже злобно ! — не дозволяется. Я пошел к деду и рассказал. Дед сказал раздраженно — « не дозволяется ? . . » — взял Евангелие и велел: « читай — ткнул пальцем. И я прочитал: « идете от Мене, проклятии . . . в огнь вечный, уготованный дьяволу и аггелам его . . . » Дед остановил: « про-кля-тии ! » — слышишь ? . . « прокля-тии » ? ! это и есть « анафема » . . . и сказал это сам Христос ». Я спросил: « а дядя Вася, тоже анафема » ? » Дед поморщился и отстранил меня. Я не понимал, что сделал ему больно.

На другой день, с утра, я докатывал масленицу с « нашей горки » в саду. Была оттепель, горка разрыхла, продавливалась, и я стал помогать весне, рас-

швыривая лопаточкой мокрый снег. В березах протяжно каркали вороны, давились будто. Я стоял на площадке, откуда скатываются, у забора, за которым была дорога к реке. Везли лед набивать погреба. За дорогой тянулся снежный пустырь; зимой и на масленице здесь бились на-кулачки, ходили « стенка на стенку » посадские и ткачи с большой мануфактуры. Недавно, на масленице, кузнец Акимов, первый у нас силач, один гнал стенку ткачей до самой Волги, и двоих отвезли в больницу. Я швырял снег и, вдруг, услыхал за забором охрипший выкрик: « всех убивать, анафемов проклятых ! . . » Я выглянул за забор и онемел от страху: у самого забора стоял великан-кузнец, с черной бородой и пламенными глазами, как у протодьякона, в черном полушубке, без шапки, и грозил кулаком. Я не успел присесть, и кузнец увидал меня. Он ковал у нас лошадей, ласково называл меня « пряничком ». Но теперь он был совсем другой, очень страшный. Грозясь кулаком, он крикнул: « чего пляшешь безо время ? » — а я и не плясал, — проклятые анафемы нашего Царя убили ! . . бежи-прячься, всех убивать пойдем ! . . » Я свалился с горки в глубокий снег и затаился. А кузнец все кричал: « всех анафемов убивать пойдем ! . . бежи-прячься ! . . »

Я все сидел в снегу, от страха стуча зубами, и, вдруг, в ушах у меня загремел голос кузнеца: « нашего Царя убили ! . . » Нашего Царя ? . . красавца, с высоким хохлом ? — портрет его висел в кабинете деда. Царя нельзя убить, он — священный, Помазанник, вспомнил я слово деда, — « теперь у нас нет Царя . . . и придут враги, и будут всех убивать . . ? » А кузнец все кричал: « Царя убили, анафемы ? ! нашего Царя-Ослободителя ? ! . . теперь всех убивать пойдем . . . »

Я выбрался из снега и с плачем побежал из сада. Во дворе, под окнами людской, где обедают холостые рабочие, стоял приказчик Милочкин и кричал, стуча кнутовищем по окошку: « ей, выходя, робята ! .. нашего Царя-Ослободителя в Питере вчерась убили ! .. бросай ложки ! .. »

Из людской выбежали пекаря, в одних рубахах, крестясь и озираясь, и на всех лицах я увидал — страх и страх. Как раз в эту минуту влетел во двор дед на « Ворончике », в беговых саночках, без шапки, и крикнул не своим голосом: «ребята, нашего Царя убили ! .. Освободителя ! .. » Голос у него сорвался. Он тяжело поднялся из саночек, черпнул свежего снежку из кучи и стал жевать и тереть потемневшее лицо. Рабочие крестились.

Случилось это вчера, в Неделю Православия, почти час в час, когда возглашали анафему злодеям: 1 марта, 1881 года, в Санкт-Петербурге.

Впоследствии, меня поразила такое совпадение: Зло как бы воплотилось и, приняв вызов Церкви, ответило цареубийством.

Декабрь, 1948.

V

День 2 марта 1881 года остался во мне поныне — страшным. Этот — во всех и во всем — страх был не простой страх-боязнь, а что-то притаившееся, нечистое: его страшатся и проклинают, как было вчера

в соборе, призывая на помощь Господа. В этом страхе таилось предчувствие З л а, невидимого, и потому еще более жуткого. Так, должно быть, чувствовали и наши пекаря-пряничники и потому оробели и крестились. Так, должно быть, чувствовал и дед: никогда еще не видал я его таким растерявшимся. Ухватившись за его руку, я жался к нему, но он не замечал меня и не утешал. Он ничего, кажется, не замечал: все хватал снег и ел, а рабочие на него смотрели, чего-то ожидая. Тут вбежал во двор старичок-будочник и подал деду потерянную по дороге бобровую шапку: дед был у губернатора, как депутат от купечества, — у него был мундир и сабля.

« Шапочку вашу, Иван Васильич, подобрал . . . » — сказал будочник.

Дед сказал только — « а . . . » — сунул будочнику, что попалось, и стал говорить.

Сколько лет прошло, я не могу вспомнить всех слов деда, да и понимал, конечно, не все; но осталось главное, и тогда мне понятное, что — « теперь уж самим нам надо ». Он говорил грозно, срывая и нахлобучивая шапку, что « пришли страшные времена, и теперь самому народу надо досматривать ! начальство не уберегло . . . ко-го ? — Царя-Освободителя . . . » Он сейчас был у губернатора и так и сказал, что — « начальство не досмотрело, и теперь уж мы сами ! . . » Рабочие разом крикнули !

« Сами будем ! . . проспали, дармоеды ! . . »

Говорил еще, что враги кидают подметные грамотки, как у нас намедни, и надо народную охрану, ходить по городу караулом, но чтобы чинно и по закону. Я вспомнил угрозы кузнеца — « теперь всех убивать пойдем, анафемов проклятых ! . . » Рабочие

кричали — «все в охрану, записывай!..» Но дед сказал, что сейчас надо всем итти в Собор и подписать присягу, будет панихида. Ночью вызвали в Питер юнкеров-кавалеристов, для охраны, а солдаты в казармах, на-готове. Они еще утром принесли присягу новому Царю, Александру III, — «теперь мы присягнем и возьмем охрану в свои руки... оружия у нас нет, возьмем дубины!..» Все закричали:

— Правильно!.. все с дубинами!..»

Я испугался дубин и теребил деда за руку: кто враги? Он сказал: «на случай, если увидим поджигателей... чтобы смуту делать!..» Тут пришел кузнец Акимов, с толстой дубиной, и с ним еще двое здоровенных мужиков, с базара: мясник и дровяник. Кузнец закричал, тряся дубиной: «всех убивать, кто не признает Бога и Царя!..» — и погрозил на мезонин. Я понял, что это про дядю Васю... — «Пусть присягнет, а не то в голову колом!..»

Не помню я лица деда, так как тут приехали отец с мамой, привезли из Москвы кур и петуха в плетушке и радостные воздушные шары, мне и Катюше. Помню, как весело пел петух. В это время пробегал дядин лакей Гаврилка, чистивший пиджак снегом. Кузнец кинулся на него с дубиной, крича: «чего с... с.., смеешься?!..» Дед вырвал у него дубину и пригрозил:

«Ты первый зачинаешь смуту, в такое время!..»

Но кузнец стал кричать:

«Где теперь закон, ежели Царя убили, анафемы-неверы?!.. теперь сами будем устанавливать закон!..

Всем, должно быть, стало страшно, что теперь нет закона: одни крестились, другие закричали:

«Указывай, Иван Василич!.. все за тобой пойдем!..»

Теперь вспоминая этот день на нашем дворе, я понимаю, что на моих глазах происходило тогда очень важное: сам народ проявлял себя, как это было в Истории, в « смутное время », о чем я читал деду у Карамзина. Такое же я видел, четверть века спустя, в Москве, в 1905 году. Тогда шли толпы народа с иконами и портретом Государя. Тогда тоже не было закона, и были зверства. Тогда не было уже деда — законника, а хаос. Но надо сказать, что в этом хаосе все же хранилось чувство какого-то своего права инстинкт порядка, и в этом инстинкте — страх перед хаосом, у большинства.

Помню, дед говорил еще:

« Вот, ты косишь и увидишь змею-гадюку . . . чего ты сделаешь ? . . » Рабочие кричали:

« Голову ей косой ! . . »

« А коли бешеная собака на тебя ? . . »

« Колом по голове ! . . » — отвечали пекаря.

« А когда его увидишь и опознаешь . . . нигилиста ? . . »

« В голову колом ! . . » — закричали все дружно.

« Нет, врешь ! . . такого тащи в квартал, его закон покарает, как велит Царь, Законодержец ! . . »

Рабочие молчали. А кузнец закричал:

« Нет теперь закона, коли самого Царя убили ! . . мы сами теперь — закон ! Мы знаем, где нигилисты ? . . » — и погрозился на мезонин.

Отец подошел к кузнецу и взял его за грудки. Он был не ниже деда, но молодой, силач. Знали его силу: он разгибал сряду две подковы, чего и кузнец не мог. Я хорошо помню его слова: мама их записала и читала мне:

« Ты знаешь, что я солдат ? . . » — Он пошел

добровольцем в турецкую войну, с благословения мамы и деда, и вернулся с двумя Георгиями, раненый в левую руку, которая у него плохо действовала. — « Ты тоже солдат и должен помнить дисциплину. Так вот, Акимов, не делай смуту, а запишись в охрану и будь верен закону и Царю. Теперь у нас новый Царь, Александр III, а мы подданные его ? .. Охрану Москва установила . . . « народную охрану ». Питер принял, я видел в Москве депешу !.. А как Москва, так и мы».

Я слышал это. Я видел, как бы, « живую Историю ». И народ не « безмолвствовал », а кричал:

« Пра-вильно, Николай Иваныч, Москва — голова ! . . »

Слова отца и самого кузнеца смирили. Он сказал:

« Я не против Москвы ! Сам запишусь в народную охрану . . . только пускай безбожник покается и поцелует присягу . . . » — и погрозил кулаком на мезонин.

Я вспомнил об этой сцене, когда читал « преступление и Наказание ». Там написано о Раскольникове:

« На второй неделе Великого поста пришла ему очередь говеть вместе со всей казармой. Он ходил в церковь и молился вместе с другими. Из-за чего-то, — сам он не знал этого, — произошла однажды ссора: все разом напали на него с остервенением: « Ты безбожник ! ты в Бога не веруешь ! » — кричали ему, — « убить тебя надо ! . . » Он никогда не говорил с ними о Боге и о вере, но они хотели убить его, как безбожника ».

Рабочие надели полушубки и вместе с отцом и дедом пошли в собор — « целовать присягу и подписаться на орленом листе ». Я был с ними, но мне, по малости лет, еще рано было подписываться. Перед

собором стояли солдаты, а впереди — знамена. Было уже не страшно: такая сила, и все штыки!

Придя домой, я побежал к дяде Васе рассказывать: солдаты поцеловали присягу, теперь ничего не страшно. Он сказал: « подло сделали в Питере... идиоты!.. » Я кинулся ему на шею и пошептал: « дядичка, милый... поцелуйте присягу!.. » Он сказал: « конечно, я русский человек, как все ». Я залился слезами и побежал сказать всем. Дед, помню, перекрестился, а мама стала светлой. Заложили лошадь, и дядя поехал с дедом в собор.

Вечером приехал жандармский полковник Пыхтеев, по прозвищу « Пыхтелка », толстый и задыхавшийся. Говорили, что он « совсем не вредный ». С ним были жандармы и кузнец. Позвали еще двоих рабочих. « Пыхтелка » долго снимал калоши в передней и откашливался. Рылись в дядиных бумагах и книгах. Уходя, « Пыхтелка » потрепал дядю по груди и сказал: « а, чай, сердечишко-то трепыхалось как заячий хвостик, а? » Дядя ему сказал, будто: « Лет десять тому назад, может быть, и трепыхалось бы... а теперь ровно бьется ». Полковник, говорили, намекнул этим, не спрятал ли дядя на груди « тайные бумаги », и давал время спрятать, возясь в передней. Так он делал не раз с другими. Кузнец показал полковнику: « а образов-то нет! » Полковник сказал, что это « не наше дело ».

« Наше, Ваше высокоблагородие! Нет у него Бога — нету Царя! » — пошел и плюнул.

Дед был расстроен обыском:

« По-зор! обыскивать Печкиных! Мало моей поруки?! Не уберегли Царя, на к о м отыгрываются!.. на полумертвом!.. »

Закрыл ладонью глаза. Отец обнял его и поцеловал в голову.

Вскоре нашли в Слободке Гаврилку с пробитой головой. Акимова посадили в тюрьму, но скоро выпустили, не нашли улик: соседи кузнеца все дружно показали, что кузнец в ту ночь не выходил, « прострелом » маялся. Гаврилка выжил и уехал из города.

Дед велел повесить в зале большой портрет нового Царя, очень красивого; и еще — убиенного Царя, на смертном ложе: помню красивую его голову, на подушке, и на лице пятна — раны. Горела синяя лампада, в пальмах. Нравилось всем, что новый Царь — силач: большим пальцем вгонял в доску трехдюймовый гвоздь. Говорили: « этот удержит Державу ! » Он сидел с семьей высоко, а внизу были всякие народы, в своих одеждах, — « подданные ». У Царя была широкая золотая борода лопатой, а глаза ясные, большие. Нравилось еще что он ходит просто, в смятой фуражке, и любит щи и кашу. А, главное, пьет только « отечественную », вдовы Попова, — « самый-то русский Царь ! »

Дед велел печь блины, для нас и для рабочих. Пекли и в « Лужках », ездовым и конюхам. Служили панихиду на дворе. Рабочие пели с певчими « вечную память », на коленях. Роздали нищим по пятаку, « за упокой ».

Страх проходил: Россия теперь под сильным Царем, со всеми врагами справится. Но еще долго ходили караулом в околотке наши рабочие, держали « народную охрану ». Ходили с ними, по очереди, и отец с дедом, давая пример порядка.

Теперь понимаю, что так дед воспитывал народ, приучал к « порядку », по силе разумения своего. И

это, маленькое, все же была творившаяся на моих глазах — История. Такие же деды творили ее тысячелетие. И сложили великую Россию, ведя за собой народ. Прочтут мои неумелые « Записки » . . . — улыбнутся ? Пусть же в Историю заглянут: народ творил ! Когда умели его вести.

Помню такую сцену, мама потом мне объяснила.

Кричал дед и стучал кулаком по столу:

« В Гатчину схоронился ? ! . . Иди к народу ? . . Спроси у него совета ! . . Иди к молодым, иди в Университеты ! . . Собери же птенцов, сумей оте-чески им сказать, птенцам: « готовьтесь со своим Царем Россию строить ! » Да что же было бы, Го-споди ! . . Да его на руках бы вознесли ! . . Иди к мужикам, к рабочим ! . . Открой им душу ! . . Помоги, Господи ! . . »

Мама мне объяснила и сказала, что дед Иван сам написал Царю . . . — не получил ответа. Его вызывали к губернатору. Угрюмый вернулся дед.

Если бы он мог предвидеть, что случится через 37 лет ! Теперь, вспоминая, вижу: посылались народу знамения. Цареубийство 1 марта 1881 года произошло почти что час в час с анафемствованием « богоотступникам и врагам Веры и Державы »; избрание на царство Михаила, пребывавшего с матерью в Ипатьевском монастыре, а династия кончилась, в Екатеринбурге, в доме Ипатьева. Было и еще, — в самый час Коронования — порвавшееся ожерелье Царицы. Были и другие знаки. Один из них был уловлен поэтом-символистом: Ф. Соллогуб, — Тетерников, — отметил его игривым стишком, как в начале войны 14-го года, провалился, Цепной, кажется, мост в Петербурге:

« Под палачами рухнул мост,

« Погиб городовой... Ро-ма-нов!
« Поверьте: так же будет прост
« Конец насилья и обманов.

Сшутил поэт. Служилый русский народ, воинская часть солдат-кавалеристов — не жандармов даже! — « палачи?!» Дождался поэт конца. Узнал все — и умер. Другой поэт проводил его не менее игриво:

« Эх, Те-те-ря!..
« А что — теперя?!..

Правда, надо воспитывать народ. Со школы надо.

« Писал Ему и об этом...» — сказал дед. — Да, со школы надо».

Какая правда! Я убедился в ней на моих уроках. Как жадно тянулись к живой Истории милые мои мальчики и девчушки! Я уже видел всходы, но было поздно.

Теперь — к семейному событию. А там — к самому роману, если только это роман... верней — к трагедии.

Январь, 1949.

VI.

Семейное событие, много уяснившее мне в жизни нашей семьи, произошло года четыре позднее « исторического »: мне было тогда лет девять, и я уже говел, как взрослые.

Мы только что вернулись от Светлой Заутрени

и обедни. Ночь была темная-темная, и тихая, крапал дождик, но на душе у меня было светло, — воистину Светлый День. Все мы причащались в Великую Субботу, и оттого было так радостно, чудесно: очищение от грехов — и лучезарное Воскресение! Мне казалось, что мы, будто, другие, новые, как и все в нашем доме, очищенное и обновившееся, что мы совершили какой-то « чудесный подвиг ». Все в доме, особенно в парадной зале, где были приготовлены розговины, блистало особенной чистотой, все, будто ожививилось, обновилось: воскрешено от греха и тлена, и потому так радостно и чисто, и так блестит. Огромный стол, раздвигавшийся только в великие праздники, для гостей, и в главные именины, блистал снежной белизной скатерти, цветами, серебром, хрусталем, — « пасхальным ». Всюду корзины гиацинтов, сирени, тюльпанчики и первые, синие-синие, подснежники... — самая-то весна. На большом фаянсовом розоватом блюде — яркая груда пасхальных яиц, казавшихся мне священными, чудесно-пунцовых, радостных, — дед не любил пестроты. Великолепные куличи, еще дышащие теплом и сдобой, в пунцовых розах из нашей оранжереи, возглавлялись кудрявыми, будто живыми, « агнцами », выделки знаменитого нашего пекаря Прони, — « артиста », называл его дед, — « хоть бы в Москву, на выставку ». Блистающие чистейшею белизною-чистотою пасхи убраны были по боковинкам священными « страстями »: крестом, копием, лесенкой, виноградной гроздью и свято-знаками — Х.В. — от мастерских форм, искусной резной работы того-же Прони, — не налюбуешься. И всего было в изобилии, чем полагается разговляться, и все — в радостных украшениях и цветах. Самое освещение было особен-

ное, пасхальное: не лампы, а кубастые восковые свечи, повитые тонким золотцем, в пунцовых бантах, — в блистающих бронзой канделябрах, и в мутно-хрустальной люстре: мягкий, священный, свет, — « тихий свет ». Все мы были праздничные, « пасхальные »: мама, совсем воздушная, розово-снежная, кружевная, « красавица из красавиц », — называла ее Катюша, — « высокий идеал », восторженно думал я, любуясь ею; поздней, переняв от отца, я называл ее, по Пушкину: « чистейшей прелести чистейший образец »; бабушка, помолодевшая, « гелиотроповая », в жемчужно-серебряной наколке; отец, в отличном фраке, с глубокой белоснежной грудью, с редкостнейшим « цветком английских лордов », — гардэнией, на шелковом отвороте фрака. Будто только-только из под венца; но ослепительней всех, — благообразней, хотелось бы мне сказать, — величественней и благостней, — дед Иван: от величавых седин, от свежего мастерского сюртука, от ордена св. Владимира ... — исходило блистание света, — « священного », казалось. Не говорю о себе о Катюше, и о меньшей сестренке. Оленьке: мы были « ангелочки », « небесно-непорочные », называла нас бабушка. Все были радостны, все сияли, все — ч и с т ы е.

В этот памятный день пасхальных розговин случилось неожиданное, наполнившее всех нас особенно-новой радостью, спустился из своего мезонина дядя Вася. Я не помнил его за розговинами с нами. А в этот Светлый День он неожиданно сошел к нам, и не во всегдашнем, « больном », халате, а в щегольском сюртуке, в-распашку, муарово-лучезарном галстуке и низко вырезанном жилете сиреневого тона; но ... с ужасной своей « плевалкой », с синим стаканчиком, от

которого остро пахло скипидаром. Его неожиданное появление изумило всех. Дед сам подвинул ему кресло, обнял за талию, сажая, и сказал торопливо-радостно: « вот-обрадовал . . . ми-лый ! . . » Мне было и радостно и жутко: в щегольском сюртуке, дядя показался мне почти неживым, другим, страшным даже, от худобы мертвенно-бледного лица, будто чуть подрумяненного на скулацах, от ввалившихся глаз и исхудавших рук, с тонкими лучиками косточек. На слова деда он глухим шепотом выговорил: « скучновато одному . . . хочется вспомнить давнее, детское . . . » Не было на его губах обычной кривой усмешки. Мне почувствовалось, что происходит что-то, совсем особенное: все примолкли, словно боялись, что разговор может повредить больному, такому слабенькому, как мыльный шарик, — так и подумалось, — и он растает. Но не в этом « событие ».

Дед взял лежавший перед его прибором лист бумаги, — все ожидали его христосованья, как всегда, и не начинали разговляться, — надел очки и стал просматривать написанное. Я знал, что это список бедных семейств, кому посылалось « праздничное ». Сейчас и начнутся розговины. Но дед тряхнул головой, и лицо его стало красным.

« Постойте . . . позвать Ансеева ! . . » — воскликнул он строго и тревожно, — « что за . . . « ис-то-рия ? ! . . »

Все переглянулись, тревожно тоже. Такое необычное в такой День ! такое деловое, будничное ! . . Лицо деда похмурилось, в тревоге.

Явился старший приказчик Ансеев, почтенный старик, медлительный и всегда суровый, — « канцлер » деда. Он был еще парадный, в долгополом сюртуке,

с зарумянившимся лицом, что-то еще прожевывал: должно быть, оторвали его от розговин. Как и у всех нас, на его суровом лице была тревога.

— «Почему не показаны Се-мечкины?.. не послано?!..» — чуть в раздражении, спросил дед, протягивая дист Ансееву и выжидающе-хмуро глядя в лицо приказчика. Тот пробежал глазами, недоуменно.

— «Опущено-с... доточно помню, что послано!.. на семерых-с!..» — и его озабоченное лицо выразило недоуменный вопрос. — «Конторщик промахнулся, Иван Васильич... у меня красным подчеркнуты Семечкины... самоважнейшие-с... как можно!.. будьте покойны-с».

— «Верно?.. честно́-е слово?!..»

— «Не извольте сумлеваться, все ублаготворены-с... утресь сами опросите».

— «Ручаешься?.. знаешь наверное?..»

— «Поручусь, будьте благонадежны-с».

Дед взял красное яицо с блюда и дал Ансееву.

— «Верю. Не пеняй, что потревожил неурочно. Ну, еще раз — «Христос Воскресе!»

Ансеев, поликовавшись с дедом, хотя уже христовался в Заутреню, сказал как-то опасливо-благоговейно:

— «Помилуйте-с, Иван Васильич... все понимаю... сами перетревожились».

Вот это — «перетревожились», Ансеева, крепко осталось в памяти. «Какой милый Ансеев», — подумалая. Понял ли я тогда это — «перетревожились»? Конечно, понял — сердцем. Это было уже мое, заветное и больное даже. Оно было в каждом из нас. Все, радостные, когда садились за стол, и, вдруг, на-

сторожившиеся тревожно, когда дед крикнул — « позвать Ансеева ! » — празднично просветлели, в радости. Эта знакомая мне « тревога » томила меня всегда, когда предстояло радостное: когда повезут в театр, в канун ли великих праздников, в именины, или когда парадно одевали в новое . . . — тревожащее чувство — « а у других ? будет ли радость всем ? . . » Мне было стыдно, что у других этого не будет, такого нарядного костюмчика, из Москвы, в хрустальных пуговках, с петельками и шнурками . . . Бежишь садиться в парадные сани — ехать в театр, на елку, — и вдруг увидишь сынишку дворника Матвеича или ездового Никиты, и станет тревожно-стыдно: « а они все такие же, « будничные » ? . . » Даже до смешного: увидишь в сенях лопату, метлу в углу, а ночь такая морозная, радостная, в святочных ярких звездах . . . — жалостно станет в сердце, с укором будто: « а они так и будут стоять в темноте и мерзнуть . . . »

Это болезненное чувство — откуда и как родившееся ? — многое объяснило мне в дальнейшей жизни, когда раскрылись передо мной чудеснейшие и страшные ее страницы . . . — тревожно требующее наполнения.

Розговины тогда стали ликованьем, наполнились чудесным светом. Все затеснились к деду особенно будоражно-радостно: начиналась заветная раздача сверкающих « пасхаликов ». Дед достал из бархатной коробки большое золотое яйцо, развинчивавшееся на половинки, и высыпал на фарфоровое блюдечко присланные, по заказу из Москвы, « пасхалики », — малюсенькие, не больше воробьиных, граненые яички из самоцветных уральских камушков: рубиновые, яхонтовые, аметистовые, топазовые, сердоликовые . . . вся-

кий год, в розговины, одаривал он нас всех, и эти яички привешивались на тонкие золотенькие цепочки или на пунцовый шнурок, — к прежним « годовичкам ». У нас с Катюшей было их больше дюжины, и от отца с мамой, и мы носили эти « пасхалики » всю Святую под рубашкой: мы верили, что они воскрешают нас, освящают и охраняют от зла-греха.

В те памятные розговины все были радостно взбудоражены, все смотрели через яички на блистающий стол, на свечи . . . и, вдруг, услыхали глухой, едва различимый голос:

— « А мне . . . бу-дет . . ? »

Все вдруг оторопели, оглянулись на дядо Васю . . .

Силясь подняться с кресла, он глядел на нас жалобно, разевая рот будто ловил губами воздух. Он ссутулился, и его крахмальная рубашка ввалилась в него, будто за ней была жуткая пустота, Все примолкли, как от испуга: но дед сказал оживленно-радостно:

— « Тебе-то да не будет ! . . »

Сам подошел к нему и дал чудесное-изумрудное, все в сверканьях. Прикрепил на пунцовой ленточке к сюртуку, у сердца. Дядя Вася нагнул голову, приподнял яичко и поцеловал его.

— « Благодарю, папаша . . . обрадовали . . . » — и стал подниматься с кресла. Дед заботливо, осторожно, положил ему на плечи руки, чтобы он не трудил себя, но дядя, запыхавшись, всетаки силился подняться — прерывисто, шепотом говоря:

— « Я сам . . . обрадовали . . . ах, ка-кой вы ! . . »

Дед склонился к нему, торопливо сказав — « Христос Воскресе ! . . — и поцеловал три раза.

— « Ты меня, Вася, обрадовал . . . » — сказал он тихо.

— « Чем я могу... обрадовать, папаша!..» — чуть усмешливо-грустно с трудом выговорил он. — « Дайте мне настоящее... чудесное... — и он показал на пасхальные яйца на столе.

Дед взял с блюда пунцовое и дал дяде.

— « Ну, милый... Христос Воскресе!..»

Дядя Вася — так это вышло неожиданно, — выпрямился усилием в рост деда и отчетливо произнес:

— « Воистину Воскресе!.. так... обрадовали..»

— « И хорошо... слава Богу...» — сказал торопливо дед, — угодил яичком?..» — показал он на изумрудное.

— « Бо-льше... ши-рокий вы... тревогой своей обрадовали ».

Он изнемог и, отирая капли на помертвелом лице, осел в кресле. Дед обнял его и сотрясался... — казалось, он заплакал. Нет, он не плакал, а сотрясался, от волнения: когда он поднял лицо, оно светилось, как-будто новым взглядом, совсем молодым, детским. Он не мог произнести ни слова, обмякшими, несходившимися губами. Я силился не заплакать. А мама была в слезах, смотрела, прижимая руки к груди, как всегда, когда очень взволнуется. Отец обнимал дядю, и все мы толпились-торопились, понимая, что сейчас было такое важное... На лице дяди Васи выступили капли... слезы? дядя стыдился их? Он осел в кресле и отирал салфеткой лицо.

— « Воистину... Воскресение!..» — будто не своим голосом выговорил дед.

Теперь я знаю, чтó случилось, и почему случившееся — великое событие. Оно повторялось в моей жизни, когда я перечитывал в « Братьях Карамазовых » лучезарный из лучезарных снов — « Брак в

Кане Галилейской». Тогда, в розговины, на моих глазах, сотворилось ослепительное чудо. Оно непременно повторится, кажется мне порой, — увижу ли я его? — и наше семейное, событие, претворится в событие историческое.

Январь, 1949.

П.П. и А.В. Карташевым.

ПРИВОЛЬЕ

к 45-летию кончины А. Чехова: — 2-го июля, 1904.

О смерти Чехова я узнал на рыбной ловле, под Владимиром-на-Клязьме. Сопровождавший утреннюю почту знакомый почтарь из Судогды остановил тарантас на плавучем мосту, полюбопытствовал, как рыба, и, закуривая, сказал: « еще не читали. Чехов помер ». Известие не было неожиданным: уже по газетам чувствовалось, что конец близок. Мы поговорили о покойном. Почтарь читал « веселые » его рассказы, вспомнил « Винт », « Сирену », еще что-то . . .

— « Душа отдыхала. Придешь со службы, поешь и сейчас что-нибудь из Чехова. И такое, знаете, успокоение нервов . . . сразу и заснешь ».

— « Царство ему небесное . . . » — воздохнул ловивший со мной николо-мокринский дьякон, и на его испитом, дергавшемся лице изобразилась искренняя печаль. — « Вы « Архиерея » прочитайте, ничего подобного никто не писал ».

Он вытащил фунтового соменка и не сказал свою приговорочку при удаче — « ловись, рыбка большая-маленькая ».

— « Это как бы в его память: любил рыбку ловить, покойник ».

— « А про « Налима »-то ! . . » воодушевился почтарь, — « сосмеху лопнешь, до-чего же з-замечательно ! . . »

— « Любил рыбку ловить, покойник . . . » — за-

думчиво повторил дьякон, и в его голубых глазах, заслезившихся от волнения, затуманилось грустью.

Он начал сматывать удочки, вымыл ослизлые руки и вытер о затрепанный белый подрясник с присохшей чешуей. Утро разгоралось, рыба брала лениво. Мы пришли на весь день и еще часть ночи захватили, — кидали подпуска, не попадется ли стерлядка. Сели закусить на бережку, подремали. Да, любил рыбку ловить... Вспомнилось из дней юности, как посчастливилось мне встретиться с Чеховым, о котором тогда и не слыхивал, в Мещанском саду, в Москве, на пруду. Светом хлынуло на меня, и было в этом свете такое благостное, что захотелось поделиться с дьяконом. Много я узнал от него из жизни духовенства и по рыбной ловле: лучший был рыболов в округе, а про рыбью жизнь мог рассказать не хуже Аксакова.

— « Ну-с, пришли за карасями на зорьке ? .. »

— ... « И видим, с приятелем Женькой: как раз на нашем месте, где прикормка, сидит незнакомец, в соломенной шляпе, в пестрых брюках голенастый... и — карася за карасем ! А караси — как лапоть. Женька сердито тмыкнул и говорит, с намеком:

— « Раз правил не знают, садятся на чужое место... приходится перейти на другое ! .. »

А перейти-то и некуда, все ветлы, забросить трудно. Женька как раз поплавок хотел обновить, « дикообразово перо », за 75 копеек, — латинский словарь букинисту оттащил. Стал забрасывать, — поплавок и зацепись за ветки, да саженях в трех от берега, — очень развесистые ветлы. Звонил-звонил, дергал-дергал... — не отцепляется. А незнакомец... в чесучевом, помню, пиджаке, в пенснэ, лицо приятное, ум-

ное... вытащил крупнейшего карася! принял на сачок и говорит, нам будто:

— «Не карась, а золотая медаль!»

Сердце, прямо, у нас упало.

— «Плевать!..» — кричит Женька, — «правил не признают, — рядом буду закидывать!..»

Подошли, глядим: поплавок незнакомца тихо так повело, даже не тюкнуло. Насторожился он, удилище чуть подал, не потревожить чтобы... — мастера сразу видно. А оно прямо к осоке повело. Подсек умеючи, стал выводить... — невиданный карасище, мохом, будто, зарос, золотцем чу-уть поблескивает. Голенастый тут все забыл, в воду даже ступил в ботинках, схватил под жабры и выкинул на берег, — тукнуло, как кирпич. Вывернул из жирной губы крючок... — «колечко» у карасищи в копейку было, гармонья словно, — и говорит:

— «Июль, а этот, видно, Аксакова не читал, дуром лезет. Таким карасям в апреле-мае полагается ловиться, когда черемуха цветет. А вы что же не зажариваете?..»

Тут Женька, с досады, уж огрызнулся:

— «Зажарим, когда поймаем!..»

А клевать перестало, как отрезало. Стал Женька опять звонить, — не отцепляется. Незнакомец и говорит, очень предупредительно:

— «Возьмите мою запасную. Настоящий рыболов должен всегда иметь в запасе на всякий пожарный случай, это же азбука нашего ремесла!» — чуть с задорцем.

Женьку задело наставление, да такой тон еще, с задорцем, он и говорит:

— «Азбуку» вашу я отлично знаю... дело не

в « аз-буке » ! а я дал себе слово, как один индейский рыболов у Густава Эмара ... ловить то-лько на « дикообразово перо » ! .. »

И все звонит и звонит. Незнакомец подошел к нам и говорит примирительно:

— « Ну, доставьте мне удовольствие, вот отличная леска и чуткий поплавок, специально на леща ... но карась ему родственник. Мне досадно, что случайно уселся на ваше место, уж не сердитесь ... »

И ласково потрепал Женьку по синей его рубахе, по « нидейской », выкрашенной особой краской, « инди-го », только индейцы знают. Сразу и оттаил Женька, осклабился:

— « Вы не думайте, что из жадности мы обиделись ... меньше нам карасей останется ... тут не караси ... а нам для пеммикана надо ».

— « А-а ... » — говорит, — « вам для пеммикана ! высушите и в порошок истолчете ? .. »

— « Ну да, в рыбную муку ... так всегда индейцы « Великих Озер » и американские эскимосы ! Вы, значит, индейские обычаи тоже знаете ? »

— « Как же, до мелочей ... и сейчас люблю читать про индейцев ».

Это совсем подкупило Женьку, знавшего индейцев, как свои пять пальцев.

— « Приятно встретить соратника ... » — сказал он совсем мирно.

— « Понимаю ваше положение, раз дали слово ловить то-лько на « дикообразово перо ». Тогда вот что. Мне в Кусково надо, в гости, куда же мне карасей ... возьмите для пеммикана ».

Вынул серебряный портсигар и угощает:

— « Не выкурят ли со мной мои краснокожие братья трубку мира ? »

Мы курили только « тере-тере », похожее на березовые листья, но взяли из вежливости, одну папироску на двоих. Сели все трое и покурили молча, как всегда делают индейцы. Незнакомец поглядел на нас и искусно проделал горлом, как дети Скалистых Гор:

— « Отныне мир ! » — и протянул нам руку.

В волнении мы пожали ее молча.

— « Отныне, — продолжал приятный незнакомец, — « моя леска — твоя леска, твоя прикормка — моя прикормка, мои караси — твои караси ! » — и очень приятно засмеялся, прищурив глаз.

Мы тоже засмеялись, и все закружилось от его удивительно душистой папиросы. Тут же приятный незнакомец прибавил еще приятности, показав сетчатый садок, полный карасей, и пожелал удачного приготовления пеммикана. Стал собираться, поснимал удочки с рогулек и поставил промокшие ботинки сушиться на солнышке. Мы стали ловить на нашем месте, но брала все больше мелочишка, « пятачишки », называл так наш бледнолицый брат. Разоткровенничавшийся Женька не удержался и сообщил, что « дикообразово перо » — самое дорогое, 75 копеек, у Перешивкина, на Моховой, и добыто в обмен на латинский словарь, у букиниста.

— « Знаю, сам, бывало, выменивал . . . » — сказал чудесный незнакомец и попробовал отцепить « перо ».

Но ничего не вышло.

— « Жаль ! такое волшебное перо, и должно погибнуть ! . . Не отпилить ли сук. ? »

— « Нет, оно не погибнет ! » — восторженно

крикнул Женька и, стянув « индейские » сапоги, расписанные вохрой, бросился в штанах и синей своей рубахе в воду.

— « Да что он, чудак, делает ! » — воскликнул наш бледнолицый брат, — « вот, горячая голова ! . . »

Женька плыл саженками, с перочинным ножом в зубах, как делают в подобных случаях отважные индейцы и эскимосы, отхватил ветку и поплыл к берегу с волшебным пером в зубах.

— « Вот ! . . » — победно крикнул он приятному незнакомцу, отныне — « брату »: « задача решена, линия проведена и треугольник построен !

Это была его любимая поговорка, когда удавалось дело.

— Будем отныне ловить вместе, заводь будет расчищена ! »

Бледнолицый брат вынул из бокового кармашка записную книжку и что-то записал карандашиком. Потом внимательно осмотрел « дикообразово перо » и сказал, что непременно заведет себе такое же.

— « У Перешивкина, на Моховой ? . . »

Женька, постукивая от утреннего холодка зубами, сказал взволнованно:

— « Отныне это « дикообразово перо » — ваше, оно принесет вам счастливый лов ! »

Приятнейший незнакомец принял перо, прижал к полосатому жилету, сказал гортанно, по-индейски, — « попо-каке-петль ! » — что значит « великое сердце », и положил в боковой кармашек, где записная книжка. Потом, в видимом волнении, молча, пожал нам руки, надел — сырые еще ботинки и удалился, широко, « по-охотничьи », шагая.

— « Про-стяга ! » — взволнованно сказал Жень-

ка — высшую похвалу: он не бросал слов на ветер, а запирал их « забором зубов », как благородные индейцы.

Тут откуда-то появился « Кривоносый », надзиратель училища, неся на конце удилища единственного карася, потряс пальцем и крикнул нам, еще более скривив нос:

— « Отвратительно себя ведете, будет доведено да сведения вашего гимназического начальства ! грубить уважаемому человеку ! .. больше вашей ноги здесь не будет ! .. »

Женька крикнул ему вдогон, подражая скрипучему его голосу:

— « Мало вас дррали, гррубиянов ! .. » — явно дразня « Кривоноса », как ученики Мещанского, училища, сплюнул и прошипел: « бледнолицая с-собака ! .. »

Сильней припекало, от Женьки валил пар, словно, его сварили, и сейчас будут пировать враги. Пришел Сашка Веревкин, наш гимназист, сын инспектора училища, и рассказал, узнав наше приключение с приятным незнакомцем, что это брат надзирателя Ивана Павловича Чехова, всю ночь дулся в винт у дежурных надзирателей, а потом пошли ловить карасей.

— « Заядлый рыболов . . . и . . . пи-са-тель-сочинитель, пишет всегда смешное, можно прочитать в « Будильнике » и в « Сверчке » . . . здорово может прохватить ! .. »

Мы были чуть не в страхе, что может прохватить.

— « Да, он все смешное записывает в книжечку . . . »

— « И про нас, значит, записал ! . . » — воскликнул Женька.

— « Обязательно, все изобразит, увидите ! А для смеха подписывает под рассказиком не свою фамилию, а — « Антоша Чехонте » ! А « Кривоноса » теперь выгонят, непременно скажу папаше. Уж про него записано в кондуит, что « ставит банки » и два раза был на дежурстве не в порядке. Так и написано: « последнее предупреждение ».

Женька сказал:

« Чорт с ним, не стоит ябедничать, это неблагородно ».

Он теперь сушил спину, вывернув к нам голову: нежное что-то было в суровом его лице.

Случилось в нашей жизни такое светлое, что и посейчас помню. Все встает особенно ярко, как прочитаешь его рассказ — « Монтигомо и Ястребиный Коготь ». Это у него осталось, конечно, от встречи с нами.

— « А ведь и впрямь ! . . » — вскричал дьякон. — З-замечательно изобразил, хоть там и нет про « дикообразово перо » . . . А не пора ли и за дело ? На мосту нечего возиться, сено уж повезли с поймы, и мужики едут на базар, мешать будут. А мы вот что . . . не попробовать ли на « кружки » ? я прихватил на случай, и живцы еще есть, и лягушек с десяток, на сомиков, а ? Давай-те-ка, запустим на «перевертки !..»

Я согласился. Со мной тоже были кружки, с полдюжины.

Мы сели в широкую дьяконову лодку, ко всему приспособленную, забрали весь наш рыбачий скарб, и поплыли вниз, за мост, в привольные места, где Клязьма шире, и много заводей. День ослеплял бли-

станьем. Река — зеркально-сверкающая гладь, с всплесками еще игравшей рыбы. Было часам к 7, бор еще не прошел. Отъехав с версту, мы стали налаживать и наживлять наши плавучие жерлицы.

Рыболовы знают, что такое « перевертки », или « кружки », но не всякий, ведь, рыболов. Кружки, диаметром в четверть, из пробки, окрашенной сверху красным, со вставленным в самой середке колышком или « свечкой », выкрашенной белой краской. Вверху « свечки » — расщеп, для бечевки плавучей жерлицы. В кружке, по обрезу, сделана выемка, куда сматывается бечевка, проводится в расщеп и спускается аршина на 2 в воду, с басовым поводком и крючком, на который насаживается живая наживка, — пескарики, окуньки, ершики — на судачка и лягушки — на сомиков.

— « Знаете что ? . . » — сказал дьякон, изготовляя « кружки », — идея у меня ! В память новопреставленного раба Божия Антония, любившего рыбку ловить, установим так: первая перевертка — его ! а ? . . Греха тут нет, а как бы в его память . . . за веселые рассказы ? а ? . . »

Я согласился, — какой же грех ! тут в память и благодарение от собратьев-рыболовов. Стали, благословясь, пускать.

Течение было медленное. Клязьма, с паводков, полноводная, широкая, с заманными сверкающими всплесками впереди, порой очень сильными, от крупной рыбы, десяти фунтовых шерешперов, редко влипающих на « кружки ».

Дьякон, спуская первый кружок, — снизу кружок окрашивается в белый цвет, издалека видный, — на окунька, перекрестился.

— « Благослови, Господи... в память новопреставленного раба Твоего Антония, а нам во утешение. Значит, так: первая перевертка его, так и будем знать. И четвертая опять его. У нас девятнадцать, — семь, стало быть, возможных переверток, в его память.

Как всегда, он поцеловал наживку и, что-то шепча, должно быть какую-то свою молитву, спустил кружки. Двинулся кружок плавно и скоро стал походить на красную лодочку с белым паруском — так красиво! Раз за разом, мы поспускали все. Целая флотилия, саженей по десять промежутка, на полверсты. По-ехали голубчики за товаром, что-то нам привезут?.. Закурили, любуемся. Первый чуть виден, на прямой полосе реки. Такое-то приволье, благодать. Слева, от поймы, где начался покос, тянуло медом, густым и теплым, раздольем, вошедшего в силу лета, не оторвешь глаз от красоты — святой, природной, не накупаешься в этой душистой теплоте, не надышешься бальзамом цветов и трав.

Дьякон замотал головой и перекрестился.

« Го-споди милостивый! Благословен буди за радостное творение Твое!.. Правда?» — обратил он ко мне сияющее лицо, на котором поблескивало слезой благодарения. — « Ну, скажите, милый брат мой... за брата я вас... одних мы годков с вами и любим Господнее творение, переполнены оба благостью. Скажите... ну, зачем он туда поехал?! а?.. в чужую землю?!.. а! Ну, где там такое приволье, такая красота?.. А тут — прямо, целительное растворение воздухов, здоровье ведрами льет в тебя... а?!.. И самые больные легкия поправляются, уверяю вас. Сколько случаев знаю, сколько молебнов отпели с

протопопом, по случаю исцеления. У меня все записано, доктора знают, и сколько к нам присылали совсем приговоренных! Ан, глядь, через два-три месяца, и рыбку ловят, и всякий кашель, — как не бывало. После каждое лето приезжали, во-какие, кровь с молоком. А о н, читал я, на кумыс ездил, и никакой пользы. А у нас, да сколько хочешь, отменного кумыса, татары делают, в слободке. Говорят, такого степного приволья поискать надо... не хуже, чем у башкирцев. Ку-мыс... не упьешься. Я, ведь, тоже страдал чахоткой... обе верхушки тронуты, теперь все зарубцевалось, и никогда лихорадки, хоть и пропадаю на реке до холодов. Ну, слабость моя... И знаете, скажу доверительно вам, — я, ведь, неполноправный, в иереи не могу рукоположиться... — и скорбь это моя великая, что не могу. Почему? Поведую, дружески только, по секрету. Знают некоторые, конечно... но это не в позор мне, а во испытание. Падучий я, еще с семинарии. Припадки были, но давно, слава Богу, нет... а все-таки рукоположить меня никак нельзя, за физическое несовершенство. Ну, как я могу совершать таинство? — «Твоя от Твоих»?!.. самый волнующий момент, когда пресуществление хлеба и вина? Меня всегда волнует, когда подходит самый священный момент... созерцаю и молюсь... и страшусь, как бы о н о не случилось. Господь дарует укрепление. поплачу только, и ноги начинает сводить... но ни разу не было потемнения... А раньше я по полсуток в беспамятстве бывал. А потом неделю как не свой, не приведи Господи! Я и не заикаюсь, не смею. Новый преосвященный думали рукоположить... Ну, им о. протопоп поведал. Матушка-дьяконица до сей поры боится на реку одного пускать,

сыночка со мной снаряжает. А сегодня я с бухгалтером снарядился, да он рано ушел с моста, ревизия у них, в Казенной Палате. И правда: ну, как ей меня пустить? Плаваю хорошо, ныряю не хуже сома, а в припадке-то я — бултых с головой!.. один-то. Особливо осенней порой, нерета на налимов ставить... никак одному нельзя. И сам побаиваюсь. Ну, она тогда сама со мной, и пробковый пояс велит, как я нерета ставлю, по омутам, берега крутые... не дай Бог, ежели случится. Да, о чем это я хотел?.. Да, и думаю: зачем он туда, в чужую землю?! Мне наш доктор Михайла Алексеич Сувалкин рассказывал: ведь, его знаменитый Остроумов, профессор в Москве, как отговаривал в Крым даже ехать: жарой, говорил, замучает. А поезжайте на дачу, где потише, ветра нет, между горками, в самой благодати-привольи поживите, парное молочко пейте... Ну, воля Господня. Э-эн, где наши лодочки-то гуляют! Да стойте... никак донышко белеет, перевертка была, а мы и не видали! Да вон, к правому берегу, покруче где... красный обрыв!.. Есть одна, только бы не впустую...

И я заметил: белеет донышко, перевертка!

— «Ишь, как полощется! как поплясывает-то! а?!.. Есть!.. в светлую ему память!.. Только бы не сошел. А другие... раз, два, три... четыре... — ждут.

Он высмотрел и насчитал семнадцать. Еще где-то где-то перевертка, моя, девятнадцать было кружков. Как мы ни смотрели, нигде белого донышка не видно. Очевидно, прибило-забило к кустам, в осочку. Мы стали подгребаться и скоро заметили эту вторую перевертку: под ольховым кустом, недвижную. Но это еще ничего не значит. Щука если, — забьется под

берег, и затаится. Могла и сойти, конечно. Подгреблись к первой перевертке, под № 5, на донышке, — в память его. Оба в дрожи великого волненья, удастся ли. А белое донышко все поплясывает, — есть! Щуренок, надо думать, — предполагает дьякон: частая очень пляска, не сильная, без ныряньья. Да разное бывает, всего не предусмотришь с рыбой, какой тоже характер, — да и воли, может, добыче нет, бечевку вплотную затянуло, а то и зацепилась за коренье. Подъезжаем. Дьякон, покрестившись, стал принимать бечевку в лодку...

— «Ого-о... сидит... что т-такое, не пойму?!.. Раз здорово дернуло, а теперь свободно идет. Стой, сидит!.. — крикнул он вдруг, — сачок!..» Я приготовил сачок, на случай. Блеснуло белым брюхом, — крупное что-то... щука? Без сачка, под жабры, с натугой, бросил дьякон в лодку большого судака! — ахнул даже. Накрыли сеткой, — прыгает чуть ли не на аршин.

— «На голову ему хламиду!..» — крикнул дьякон, — сейчас успокоим, и мучиться не будет».

Он взял охотничий нож и ловко, под сеткой, воткнул под хвостовое перо. Брызнуло кровью, и судак мгновенно замер в параличе.

— «Я так всегда с крупной рыбой, никаких мучений. И заметьте, какая выгода: лишняя кровь сошла, рыба не мучилась, не измоталась, а, стало быть, и вкуса не потеряла, живая свежесть... сравнить нельзя, если замучается. Это уж вы сегодня у меня отведаете, клязьменского судачка. И на заливное, и холодненького с хренком, со свежим огурчиком.

Мы долго любовались судаком, в ярких, живых полосках. Живца, окунька, вершка в три, заглотнул

до отказу, в брюхе уж у него окунек был. Вскрыли и вынули. Окунек еще был живой, тут же его и насадили, снова на тот же кружок: счастливый. Тут же и спустили, опять в е г о память светлую. Дьякон был в великом возбуждении, я даже стал бояться, как бы с ним не случилось. Он обложил судака травой и замотал бечевкой. Фунтам к пяти был судак, на-редкость.

— «Ну, и удача!..» — говорил в восхищении дьякон. — «Удача из удач! Только второй раз, как к пяти фунтам беру, на кружки еще ни разу не было. А на дорожку, на ерша, раз добыл, около шести фунтов. Клязьменский судак — не сравнить ни с волжским-«нефтяником», ни с окским, наточно знаю, и рыболовы все признают, очень сюда охочи ездить. Тоже и сомики: наши — как писчая бумага. Тоже и судак наш, белей снега мясцом, так дольками и отслаивается. А посему, Господи благослови...»

Мы выпили по хорошей, станционной, рюмке и закусили попросту, зеленым луком с хлебом и печеным яичком. Поплыли ко второй перевертке, моей. Она с п а л а. Я стал выбирать бечевку, — е с т ь! Попал щуренок, фунта полтора-два, приятный. Высмотрели и нашли еще две перевертки: дьяконова и опять — е г о. На первом кружке взяли окуня, фунтового, — красота.

— «Щуренка стоит!» — сказал дьякон.

Верно, фунтовый окунь по вкусу и крепости не уступит и судачку, особенно маринованый. Четвертая перевертка оказалась пустой, живец сорван. Больше, сколько ни ждали, переверток не было: солнце стояло высоко, бор прошел.

— «Все ублаготворены, без обиды. И уж как же

я рад, что ему такое благоволение оказано!» — радостно повторял дьякон. — «Уж так-то рад, не сказать. Ах, порадовался бы, милый... Портрет его у меня, в приложении к «Ниве», вырезал, повесил над письменным столом. Почитаю — погляжу. Ах Господи... как он «Архиерея»-то изобразил! Читаю — и плачу, от радости. Ну, скажите... ну, как вы думаете?.. Ну, кто мог бы так ласково описать?.. с такой любовью?!.. Это все пустяки, все облыжно и пишут, и говорят... соберутся у меня семинаристы... и то-же... — он, говорят, тут переборщил, подсластил!.. Дураки!.. Я им говорю — это вы по Писареву! он — самый верующий, куда, может, верней нас верует! И никакой не атеист! вре-те, подлецы!.. прости меня, Господи! Так ласково, благородно-нежно! Никакой теперешний писатель так не сумел бы!.. И дара такого нет теперь, чтобы ласково... а все подделка пошла, под хулу, очернить самое благородное. Все знаю, больше их всех знаю, какие непорядки в нашем сословии, в церковниках наших. Этого и Лесков не боялся показывать, а «Соборян» написал! Там один Туберозов за святого сойти может! А дьякон-то, а? Ахилла-то!.. а? А Захария-то, старичок расчудесный, святая душа, ребенок!.. Господи, до чего же все хорошо! когда всю правду, без облыганья, дают. Святой Архиерей, слу-жи-тель Божий, воистину... Без слез не могу. Все грехи Господь отпустит рабу Божию Антонию, ныне новопреставленному... Дитю, ведь, описал, Архиерея-то... чистота, кротость, терпение... из последних сил служил в великий четверток, когда «Страсти» читал, а уж дурнота его одолевала... вот это — служение!.. А мамаша-то его... бедная старушка... дьяконица моя слезами

обливается, в с е поняла ! .. Осень уж ... дожди ... скотину ко дворам гонят, уж сумерки, бабы подолы на головы, а она, матушка, стоит с вербочкой, и о нем думает, сирота. И никто-то ей из баб не верит, как начнет про сынка ... что вот, архиереем был. Ну, кто так мог сердце ма-те-ри ! .. а ? .. рыдаю, обливаюсь от умиления. А старичок-то, келейник-то, стро-гий, растирал-то его, со свечечкой ? .. Как любовно изобразил ! .. Царство ему небесное.

Дьякон перекрестился, достал красный платок и вытер слезы.

— « Вот и помянули покойника, судачком помянули, и еще помянем. Знатное будет заливное, и холодец с хренком, и на коклеты останется. Люблю я судачьи коклеты. А они — « он в Бога никак не может веровать ! он естественные науки знает, и сам врач ».

А я им в нос « Архиерея » ! А я им ... « Святою ночью » ! .. Вникайте, дураки ! ..

— « А « Студента » любите ? ..

— « Студента » ? .. это про что ?

— А как студент бабам, в великий четверг, в холодном поле, рассказывал о той трагедии ... об отречении Петра ? ..

— Го-споди ! .. Еще бы не любить ! ? .. Тоже плачу всегда. Ну, скажите, ну, не ге-ний, а ? .. это « атеист »-то, мог так ... а ? .. Зачем же, зачем, спрошу вас, такая ложь на него ? ! .. Прости меня, Господи, а скажу. Святой он, не нам суд судить ... а — с в я т о й ! .. по духу святой, по сердцу святой ... чи-стый, вот что главное ! Его надо каждому мальчишке давать читать, девчонке каждой давать читать ... для душевного очищения, для благородства души. А « Святой ночью » ... акафист-то, а ? Брат-то

Николай, скончался в самую Святую Ночь! какие акафисты составлял! Древо... «многосенно-ли-ственное!..» Придумать надо!.. Он и акафисты знал... он, читал я, — еще гимназистиком «шестопсалмие» без псалтири вычитывал! ате-ист! ах, подлецы! Понимаю, почему они радуются... что вот — и х н и й! У них-то ни-чего в запасце, пустота, а он — вон что изображал, православную русскую душу укреплял!.. В раю теперь, по заслугам... «Я такой Святой Ночи, нигде не читал, только в сердце ее держу, опытом духовным... и что же? О н в с е мое изобразил, и даже, как дремота в ту ночь одолевает... и как звезды светят в реке, на перевозе. А народ движется, все в монастыре полно, и вот-вот ударят... ах, дивно-хорошо!..

Растроганный его причитающей речью и слезами, которые он уже не вытирал, а смаргивал, я спросил:

— «А не помните, как начинается рассказ — «Святою Ночью»?..

— «Нет, где упомнить. А как?..»

— «А вот, послушайте. Тут уж он как бы душу народа выражает, его постижение духовной красоты. Ему все понятно, и сам он весь в этой красоте-восторге. И вот, смотрите и судите... Все у него в этом рассказе, — как песнопение. Он даже самый пейзаж вводит в это «песнопение»! Я наизусть знаю это начало... не помню, может быть, и не совсем начало, но тут же, на первой же странице. Слушайте...

«...Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали все небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд... Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно... Ради праздничного парада вышли они на небо, все до единой

тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в воде; звезды купались в темной глубине...»

— «Непостижи-мая красота!.. — воскликнул дьякон. — Неизреченная красота, и какое же чувство!.. какая душа!.. Обязательно выпишу и прикреплю на видном месте. Неизреченная милость Твоя, Господи... даровал такого песнопевца .. Ткну им, дуракам»... Они никогда не похвалят лучшее наше, а только пальцами тычут в самое худое! Зна-ю их... все на лжи и лицемерии... Словно праздник для них... «атеист»-де!..»

Собрали кружки. Были сорванные и помятые живцы. Лягушка уцелела. Дьякон отцепил крючок от ее спинки, подумал и кинул в луг: гу-ляй! А то, бывало, приберегал.

— «А на живца почему не оставили?

— «За храбрость», — сказал дьякон. — Да и напугалась, небось. Пускай ее квакает на воле, Творца славит!» — и неожиданно засмеялся. — «Умо-ра — помните, в каком-то рассказе... — ругаются лягушки?.. — «сама такова!..» «сама такова!..» «При-ду-мать надо».

— «В овраге», кажется. А «Скучную историю» любите?»

— «Не помню что-то... А то еще, где-то... — «я иду по ковру, ты идешь покаврешь...» — придумать надо!.. И в смех вгонит, и до слез прошибет. Даровал Господь талант.

Собрали снасти и подгреблись к луговому берегу, в самый мед. Покос только начинался, но по великой пойме уже стояли стога, лежало скатанное валами сено, кое-где и навивали воза. Всюду сверкали косы, бросали белые огоньки, мелькали свежие грабли, крас-

нели платки, полязгивали бруски. В теплой волне с полудня веяло медом и миндалем. Дышалось полной грудью, чувствовалось, как вливается здоровье, бодрость и радостность. Скрипучие дергачи примолкли, притаились в еще нетронутой глубине покоса. В небе кружили ястреба, высматривая поживу на побледневшей пойме. Тысячи кузнечиков, встревоженных жгучим жиганьем кос, подобрались к реке и оглушали нас нестерпимо-горячим треском.

— « Ха-ха-ха . . . » — вдруг раскатился дьякон, о чем-то думавший. — « А помните, птичка какая-то . . . и что-ж такое ! . . « Ты Никиту ви-дел ? » А ей другая, будто в ответ: « видел-видел-видел ! . . » Записано у меня, гостям читаю ».

— « Это вечерняя птичка у воды, малюсенькая . . . камышевка. От ее перекликанья, тихий вечер будто еще тише . . . сонное такое, умирающее.

Время было к полудню, хотелось есть. Дьякон развел огонь, наносного сушника было много по берегу. Стали картошку печь, зажарили на сковородке свежего соменка, пококали яиц печеных. Дьякон достал зубровку, и выпили мы за упокой раба Божия, новопреставленного Антония. Печали не было, а легкость и благоволение на душе. Будто и *его* смерти не было. Да и правда: живой, все равно, и с нами, и будет с нами, пока видим светлую красоту русского полудня, чудесное приволье, пока слышим родную песню, доплывшую к нам в медовой волне покоса, — « . . . посею-у-ль я, посею-у-ль я . . . лен-конопель . . . » поигрывали в тепле медовом звонкие бабьи голоса. А от навитых возов, от сизых полос подсыхающего сена, подхватывали басовитые, сильные мужичьи голоса: « воор-воробей . . . во-ор-воробе-эй ! . . »

— « Благодать . . . » — воздохнул, позевывая, дьякон. — « Люблю клязьменское приволье наше, приятная самая пора, покос. Го-споди . . . дочего же все хорошо зело! Облачка плывут, какая же чистота там. И свежесть, будто это снежок, и повевает освежением. Да, у-строено . . . для услады человекам. Что-то разморило, дремлется. А вы как, подремываете, а?

Дремалось: пьянило медом, теплом, покоем.

— « . . . а теперь предстоит Престолу Господню . . . » — досказал родившуюся в нем мысль дьякон. — « И ему не страшно. И скажет ему Господь: « добрый рабе, благий и верный, Антоние! о мале был еси верен, над многими тя поставлю: вниди в радость Господа твоего. Великая в сем правда.

— « Да, и все — правда.

— « Картошку давайте пробовать. А на ночь обязательно перемет поставим. « Игрунки » у меня хорошие, и с блеском, и цветные на стерлядок. Они любят поигрывать. Примета у меня: как покос, стерлядки наплывают . . . с Оки, пожалуй, по случаю, думаю, обилия кузнечиков с поймы.. И на головля теперь хорошо, и на шерешпера, на катушку . . . спининг называется. Офицер мне подарил, ловили вместе. Размахнешься — сажен на двадцать выкинешь, на блесну. Самая пора теперь.

Полдничали и на пойме, позатихло. Я приподнялся и поглядел.

Дьякон спал навзничь, на припеке. Болезненное его лицо теперь было покойно, кротко. Божия коровка ползла по его бурому сапогу. Подумалось мне с чего-то: « как хорош русский человек! .. и все там — хорошие, родные . . . в этом привольи поймы . . . » Было покойно и ласково на душе. Повсюду сидели кучками,

поблескивали красные кувшины, поднятые над головой: задрав головы, тянули, передыхая квас, еще с холодком, укрытый от жары тряпками и травой. Спали навитые воза: подремывали в их тени, помахивая от оводов хвостами, распряженные лошади. Ах, благодать какая! ..

Август, 1949.
Париж.

ПРИЯТНАЯ ПРОГУЛКА

Д.И. Ознобишину

ПОМНЮ, в конце Страстной, попалось мне объявление в газетах о продаже, « в верные руки », библиотеки, до четырех тысяч томов, в отличном состоянии, главным образом — классики, русские и иностранные, — есть и редкостные издания, — все книги в переплетах. Перепродавцов просят не являться. Единственный день для осмотра — вторник на Пасхе. Телеграфировать: ст. « Лопасня », Курской д . . . « Злая Сеча »: к первому московскому поезду будут высланы лошади.

Я мечтал о пополнении тощей моей библиотечки, но куда же — четыре тысячи томов ! Свободных денег у меня только до пяти тысяч, но чем же я рискую ? Ну, прокачусь, погода теплая, конец апреля, весна в разгаре . . . — и я тут же послал депешу. Я только что вступил в адвокатуру, хорошая библиотека очень кстати, внушает уважение клиентам. А, главное, я был молод, и весеннее возбуждение толкало меня из Москвы проветриться и набраться впечатлений.

Ехал на Курский вокзал под веселый трезвон пасхальный. На вокзале было празднично-будоражно. Ехали на « маевку », больше в « Царицыно », с запасами всякой снеди, в поезде было полно, даже во 2 классе. В « Царицыне » наполовину опустело, в окошки вливалась свежесть распускавшихся берез; на станциях, в солнечной тишине весенней, слышалась веселая трель скворцов, праздновавших весну; с близкой церкви лился ликующий трезвон; цветистые девчонки совали в окошко букетики русской « примавера », —

золотистых баранчиков, — и пучки синих подснежников; с зазеленевших откосов веяло душистым, свежим теплом новой травки, и все это, празднично-будоражное, смешивалось во мне с щекочущим ожиданием чего-то особо-радостного, волнующего в предстоящей встрече с таинственно-незнакомой и почему-то уже манящей своим названием « Злой Сечей ». Историческое, должно быть, именование . . .

Против меня весело играли « в ладошки » студент с прелестной девушкой, в весенней кофточке с букетиком подснежников. Потом стали кокать красные яички и принялись закусывать. В « Бутове » их встретили пожилой военный с важной дамой, раздались восклицания — « зеленые щи сегодня, да ? . . » « Вот, мама посылает пирог, от Флея ! . . » Поцелуи, христосованье . . .

На станции « Подольск » я прошел в буфет, наполненный горожанами, парадный. Стол был украшен по-пасхальному, на стойке — окорок ветчины, в бумажных розанах, веселили глаз пасхальные крашенки в плетушке. Я выпил, в радости, ледяной водки, взял пирожок . . .

— Далече изволите ехать ? — услыхал я будто знакомый голос увидал книготорговца с Моховой. — До « Лопасни » . . . Не за библиотекой ли охотитесь ?.. Вон и Алексей Иваныч ! . .

Тоже знакомый, букинист от Проломных Ворот, известный книголюб и эксперт, вызывавшийся для оценки библиотек, « неоспоримый ». По Москве кличка его была — « горбатенький » и « мороженый »: его щеки были багрово-сизые, лет за шестьдесят. Всегда, бывало, видишь его в « Проломе », в его ларьке без двери, с поднятым воротником, мерзнущего за книгой,

или в выгоревшем драповом пальтишке. Но сегодня он был парадный, в сюртуке, в котелке, летнее пальтецо на руке, — совсем франт. Я заметил — « а букинистам не беспокоиться » . . ?

— Я — статья особая. С князем . . . — назвал он громкое историческое имя, — мы старые знакомцы, не раз бывал у него в « Злой Сече », доставлял книги, оценивал . . . Да и не для себя я, а . . . — он назвал известного миллионера, собирателя редкостных изданий. — ну, потягаемся.

И тут я узнал, что библиотека князя, на плохой конец, тысченок на 20-30. Нечего и мечтать. Ну, что же, прогуляюсь . . .

Второй звонок.

Дальше мы ехали вместе, во 2 классе. Алексей Иванович недоумевал, почему князь решился продать свою чудесную библиотеку. Уж не заболел ли, хочет прижизненно распорядиться ? . . Последней доставкой ему от Алексей Ивановича был « остаток погодинской библиотеки », тысяч на 5.

Книготорговец с Моховой, знавший князя, тоже недоумевал. Но и ему тягаться было не подсилу, хотя он — по поручению московской городской управы, от просветительного отдела, для пополнения книжного городского склада: предполагается к существующим читальням — Островского и Тургенева — основать еще две: Гоголя и Пушкина: а итти он может, самое большее, до 12 тысяч. Нечего и мечтать — тягаться. Он знал меня студентом, почти бедняком. Спросил, не разбогател ли я. Я смутился и признался, что, конечно, мне мечтать о покупке нечего. Знал меня и Алексей Иваныч, сказал:

— Вы начинающий адвокат, библиотечка вам

необходима, для закраса. А мы с вами составим реестрик, тысечек на полторы-две. Вот Даль вам нужен... вы уже печатались, помнится. Может и опять запишете. Ничего, духом не падайте... — ласково, похлопал он меня по плечу.

Он был сегодня особенно ласков почему-то, — от Праздника? И лицо его, сумрачное всегда, сегодня почти светилось. Оживленный его добрыми словами, я с чувством пожал ему руку.

— Помните, бывало, учебники приносили на обмен?.. А теперь — адвокат. Библиотечку я вам составлю. Удивительный человек князь... воспитанный человек! — сказал он, с чего-то одушевившись. — Увидите, какая это библиотека!.. И ка-ак он расстается, не понимаю. Право, не заболел ли.? Два года не видались. А то, бывало. зайдет, побеседуем. Сколько он всего знает!.. прямо — энциклопедист! Да и все в доме у него... не в доме, а во дворце!.. А какой у него народ... Да вот, увидите, пригодится, может, для вашей практики. Библиотека для него — почти священное. Какая обходительность, воспитанность... а уж без обеда не отпустит. И музыкант замечательный. Такие люди теперь наредкость.

На ст. «Лопасня» нас встретил парадный кучер, в плисовой безрукавке на синей шерстяной рубахе, с павлиньим перышком в шапочке. Только нас трое вылезло, можно ехать. Мы сели в шикарную коляску, тройкой вороных.

— Ну, как князь?..

— Да что-то сдавать стали, поослабели. И не все кушать могут. Доктора не велят хлеба есть, сахарная болезнь, говорят.

До «Злой Сечи» было верст двадцать. Дорога

пообсохла, но в тенистых местах еще оставалось снегу, после великих снегопадов. На встречавшихся малых речках вода еще не вошла в русло, и мужики, в веселых рубахах, стоя в ботничках, ловили наметкой рыбу. В-полдороге остановились на полчасика, отдохнуть лошадям. Кучер, уже пожилой, Фома Васильевич, лошадей жалел, а мы были рады прогуляться. И тут ловили наметкой рыбу. Трактирщик встретил нас очень предупредительно, похристосовались. Это было село, трезвонили. В трактире шумел народ. Хозяин приказал молодцу принести бадейку: — « Их сиятельству рыбки на ушицу, на выздоровление ». Когда отъезжали, бадью с деревянной крышкой поставили под сиденье: пара налимчиков, и так, мелочишки разной — ершей, пескариков . . .

— Скажи, Иван Гаврилыч христосуется ! ушицы живорыбной оченно хорошо их милости ! . .

— Любят нашего князя . . . — сказал кучер. — Да как его и не любить-то . . . Народишко вот избаловал, по доброте, порубливают у него лесок, хоть и у самих лесу невпроворот. — « С меня хватит », смеется. Конечно, лесничишки тоже охулки на руку не кладут. Как-то захватил князь мужика, у самой дороги сосну свалил. — « Да ты бы, дурак, поглубже въехал, на самом виду рубишь ! « — говорит ему наш князь. — « Да ваше сиятельство, поглубже-то и не вывезешь ». Князь сейчас ему записочку, на спине его и писал: « с моего, мол позволения ». Так эта записочка и пошла по рукам. Жалеет народ. Это вот кня-азь ! . .

Не жалел я, что еду понапрасну. Князь в моем воображении рисовался пасхально-празднично, — остатком знатного рода, известного в истории. Я уже знал кое-что о его предках, из примечаний к « Истории

Государства Российского». Алексей Иванович начал рассказывать о «Злой Сече», но тут она и сама явилась, в полугоре, на солнце, в блеске зеркальных окон Дворца.

— Ну, что за красота!.. — воскликнул, опять воодушевившись, Алексей Иванович, — таким я его никогда не видал.

Сияла церковь, и оттуда доливался веселый трезвон пасхальный. Празднично было на душе. Почему-то тянула меня к себе эта «Злая Сеча», обещая раскрыться и показать чудесное... — нужное мне такое, заманное — историческое, родное, — славу нашу. Я знал наверное, что найду здесь что-то необходимое, и это меня светло воодушевит, укрепит во мне волю, веру... Во что веру? Этого я не знал, но предчувствовал радостно. Вполгоре блистали полноводные пруды — запруды. Дворец закрывался длинной березовой аллеей, старой, но уже светло одевшейся впрозелень. Мы сложились и дали кучеру рубля три. Он едва согласился взять: «у нас это не полагается, обеспечены».

Объехав великий круг газона, с черными еще клумбами, мы подкатили к парадному, массивному по-дворцовски. Швейцар, в ливрее, распахнул перед нами двери и поклонился с достоинством. Я напомнил Фоме Васильевичу про рыбу, не забыл бы.

— Князя-то да забыть!.. — сказал он, с ласковой улыбкой, и велел зевавшему на нас праздничному парнишке нести рыбу на кухню.

В огромной прихожей, уставленной, по углам, статуями из мрамора, швейцар принял от нас пальто и шляпы. Появившийся почтенный человек, во фраке и белом галстуке, попросил нас, с достоинством, следовать за ним. Это был старый слуга, в длинных бакен-

бардах, похожий на Григоровича, приятный манерой и чистотой. Он повел нас по широкой лестнице, по мягкому ковру, на первую площадку. Там тоже стояли статуи — Аполлон, Диана... Лестница расходилась надвое. Книготорговец с Моховой тоже был в сюртуке, только один я — пиджачник, и потому, должно быть, чувствовал себя смущенно.

Мы прошли обширным двусветным залом, в люстрах, с хорами для музыкантов, с колоннами, — совсем зал Дворянского Собрания в уменьшенном виде. Блистали паркетные полы, с новенькими дорожками. Прошли малиновую гостиную, карточную, биллиардную, — все образцово чисто, парадно, в большом солнце. Наш проводник отворил массивную дубовую дверь, взял визитные карточки, предупредил, что сейчас две ступеньки, и попросил присесть:

— Его сиятельство сейчас будут... — и удалился, притворив дверь.

Мы остались в обширной, высокой библиотеке, залитой солнцем, приятно мягким сквозь зеленые тюлевые занавески. Пол был затянут серым сукном. По середине стоял большой круглый стол, накрытый зеленым сукном, удобный, низковатый, с тяжелыми канделябрами темной бронзы, в толстых, кубастых свечах, крутящийся, как оказалось после, с люстрой из хрусталя, в зеленых и розовых свечах, — пасхальных. Вокруг были низкие кожаные кресла, в углах — мраморные статуи. Все стены — в книгах, до потолка. В простенке образ св. Николая, с теплящейся лампадой. Все блистало лачком переплетных корешков, тисненьем. Не книжные шкапы, а полки мореного дуба, приставные. У меня глаза разбежались, и стало стыд-

но, что я имел дерзость мечтать. « Одни переплеты больше пяти тысяч ... »

— Не укупишь .. ? — подмигнул Алексей Иванович. — И в квартирке, небось, не уместится.

— Какое там ... — махнул я, и тут отворилась дверь.

Входил князь, в сопровождении двух дымчатых догов, в стоячих ушках-рожках.

КРЕПКИЙ, высокий, стройный: красивая голова, впроседь. Ни следа болезненности в лице, в движеньях. Князь шел уверенно, радушно улыбаясь, приветливо-барственно кивнул, и его синеватые глаза не без живости оглянули нас. Только слабая желтизна висков намекала на его недомогание, но она едва чувствовалась в свежести выбритых щек, в ровно подстриженной бородке. Приятное, мягкое выражение лица, располагающее. К нему очень шел мастерской покрой платья, цвета вороненой стали, подчеркивая его слаженность. Подумалось: « какая свободная простота, в платье даже ».

Пожав нам руки, он указал на кресла у стола и предложил высказаться. Чуть тронул, и лежавшая на дальнем конце тетрадь в кожаной обложке оказалась как раз передо мной. Я стал перелистывать ее. Это был каталог, с пометкой цен. Я нашел много редчайших изданий, иногда с автографами, и тут же сказал, что мне это не по средствам. Князь благосклонно кивнул.

Алексей Иваныч доложил о желании москвича-книголюба — « выбрать по списку ».

— Отпадает, — сказал суховато князь, — я не хочу распылять свое собрание. Вы .. ? — обратился он к книгопродавцу с Моховой.

Тот объяснил поручение московской городской управы: купить для запасного склада, в виду предполагаемой постройки еще двух читален — Гоголя и Пушкина: асигновка в пределах 10-12.000.

— Маловато, правда... — досказал он.

— И это отпадает, но мысль мне нравится. Теперь, господа, я могу с облегчением сказать: вы видите, что сделка не состоится не по моей вине. Я все же побеспокоил вас... сейчас объясню и мою « вину ».

Он дал объявление о продаже и скоро понял, что не может расстаться с библиотекой: отменить было уже поздно.

— Да, я поступил опрометчиво... но вы, думаю, эту мою ошибку извините. Неблагоприятный диагноз моего профессора толкнул меня скорей все вырешить, и я распорядился... но не мог покуситься на ценнейшее для меня, на библиотеку. В конце концов, все же дал объявление. Судите — вина или ошибка? Деньги мне не нужны. Я определил вырученную сумму отдать земству на просвещение: на эти деньги можно устроить десятка два народных читален.

Мы одобрительно покивали.

— Теперь, зная благую цель московской управы, я напишу моему поверенному. Библиотеку я не продам, а передам по дарственной, выговорив условия: мое книжное собрание должно целиком влиться в состав будущей читальни имени Пушкина, как самостоятельный отдел, и носить наше родовое имя. До дня моей смерти, — кажется, уже не очень далекой, — библиотека останется при мне. Вы вывели меня из затруднения, лучшего я не представляю... — и он ласково поглядел на нас.

И тут же предложил нам выбрать из книг что-нибудь, по вкусу. Мы отказались.

— Ну, хорошо, оставим: вы не хотите преуменьшать мой дар. Пусть он поможет мне светло завершить служение рода нашего, прекращающегося со мною. Сегодня для меня праздник.

Я спросил, почему поместье называется — « Злая Сеча ».

— Это — историческое именование. Земля числится за нашим родом около пятисот лет. С конца шестнадцатого века она по писцовым книгам, значится уже « вотчиной », с добавлением — « Злая Сеча ». К сожалению, я не могу показать вам остаток сохранившегося пергаментного списка, найденного лет пятьдесят тому в рухлядной Высотского монастыря: я дал его списать и сфотографировать моему другу Барсову, знатоку летописей, грамат... исследователю « Слова о полку Игореве »...

Я сказал, что знаю Ельпидифора Васильевича, моего соседа в Замоскворечьи.

— Чудаковат он, живет в башне, со своими сокровищами...

— Это от пожара. Самоотверженный изыскатель наших исторических корней, хранитель русской славы. Редкостный русский человек! Мы, ведь, так мало знаем и так мало ценим н а ш е, ценнейшее, чем должны бы гордиться. Мы чуть ли не стыдимся нашей величественной истории... « ленивы и нелюбопытны ». Иные из нас находят даже некое больное услаждение в ложном надрыве-выводе, что мы — « хуже всех », и эту больную ложь пытаются почему-то привить народу. Разве неправда это? Можно назвать тысячи примеров. А народ... я это знаю по м о е м у народу,

по моим успенским мужикам, по моим слугам!.. — народ несет в себе, бессознательно-стихийно, веру, что он никак не хуже других народов, что он, со своими князьями и царями, творил Россию — Святую Русь. Этого нельзя вытравить из его недр душевных. В этом я неоднократно убеждался. Это никак не моя идеализация, а жизненная достоверность.

— Так вот, в этом куске пергамента, писанного одним из моих предков, вписано — и с какой же простотой! — о « Злой Сече ». Мой ... как это определить ... ну, мой прапращур, князь-рюрикович, был пылкий воин, напоминающий мне Мстислава Удалого ... помните, « битва при Калке » ? .. Верный долгу, но непокорливый. В один из последних набегов Орды ему было указано стать на рубеже, у Серпухова, нащупать главные силы вражеские, отходить с легким боем, пропустить Орду и в подходящий час ударить ее в тыл. С ним был только один конный полк. Он не удержал своего боевого пыла, не разобрал, что перед ним главные татарские силы, лихо ударил в центр, прорвал и разбил наголову, взял ставку, большой полон, побил больше десятка тысяч отборной татарской гвардии, но упустил очень важное: не укрепил свои фланги, был обойден и пал на реке Наре. Остаток его дружины пробился и вынес из этой сечи тело любимого своего князя. Подошедшие московские полки начисто разнесли остатки кочевников. В пергаменте этот бой именуется « Злой Сечей ». Там же сказано, что тело моего предка предано было земле « у дуба высока », в родовой вотчине. Вам покажут в парке. Лесоводы смотрели дуб и утверждают, что ему лет шестьсот. Величественный свидетель прошлого. Лет полтораста тому поставлена там часовенка. Народ

чтит это место, молится князю, молится и за князя... На Успенье вокруг дуба поют и песни, и молитвы, поминая по-своему. Вот одно из доказательств кровной связи с историческими корнями. По старым записям моих предков я мог установить, что среди моих верных слуг... так они себя называют, а я именую их — «други мои»... Чудесное *наше* слово — д р у ж и н а!.. — Да, так вот, среди моих верных слуг есть потомки участников той сечи. Они хранят в себе высокие качества своих предков... Да, многое у нас — от славных семян минувшего. Если бы сберечь их!..

Появился почтенный слуга, встречавший нас, и доложил князю, что кушать подано. Князь пригласил нас пройти в столовую. Мы миновали ряд новых покоев и оказались в великолепной столовой светлого дуба, украшенной художественной росписью — охота на вепря, лося и медведя.

Обед был тонкий и празднично обильный. Князю подали тарелку налимьей ухи. Он выразил явное удовольствие.

— Вася, дай-ка сухарик мне... мягко сказал он стоявшему за его креслом почтенному слуге.

— Ваше сиятельство... — почтительно отозвался тот, — доктор наказали напоминать вашему сиятельству... — и в его голосе почувствовалась почти мольба.

— Дай, Вася!.. — сказал князь твердо.

— Не смею, ваше сиятельство! решительней отвечал слуга.

— Ка-коа?!.. чувствуете дерзанье?.. — не без удовольствия сказал князь, потянулся и взял с блюда сухарик.

Вася понурился. Князь посмотрел на него и положил на блюдо.

— Отличная уха. Послать Ивану Гаврилову поросенка . . . — сказал он Васе. Единственно один изо всей дворни вышел из нашей вотчины, отщепился . . . Бог с ним. Остались все после Манифеста, продолжают служение. Остались не из-за выгод: они еще не знали тогда, да и теперь только предполагают, моего распоряжения о них . . .

И князь рассказал любопытную историю.

Как-то был у него министр, дальний родственник. Все ему тут понравилось, но особенное внимание обратил он на точность и выдержку « лакеев ».

— У меня нет « лакеев » ! — возразил князь. — У меня слу-ги, а не « лакеи » . . . слу-ги ! . . — повторил он, — меньшая братия. Воспитаны ли так, или это по чуткости, от сознания личного достоинства ? Это вы, там, выделываете « лакеев », прививаете народу чуждое понятие. « Лакей » звучит различно — на западе и у нас. Наш народ умеет хранить достоинство. Это проходит во всей нашей истории, — вчитайтесь ! Это заверено и иными, не совсем глупыми, иностранцами. Наш народ, несмотря ни на что, — народ свободный.

Когда мы снова перешли в библиотеку, князь продолжал:

— У меня служат поколениями. Вот, Вася . . . его сын Фома привез вас. Его внук отбывает службу в Петербурге,, в кавалергардах. И не смотря на великие выгоды, уже предлагаемые ему, к осени возвращается сюда. И так все. Что их влечет ? Воспитанное веками чувство . . . родины . . ? Вася — бывший мой вестовой, вынес меня из огня на Инкерманских высотах,

в 55 году, и тут же был ранен в грудь навылет. Вы, конечно, не раз замечали в русском человеке его исключительное качество: независимость, чувство личного достоинства. Это отмечено Пушкиным. Мои старики в Успенском говорят мне — « ты, князь », держат себя на равной ноге со мной, спорят и даже наставляют. Ни татарское иго, ни крепостное право не оставили и следа в характере народном, не придавили его: он слишком закален, упруг. Почему? что за чудеса?.. — я часто об этом думал. И объясняю это у народа сознанием своего « образа и подобия », вложенного нашим Православием. Это — общее наше, племенное. Этого было в народе больше, теперь слабеет: видят меньше примеров служения и долга... народ слишком отделен от лучших людей у нас, и дурно его воспитывают. Но закваска еще жива, не втуне свершались подвиги, не могли бесследно пропасть жертвы исторических родов, творивших Святую Русь... эти роскошнейшие цветы духовные нашей истории, назначенный нам удел — « душу свою положить за други своя »... может быть за целый мир положить..? Читайте историю, вникайте в нее, и вы уверитесь в этом. Народ знает эти жертвы и принимает их, как законное... мало говорит об этом: « так надо », вот и все рассуждение его. Он — заметили это? — не кичится « славой », он выполняет свой подвиг, как службу, как работу. Он не вспоминает о подвигах своих предков: « Воля Божия, свое отбыли ». Мы, высшие классы, помним, и тоже не кичимся. Вспоминать отрадно, да... Из девяти поколений нашего рода шестеро представителей сложили головы на поле брани, вместе со своими дружинами, своим с л у г а м и. Прадед пал при Бородине, дед

под Ватерлоо... отец был тяжело ранен на Малаховом Кургане, но выжил и отдал свои силы Комиссии по освобождению крестьян. Я обязан жизнью моему верному Васе. Видите, какая спайка! сколько братского общения с народом!.. Клевещут на нашу аристократию, на наш народ. Наша аристократия, может быть, лучшая из всех аристократий, и наш народ как-то хранит в себе врожденный аристократизм духа...

Юный совсем тогда, я упивался словами князя. Князь говорил спокойно, с полной искренностью и простотой, не чувствовалось даже тени идеализации: все в его рассказе было исторически обосновано, будило в сердце горделивые чувства, что я — русский, и мои предки тоже творили историю, вязали жилами и скрепляли кровью великую отчизну. Помню заключительные слова князя:

— Дивная история творческих страданий! Помните слова Пушкина об «истории»? Я так рад, что ваш приезд всколыхнул лучшее во мне. История наша — дана нам Богом, и мы никогда не откажемся от нее.

⁂

ВАСЯ показывал нам парк. Недалеко от прудов, на обширной поляне, стоял могучий, широко раскинувшийся дуб. Он был в полной силе, с нетронутой грозами вершиной. Под ним покосившаяся часовенка. Теплилась синяя лампада. Образ Успения. Памятная сеча, по записям, пришлась на Успеньев день. Под иконой — наполовину стертое изречение: «...душу свою положит за други своя».

— Никогда не копали, не тревожили... — сказал

Вася. — Точного места не означено. Не пожелали тревожить прах.

Я долго смотрел на дуб — символ русской силы, доблести.

На станцию вез нас другой кучер, помоложе, на паре серых, в легкой пролетке. Катили лихо, переполненные чудесными впечатлениями: Проступали звезды. Не остановились у трактира, шумевшего народом. Говорить не хотелось. Я чувствовал себя обновленным, укрепленным. То, что предчувствовал я, исполнилось: я обрел прилив веры, воли... почувствовал, может быть, впервые в жизни нерасторжимую связь с р о д н ы м, слышал в себе токи вдохновенья, порыв творческой силы... Эта прогулка, как бы видение, не прошла бесследно: она открыла мне неведомые раньше исторические корни, вязавшие меня с недрами. Я не мог удержать восторга и воскликнул:

— Какое счастье — коснуться живых истоков!..

Кучер мчал, нахлестывая коней, боясь опоздать к последнему поезду. Прощаясь под фонарем станции, я дал ему рубль, но он решительно отмахнулся:

— У нас не полагается, все обеспечены.

Мне хотелось его обнять, высказать все, что во мне светилось. Он должно быть, почувствовал мое волненье и сам протянул мне руку:

— Счастливого пути, сударь.

⁂

Я НЕ РАЗ побывал у князя: ездил за душевным укреплением. Он наполнял меня чудесным давним, что жило в нем. Диагноз профессора не оправдался: уже через год князь был в полном здравии. Скончался он

года за три до первой мировой войны, почти через десять лет от сердечного припадка, читая Пушкина, редкостного смирдинского издания.

Я был на похоронах. Плакали все: и его верные слуги, и чиспенцы. Он еще загодя распорядился положить его, как полагали его предков, — на сельском погосте,, « среди своего народа ».

Апрель, 1950.
Париж.

ПРИМЕЧАНИЯ

В этот сборник вошли рассказы не печатавшиеся ни в одном из предыдущих томов собрания сочинений литературного наследства И.С. Шмелева.

1) «*У МЕЛЬНИЦЫ*» первый рассказ написаный И.С. Шмелевым в 1895 году в последнем классе 6-ой гимназии (Москва). Напечатан в большом журнале «Русское Обозрение» — июль 1895 г.

2) «*ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА*» вариант из повести «Лик Скрытый» (1916 г.), том VIII, стр. 8-13, напечатан в журнале «Станица» № 9.

3) «*В ДОЖДЬ*». Набросок карандашем в записной большой книжке «Записи Дней» (в зеленом переплете) помечено Св. Р. воскр. 23 (10-го) июня 1918 г. Сохраняем недописанные слова наброска Ивана Сергеевича Шмелева.

4) «*КОШКИН ДОМ*» — Черновой набросок рассказа — написан рукой писателя, что бывало чрезвычайно редко, частичный вариант его в сборнике «Родное» «Миша». Рассказ помечен 31 янв. 1924 г.

5) «*СОЛОВЬИ*». Вариант главы взятой из «На Пеньках», помечено Ланды Июль 1924 г., напечатан в газ. «Сегодня» 26-VIII-1924, № 192.

6) «*ГРЕХ*». Тема для рассказа из романа «История Любовная», которую Ив. Сергеевич сначала думал озаглавить «Весной». Напечатан в Приложении к «Перезвонам», № 21, 1926 г. Рига.

7) «*РУССКАЯ ПЕСНЯ*», Апр. 1926 г. Рассказ напечатан в Пасхальном номере газеты «Русские Мальчики», 2 мая 1926 г.

8) «*ИСКУШЕНИЕ*». Из «Няни», вариант главы

XVII, напечатан в газ. « Возрождение », 1932 г. В книгу рассказов не включено примечание И.Ш.

9) « *СМЕШНОЕ ДЕЛО* ». Рассказ напечатан в газ. « Россия и Славянство », № 179, 3-IV-32. Вариант его сокращенный « От Обезьяны » напеч. в г. « Новое Слово » Берлин, 18-X-42 г.

10) « *У ДЬЯВОЛА НА ПИРУ* ». Январь 1935 г. Вариант конца повторен в рассказе « Страх » сборн. Чеховск. изд-ва.

11) « *ПЕРСТЕНЬ* ». Апрель 1932 г. Вариант « Светлый День », напечатан в журнале « Иллюстр. Россия » 27-IV-1935. Париж.

12) « *ГЛАС В НОЩИ* ». 1937 г. Напечатан впервые в газ. « Возрождение », рассказ помещика. Париж, Март 1937.

13) « *СВЕТ ВЕЧНЫЙ* ». 1937 г. Рассказ землемера, посвященный Ивану Александровичу Ильину. Появился в печати впервые в газ. «Возрождение» Апр. 1937. Париж.

14) « *ТРАПЕЗУНДСКИЙ КОНЬЯК* ». 1938. (рассказ офицера). Напечатан в газ. « Возрождение ». Париж, декабрь 1938 г. Тема взята из жизни, передана Изану Сергеевичу Конст. Вас. Садиковым.

15) « *РУБЕЖ* ». 1940. Напечатан в газ. « Инвалид », Апрель 1940. Париж.

16) « *РОЖДЕСТВО В МОСКВЕ* ». 1942. Рассказ торгового человека, посвящен Наталии Николаевне и Ивану Александровичу Ильиным, Декабрь, 1942-45 г. Напечатан впервые в № 194. « Православная Русь » № 21. 1947 г.

17) « *СВЕТ* ». 1943. Набросок. Авг. 1943. Париж. Напечатан в газ. « Инвалид » и в 1955 г. в газ. « Россия », Нью-Иорк, № 6361.

18) « *ПОЧЕМУ ТАК СЛУЧИЛОСЬ* ». 1944. Печа-

талось в 1944 г. в «Парижском Вестнике». № 95 и 96, 15-IV и 22-IV-1944 г.

19) « *МИСЮСЬ И РЫБИЙ ГЛАЗ* ». 1947. Письмо о русских женщинах (О Чехове) « Русская Мысль », № 14, 1947.

20) « *ЗАМЕТЫ* ». 1947-1948. Пять очерков, печатались в газ. « Русская Мысль ». Париж. № № 5, 7, 16, 23, 72 и в « Православной Руси » в Жорданвиль — Нью-Иорк. Соед. Штаты.
I. « Врещь есть Бог ». Май 1947 г.

21) II. « Ясновидец ». Май 1947 г.

22) III. « Еловые Лапы ». Июль 1947 г.

23) IV. « Бескрестный Лазарь ». Авг. 1947 г.

24) V. « Угодники Соловецкие ». Июль 1948 г.
« ЗАПИСКИ НЕ ПИСАТЕЛЯ ». 1948-49 г.г. Шесть очерков, печатались в « Русской Мысли Париж и в « Православной Руси » Н.-И.

25) I. № 68 мая 1948.

26) II. № 80 (август).

27) III. № 84 (август).

28) IV. № 109 (Декабрь) 9-II-49.

29) V. № 114 (Январь) 1949 февр. 25.

30) VI. № 130 (Январь) 1949 22-IV.

31) « *ПРИВОЛЬЕ* ». Авг. 1949 г. Посвящено П.П. и А.В. Карташевым к 45-летию кончины А. Чехова (2-VIII-1904). Напечатан в журнале « Возрождение » Париж, Сент-Окт. 1949 г. под редакцией С. П. Мельгунова. Частично вышел в Воспоминаниях « Как я встречался с Чеховым » в сборнике, изданном Чеховским Издательством.

32) *ПРИЯТНАЯ ПРОГУЛКА*. Апрель 1950 г. напечатан в газ. « Русская Мысль », № 230, 7-го апреля 1950 г., посв. Д.И. Ознобишину. Пасхальный номер.

Редакция газеты поместила в рамке сообщение:

Ив. С. Шмелев медленно поправляется после перенесенной им тяжкой болезни и операции (декабрь 1949 г.). Хотя он еще и остается пленником своей комнаты, но творческая мысль его уже пробудилась вновь, и к Светлому Празднику наш знаменитый писатель приготовил для читателей « Русской Мысли » свой пасхальный подарок: первое свое произведение после долгого перерыва.

Редакция « Русской Мысли » шлет И. С. Шмелеву пасхальный привет и пожелания скорейшего полного выздоровления.

Рассказ этот, однако, стал последним творением русского национального певца Великой Православной России.

Ю. Кутырина.

Ив. Сергеевич ШМЕЛЕВ скончался двадцать четвертого ИЮНЯ 1950-го года.

ПРИМЕЧАНИЯ К СТАТЬЕ « ДВЕ ВСТРЕЧИ », ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАДУМАННОМУ ИВАНОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ШМЕЛЕВЫМ РОМАНУ « СПАС ЧЕРНЫЙ »

О романе, задуманном писателем имеются письма и свидетельства о беседах с ним, близких к нему лиц. Роман « Спас Черный » начат был еще в России, но никогда окончательно не был завершен. Мы черпаем сведения в некоторых письмах писателя, сообщающих об его работе над этим романом. Писатель Ангарский, поручившийся за Ивана Сергеевича при его выезде из России пишет к нему в письме от VI 1923 года, и спрашивает не даст ли он для альманаха « Недра », начало романа « Спас Черный ». В письме к писателю Н.С. Ангарскому, 22-го июня 1923 года Иван Сергеевич пишет: « Спас Черный » во мне кипящий, ширится и обрастает плотью. Я не смею пока к нему подойти, но я буду его писать, а печатать когда и где буду — не знаю. Перед ним я должен быть не маленьким, а подняться, ибо эта работа явится быть может моми « Символом ВЕРЫ ».

« Я к нему готовлюсь и « ЗАГРАНИЦА » позволит мне захватить его, ибо в нем суть моего отношения к моей СВЯЗИ С РОССИЕЙ и через неё С МИРОМ ».

« Это — не упражнение в формах, а ткань живая, вяжущая меня с Россией — Родной ».

В другом письме, И. С. Шмелев к переводчице на немецкий язык, Кэтэ Розенберг, родственнице Томаса Манна высказывается и делится своим творческим планом:

« А у меня как раз на очереди роман « Иностра-

нец », я буду его писать, — последняя, спокойная работа перед « СПАСОМ ЧЕРНЫМ ».

« Иностранец » двинулся в путь. К августу кончу ».

« Это уже большой и, кажется, общий роман. Здесь будет дана душа Европы и Америки и — русской культуры. Посмотрим, — это ВСТУПЛЕНИЕ в « СПАС ЧЕРНЫЙ ».

В письме к упомянутому уже писателю Н. С. Ангарскому, мы читаем: « Во мне живет и владеет мною сознание, что я русской писатель, и им я останусь и голосу суда своего буду верен, и понесу ответственность лишь один, я один. Я всегда к этому готов. Иные у меня задания в творчестве . . . »

В имеющихся у меня тетрадях « ЗАПИСЕЙ — ДНЕЙ », мы читаем важную заметку, относящуюся к « СПАСУ ЧЕРНОМУ »:

« ДВЕ ВСТРЕЧИ », статья в журнале Русская мысль, кн. IX-XII, 1923-24 годы, — к СПАСУ ЧЕРНОМУ ».

Укажем еще знаменательную для творческого плана Шмелева заметку в « ЗАПИСИ — ДНЕЙ »:

«Напишу «СПАСА» и «Храм ЧЕЛОВЕЧИЙ».

Письмо в Париж: Иван Шмелев, 12 р. Шевер, пересланное в Мон-Флери в Грасс на дачу Буниных, писателя Вересаева-Смидовича.

В письме от 22-6-23 к Ивану Сергеевичу писатель пишет: « Радуюсь душевно, что Вас повидимому начинает тянуть к работе. Очень меня интересует « СПАС ЧЕРНЫЙ ». Как он ? Думаю получится вещь крупная. И в моей рецензии о I-м сб. Недр ваша вещь отмечалась, как самая крупная. И так я слышал о ней много очень похвальных отзывов . . .

Пишите, « СПАС » у Вас должен выйти огромною вещью. Ваш В. Смидович. P. S. В Петербурге, в театре с большим успехом идет « Догоним солнце ». (пьеса Ив. Шмелева).

— И в своих беседах с Иваном Ивановичем Новгород-Северским Иван Сергеевич делился своим творческим планом:

« Я давно замышлял многотомный роман-эпопею, но житейские обстоятельства так складывались, что я ограничивался выпусками незаконченных романов, которые представляют как бы отрывки моей большой эпопеи . . . « СПАСА ЧЕРНОГО . . . »

На основании вышеупомянутого письма можно дополнить фразу писателя: « Это вступление въ СПАС ЧЕРНЫЙ ».

Незаконченными романами И. С. Шмелева являются « Солдаты », « Иностранец » и « Пути небесные ». Очень возможно, что когда И. С. Шмелев начал писать роман « Солдаты », на него напали некоторые критики несправедливо и грубо и И. С. прекратил печатание романа, что его глубоко огорчило и подорвало силы, несмотря на прекрасный отзыв П. Пильского:

« 22.1.30. Только что получена последняя книга Современ. записок и я набросился на Ваш роман СОЛДАТЫ. Помимо всех прочих достоинств, он поразил меня знанием самых мельчайших подробностей казарменного быта и даже тонкостей строевых учений и парадов. На днях у меня об этой книге будет статья и я рад еще раз написать о Вас и Вашем таланте. Между прочим « СОЛДАТЫ » написаны в совершенно ином тоне, чем все Ваши произведения последних лет . . . Обнимаю Вас крепко . . . Желаю Вам всего

лучшаго, а главное, душевной успокоенности и хороших настроений. Искренне Ваш П. Пильский ».

Роман « ИНОСТРАНЕЦ », начатый в 1938 году был приостановлен вспыхнувшей войной в 1939-ом году. Иван Сергеевич говорил, что наступили « суровые дни ».

Закончены были первая и вторая часть романа « ПУТИ НЕБЕСНЫЕ », но третья часть, внутренне созданная, осталась незавершенной.

Громадный, творческий план И. С. Шмелева, на который мы указываем приведенными, краткими данными, позволяет нам полностью привести указанную статью « ДВЕ ВСТРЕЧИ », несмотря на то, что она не имеет подписи писателя. Сборник же НЕДРА, с вещью И. С. Шмелева, о которой писал Вересаев, к великому сожалению, нами пока не получен.

Ю. Кутырина.

ДВѢ ВСТРѢЧИ (1898 — 1924)

Изъ записной книжки

...И вотъ я въ вагонѣ, одинъ, съ своими думами. Порою испытываешь почти головкруженіе отъ внутренняго ихъ напора и маленькое поле сознанія кажется слишкомъ узкимъ, чтобы вмѣстить ихъ наползающія облака. Словно хочется всю грудь наполнить воздухомъ, а не можешь вздохнуть. Вмѣстѣ съ катастрофами и ... чудесами этого вѣка переживаешь и свои собственныя катастрофы, также съ ихъ чудесами, и радостно-наивное, благодарное удивленіе тихо и властно объемлетъ душу. И въ самомъ дѣлѣ: развѣ не чудесны онѣ и эти новыя нежданно развернувшіяся страницы въ нескладицѣ моей жизни и темной судьбѣ? Вотъ я ѣду сейчасъ, на закатѣ жизни, изъ Праги въ Берлинъ, гдѣ былъ только *четверть вѣка назадъ* (всю свою зрѣлую жизнь я « бойкотировалъ западъ », славянофильствуя, и заграницу почти не ѣздилъ). И я былъ тогда глупымъ — глупымъ, наивнымъ — наивнымъ марксистомъ, съ благоговѣніемъ взиравшимъ на самую улицу, по которой ступали « вожди », и въ услажденіе была мнѣ вся тошнота Берлинскаго асфальта и убійственное бездушіе улицъ. Мое знакомство состояло тогда также исключительно изъ « вождей » — германской соціалъ - демократіи — Каутскій и Бебель, Браунъ и Адлеръ — другихъ я не замѣчалъ. Я находился въ то время въ нѣжной перепискѣ съ Плехановымъ. Такое состояніе молодого соціалъ - идіотическаго щенка продолжалось, конечно, недолго, и очень скоро и быстро началось « линяніе ». Но и тогда голодающая душа умѣла находить ключи воды живой

— въ искусствѣ, оно вѣдь не было вполнѣ запрещено катехизисомъ и ужъ, конечно, оно таило въ себѣ силу духовныхъ революцій и потрясеній. И даже въ самые темные дни своего марксизма я оставался неразлучнымъ съ Мусоргскимъ и Достоевскимъ, Гете и Пушкинымъ, и какъ разъ въ Берлинѣ переживалъ могучую мистику Вагнера, отдаваясь ей, можетъ быть, безудержнѣй, нежели слѣдуетъ. Ходилъ я по картиннымъ галлереямъ, какъ полагается иностранцу - туристу, вѣроятно, съ видомъ довольно вислоухимъ, оставаясь безразличнымъ и холоднымъ до тѣхъ поръ, пока не произошла эта встрѣча, нежданная и благостная. Произошло то, что бываетъ только въ рѣшительныя и опредѣляющія роковыя мгновенья. Я увидѣлъ и съ перваго же взгляда принялъ въ сердце Сикстинскую Мадонну Рафаэля въ Дрезденѣ. Это не было чисто художественное впечатлѣніе, эта встрѣча явилась *событіемъ* моей жизни, — вѣрнѣе сказать то было настоящее духовное потрясеніе, благодарная память о немъ живетъ въ душѣ и понынѣ и слѣдъ его сохраняется въ сердцѣ черезъ всю жизнь. Я пытался однажды нѣмотствующимъ словомъ выразить неизреченное. Лучше не сумѣю и теперь, повторю лучше сказанное тогда.

« Пришла новая волна упоенія міромъ . . . первая встрѣча съ Западомъ и первые ея восторги: « культурность », комфортъ, соціалъ - демократія . . . И вдругъ нежданная, чудесная встрѣча: Сикстинская Богоматерь, въ Дрезденѣ, Сама Ты коснулась моего сердца, и затрепетало оно отъ этого зова.

Проѣздомъ спѣшимъ осеннимъ туманнымъ утромъ, по долгу туристовъ, посѣтить Zwinger съ знаменитой его галлереей. Моя освѣдомленность въ искусствѣ бы-

ла совершенно ничтожна, и врядъ ли я хорошо зналъ, что меня ждетъ въ галлереѣ. И тамъ мнѣ глянули очи Царицы Небесной, грядущей въ небесахъ съ Предвѣчнымъ Младенцемъ. Въ нихъ была безмѣрная *сила чистоты и прозорливой жертвенности*, знаніе страданія и готовность на вольное страданіе, и та же вѣщая жертвенность видѣлась въ недѣтски мудрыхъ очахъ Младенца. Они знаютъ, что́ ждетъ ихъ, на что́ Они обречены, и вольно грядутъ Себя отдать совершить волю Пославшаго: Она — принять « орудіе въ сердце », Онъ — Голгоѳу... Я не помнилъ себя, голова у меня кружилась, изъ глазъ текли радостныя и вмѣстѣ горькія слезы, а съ ними на сердцѣ таялъ ледъ, и разрѣшался какой-то жизненный узелъ. Это не было эстетическое волненіе, нѣтъ, то было *встрѣча*, новое знаніе, *чудо*... Я (тогда марксистъ!) невольно называлъ это созерцаніе *молитвою* и всякое утро, стремясь попасть въ Zwinger, пока тамъ еще никого не было, бежалъ туда, предъ лице Мадонны, « молиться » и плакать, и немного найдется въ жизни мгновеній, которыя были бы блаженнѣе этихъ слезъ »...

(*Свѣтъ Невечерній*. Зовы и встрѣчи. Стр. 8-9).

Такъ было тогда. Но въ подсознаніи теперь уже слышатся иные, еще невнятные шепоты, ждутъ какія-то новыя впечатлѣнія. Какъ перемѣнилось все съ тѣхъ поръ! Давно позабыто мальчишеское соціалъ-идіотство, слиняло и славянофильство, окончательно опредѣлились, наконецъ, мои церковныя судьбы. « Und B-ff ist fromm geworden! » передавали мнѣ исполненное комическаго негодованія или недоумѣнія восклицаніе Каутскаго относительно подававшаго надежды Parteigenosse еще лѣтъ 10 назадъ. За эти годы B-ff ist Priester geworden. И съ чувствомъ нѣкоего Doppelgänger'a

вступаю я на улицы того, былого Берлина, котораго, конечно, также давно уже нѣтъ, какъ и нѣтъ уже давно и того наивнаго, благочестиваго марксистскаго юнца. Однако теперь мнѣ нечего дѣлать съ улицами Берлина, это я знаю: здѣсь нѣтъ у меня уже никакого « романа ». а заранѣе бьется сердце при мысли о новой встрѣчѣ съ творенiемъ, которое *такъ* меня тогда поразило и потрясло. И надежда на эту встрѣчу и мысль о ней появились у меня сразу съ того самаго момента, когда я по велѣнiю судебъ снова нежданно получилъ безсрочную командировку въ Европу. Здѣсь, именно здѣсь, нужно мнѣ что-то существенное провѣрить, осознать и увидѣть, хотя бы при этомъ пришлось, можетъ быть, потерять, похоронить близкое, дорогое, важное... Остановка въ Дрезденѣ между поѣздами. Стремлю свой бѣгъ, спѣша и волнуясь, въ Zwinger. Только отчего же нѣтъ въ душѣ радости, скорѣй въ ней тревога и неувѣренность? Пробѣгаю чрезъ залъ, ни на что не глядя, прямо въ ту завѣтную комнату... Съ трудомъ отъ волненья полдымаю глаза. Первое впечатлѣнiе было, что я *не туда* попалъ, и предо мной не *она*. Но скоро узнаю и убѣждаюсь, что это она, и однако дейѣствительно, *не она*, или я уже — *не* — *онъ*. Увы! Не ударила въ сердце радостною волною горячая кровь, оно не дрогнуло, осталось спокойно. Неужели же такъ оно охдалилось за всю долгую жизнь? Но нѣтъ, не то, не то: моя *не состоялась* встѣча, здѣсь я не встрѣтилъ того, чего ожидалъ. Къ чему таить и лукавить: я не увидалъ Богоматери. Здѣсь — красота, лишь дивная человѣческая красота, съ ея религiозной двусмысленностью, но... безблагодатность. Молиться предъ этимъ изображенiемъ? — да это хула и невозможность. Почему-то особенно

ударили по нервамъ эти ангелочки и парфюмерная Варвара въ приторной позѣ съ кокетливой полуулыбкой. Я помню, что и раньше всегда мнѣ это мѣшало, но я какъ - то сравнительно легко справлялся съ ними. Но теперь это ощущалось мною какъ откровенное нечестие, невѣріе и какая - то кощунственная фамильярность: ну можно ли, послѣ видѣнія Матери Божіей, брать такой тонъ, какъ будто глумиться надъ собственной святыней? Можно ли быть нестрогимъ въ... иконѣ? Но я кой - какъ перешагнулъ черезъ это и теперь, и впился глазами въ лики Матери и Младенца. Безъ вдохновенья, съ щемящей болью отъ пустоты въ сердцѣ, я, вмѣстѣ съ тѣмъ, не хотѣлъ и оторваться отъ созерцанія; я оставался передъ нею все время до закрытія, и, кажется, сидѣлъ бы еще до самаго вечера, всматриваясь, впиваясь въ этотъ образъ съ его загадочнымъ очарованіемъ, съ его магической притягательностью. Теперь я отдавался ему безъ восторга и безъ поклоненія, однако, сознавая всю его значительность и силясь теперь по новому его разгадать. Одно стало для меня уже съ перваго взгляда — увы! — несомнѣнно: это *не* есть образъ Богоматери, Пречистой Приснодѣвы, не есть Ея *икона*. Это — картина, сверхчеловѣчески геніальная, однако совсѣмъ иного смысла и содержанія, нежели икона. Здѣсь явленіе прекрасной женственности въ высшемъ образѣ жертвеннаго самоотданія, но «человѣческимъ, слишкомъ человѣческимъ» кажется оно. Грядетъ твердой человѣческой поступью по густымъ, тяжелымъ облакамъ, словно по талому снѣгу, юная мать съ вѣщимъ младенцемъ. Это, можетъ быть, даже и не дѣва, а просто прекрасная молодая женщина, полная обаянія красоты и мудрости. Нѣтъ здѣсь Дѣвства и наипаче *Приснодѣвства,* напротивъ,

царитъ его отрицаніе, — женственность и женщина, *полъ*. Приснодѣвство же свободно и отъ женственности, ибо оно выше пола, оно освобождает отъ его плѣна. Посему Пречистая Приснодѣва не можетъ быть разсматриваема, какъ женщина, хотя Она выражаетъ женскую ипостась въ человѣкѣ. *Женское* еще не есть полъ. *Присно* дѣва — *ἀει παρθένος* — пребываетъ превыше пола. *Присно* — *ἀεί* здѣсь есть не временное опредѣленіе въ смыслѣ состоянія, но онтологическое въ смыслѣ существа: въ Приснодѣвствѣ Маріи отсутствуетъ женственность, въ женщинѣ сопричастная грѣху, но всецѣло царитъ только дѣвство, въ Женскомъ образѣ. Вотъ почему безсильнымъ, ибо ложнымъ, оказывается всякій *натурализмъ* при Ея изображеніи, сколь бы возвышеннымъ и утонченнымъ онъ не являлся: онъ владѣетъ лишь природностью, а послѣдняя знаетъ только женщину. Въ вѣдѣніи этого соотношенія ослѣпительная мудрость православной *иконы:* я наглядно почувствовалъ и понялъ, что это *она* обезвкусила для меня Рафаэля вмѣстѣ со всей натуриалистической иконографіей, *она* открыла глаза на это вопіющее несоотвѣтствіе средствъ и заданій. Въ аскетическомъ символизмѣ строгато иконнаго письма, вѣдь, заключается, прежде всего, сознательное отверженіе и преодолѣніе этого натурализма какъ негоднаго и неумѣстнаго, и просвѣчиваетъ видѣніе сверхприроднаго, благодатнаго состоянія міра. Поэтому икона не имѣетъ отношенія и къ портретности, ибо и въ ней неизбѣжно таится натурализмъ, къ которому роковым образомъ и влечется религіозная живопись. И вотъ почему послѣдняя никогда не достигаетъ цѣли, если видитъ свое достиженіе въ *религіозномъ,* а не живописномъ эффектѣ.

Этимъ опредѣляется судьба всего Ренессанса какъ въ живописи, такъ и въ скульптурѣ и архитектурѣ. Онъ создалъ искусство человѣческой геніальности, но не религіознаго вдохновенія. Его красота не есть святость, но то двусмысленное, демоническое начало, которе прикрываеть пустоту, и улыбка его играетъ на устахъ Леонардовских героевъ.[1]

Твореніе Рафаэля отличается своимъ особымъ напряженіемъ, оно ищетъ средствами этой двусмысленной и уже въ этой двусмысленности грѣховной красоты явить Богородичное начало. И этимъ-то заданіемъ и создается то особоое осложненіе и особое смущеніе, которое я впервые ощутилъ только теперь. Я невольно вспоминаю при этомъ, какъ неодобрительно были встрѣчены въ свое время мои бурные восторги передъ Мадонной моими «товарищами» болѣе строгаго стиля, причемъ одинъ изъ нихъ увѣрялъ настойчиво и вызывающе, что Мадонна въ его неповрежденномъ соціалъ-демократическомъ сознаніи вызываетъ... только мужскую похоть. Я настолько негодовалъ тогда на это варварство, что слова его какъ-то не дошли до моего сознанія, и остались въ памяти лишь въ качествѣ рѣдкаго примѣра духовной грубости: было такое впечатлѣніе, какъ будто человѣкъ не нашелъ ничего лучшаго, какъ непечатно выругаться въ церкви. Примѣръ подобной же изощренной грубости относительно Мадонны я имѣлъ еще въ бесѣдѣ съ Л. Толстымъ, въ послѣднюю нашу встрѣчу въ Гаспрѣ 1902 г.,

---

1 Къ слову сказать, такую красоту только и зналъ Достоевскій, свидѣтельствовавшій о наличіи въ ней и содомскихъ и миротворческихъ началъ, видѣвшій въ ней арену борьбы Бога съ дьяволомъ. Про эту красоту Ренессанса нельзя сказать, чтобы она могла «спасти міръ», ибо сама она нуждается въ спасеніи.

когда онъ оправлялся послѣ опасной болѣзни. Я имѣлъ неосторожность въ разговорѣ выразить свои чувства къ Сикстинѣ, и одного этого упоминанія было достачно, чтобы вызвать приступъ задыхающейся, богохульной злобы, граничащей съ одержаніемъ. Глаза его загорѣлись недобрымъ огнемъ и онъ началъ, задыхаясь, богохульствовать. « Да, привели меня туда, посадили на эту Folterbank, я теръ ее, теръ ж . . . , ничего не высидѣлъ. Ну что же: дѣвка родила малаго, дѣвка родила малаго только всего, что же особеннаго ? » И онъ искалъ еще новыхъ кощунственныхъ словъ, — тяжело было присутствовать при этихъ судорогахъ духа. Я вспоминаю объ этихъ выходкахъ какъ доблестнаго мыслителя с — тіи, такъ и « великаго писателя земли русской » потому, что сейчасъ онѣ мнѣ показались болѣе показательными, нежели тогда, и я понялъ, *къ чему* онѣ относятся. Теперь я увидалъ и почувствовалъ *нечистоту*. нецѣломудріе картины Рафаэля, сладострастіе его кисти и кощунственную ея нескромность.

Въ изображеніи Мадонны неуловимо ощущается, действительно, *мужское* чувство, мужская влюбленность и похоть. Слишкомъ-ли очеловѣчилъ художникъ образъ Благодатной, или же оказался безсиленъ найти средства для его приближенія, но несомнѣнно одно: здѣсь произошелъ внутренній срывъ, вслѣдствіе котораго получается подмѣнъ, и онъ - то болѣзненно и почувствовался мнѣ теперь. И снова думается невольно: какъ мудро, съ какой безошибочностью поступаетъ здѣсь церковная иконографія, не дѣлая уступокъ сентиментальности и не давая никакого поощренія чувственности: все покровенно и недоступно взору, кромѣ лика и рукъ, но и они неизмѣнно прикрыты трансцендированнымъ стилемъ, стилизованы. Икона не

даетъ мѣста похоти и ея тончайшимъ услажденіямъ, поэтому она суха и безсодержательна для ихъ любителей, но потому на икону и можно молиться трезвенно и безъ соблазна. А здѣсь? У меня какъ будто только впервые теперь открылись глаза на то чисто женское очарованіе, которое хотѣлъ здѣсь явить художникъ, и на всю преднамѣренную нескромность и тонкую чувственность этого изображенія: и эти чуть-чуть больше чѣмъ слѣдуетъ пріоткрытые волосы, нѣжность кожи и поворотъ шеи, очертаніе рта, красота рукъ и ногъ, — вся эта женская прелесть, которою невольно обольщался самъ мастеръ. Эта влюбленность, эта столь неумѣстная здѣсь и шокирующая эротика, и составляетъ душу картины. Отсюда становится естественна и понятна вся фамильярность ея обрамленія: ангелочки и Варвара, — какое-то подмигиваніе или усмѣшка. Душа художника просвѣчиваетъ черезъ картину независимо отъ ея сюжета, она звучитъ въ ней какими-то невѣдомыми обертонами. Такое звучаніе имъетъ, несомнѣнно, и картина Рафаэля. И каково же это звучаніе? Странно, что на этотъ вопросъ дается вполнѣ точный и ясный отвѣтъ нашимъ ясновидцемъ Пушкинымъ, конечно, никогда не видѣвшимъ Сикстины, въ одномъ изъ самыхъ удивительныхъ его прозрѣній, — въ стихотвореніи *Бѣдный Рыцарь.*[1] Въ этомъ небольшомъ «романсѣ» столь неожиданно бросается ослѣпительный свѣтъ на тайны католическаго средневѣковья и рыцарства, а также и на дальнѣйшія ихъ судьбы въ Ренессансѣ. «Бѣдный рыцарь» имѣлъ, какъ полагается рыцарю, «прекрасную даму», кото-

1 О Бѣдномъ Рыцарѣ въ обоихъ варіантахъ мнѣ приходилось писать въ сборникѣ Тихія Думы. Москва. 1918.

рую онъ соотвѣтственнымъ образомъ и обожалъ. Ея буквы «начерталъ онъ на щитѣ», и эти буквы — А (ve) М (ater) Д (ei). (Достоевскій какъ будто не замѣчаетъ этого кощунства, и увлеченный романтизмомъ положенія въ *Идiотѣ* даетъ Аглаѣ эти буквы просто замѣнить другими,[2] принадлежащими *другой* «прекрасной дамѣ»). Въ первоначальномъ (и еще болѣе значительномъ) варіантѣ Бѣднаго Рыцаря Пушкинъ гораздо откровеннѣе договариваетъ свою мысль о «бѣдномъ рыцарѣ», почему-то завуалированную въ окончательномъ текстѣ, съ отдѣльными чертами, заставляющими вспомнить даже о Гавриліадѣ. Эта ложная и грѣховная мистическая эротика приражения пола къ жизни духовной отразилась и въ русской литературѣ, здѣсь, вслѣдъ за нѣкоторыми мистическими аберраціями музы Вл. Соловьева, эта тема одно время была излюбленной у поэтически одареннаго, но мисти-

[2] Аглая говоритъ о «Бѣдномъ рыцарѣ» (и похоже, что ея устами говоритъ и самъ Достоевскій, который, по крайней мѣрѣ самъ ни одного слова не проронилъ относительно странности самаго предмета рыцарскаго обожанія): «Тамъ, въ стихахъ этихъ не сказано, въ чемъ собственно состоялъ идеалъ «рыцаря бѣднаго» (? ?), но видно, что это былъ какой-то свѣтлый образъ, «образъ чистой красоты» (? ?), и влюбленный рыцарь, вмѣсто шарфа, даже четки себѣ навязалъ на шею... Какъ бы то ни было, а ясное дѣло, что этому бѣдному рыцарю уже все равно стало: кто бы ни была и что бы ни сдѣлала его дама. Довольно того, что онъ ее выбралъ и повѣрилъ ея «чистой красотѣ», а затѣмъ уже преклонился предъ нею навѣкъ... Поэту хотѣлось, кажется, совокупить въ одинъ чрезвычайный образъ все огромное понятіе средневѣковой рыцарской платонической любви какого-нибудь чистаго и высокаго рыцаря; разумѣется все это идеалъ. Въ «рыцарѣ» же «бѣдномъ» это чувство дошло уже до послѣдней степени, до аскетизма. «Рыцарь бѣдный» тотъ же Донъ-Кихотъ, только серьезный, а не комическій».

чески безпомощнаго и религіозно темнаго Блока, стихію котораго Пушкинъ напередъ предсказалъ и исчерпалъ въ *Бѣдномъ Рыцарѣ* (а его теперь иные равняютъ съ Пушкинымъ!..). Здѣсь дѣло окончилось неизбѣжнымъ срывомъ и тупикомъ (отъ «прекрасной дамы» къ «незнакомкѣ»). Этотъ-то своеобразный грѣхъ и аберрація мистической эротики, которая дѣлала Приснодѣву, Пречистую и Пренепорочную, предметомъ мужскихъ чувствъ и воздыханій (чего вообще не бывало на востокѣ, кромѣ какъ въ туманныхъ низинахъ гностицизма), глубоко проникли въ душу западнаго христіанства, вмѣстѣ съ духомъ рыцарства и его культомъ. И эта фамильярность съ Божествомъ, это *мистическое* обмірщеніе, подготовили то общее обмірщеніе, торжество языческаго міроощущенія, жертвою, а вмѣстѣ и орудіемъ котораго сдѣлались дѣятели Ренессанса. Красота, двусмысленная и обольстительная, розовымъ облакомъ застилаетъ здѣсь міръ духовный, искусство же становится магіей красоты. И этой магіей зачарованный, завороженный сидѣлъ я на этомъ самомъ мѣстѣ четверть вѣка назадъ, не умѣя понять, что же со мной происходитъ. Но тогда я трепеталъ отъ *религіознаго* восторга: не зная молитвы и не умѣя молиться, я предъ нею молился. Теперь же я, сохраняя полное самообладаніе, созерцалъ лишь художественное произведеніе. И это было *качественно* иное, нежели испытанное тогда...

И мысли неслись вихремъ, одна другую перебивая и споря. Вѣдь это же есть *свидѣтельство* духовнаго состоянія западнаго міра, болѣе подлинное и убѣдительное, чѣмъ всѣ фоліанты богословія. Какъ оно могло появиться, оставшись незамѣченнымъ, это языческое человѣкобожіе на мѣстѣ святом? И если люди не ви-

дятъ, не понимаютъ этого подмѣна, принимая его за полноту и силу, то какой это ужасъ! И какая прямая дорога *отсюда,* чрезъ это открывается въ «новое время» съ его пустотой и паденіемъ. Здѣсь невольно въ душу просится сопоставленіе европейскаго запада и византійскаго востока, который, при всѣхъ своихъ ересяхъ, грѣхахъ и преступленіяхъ, мистическаго блуда вообще не зналъ и языческимъ человѣкобожіемъ не грѣшилъ, хотя онъ - то именно и являлся наслѣдственнымъ хранителемъ и преемникомъ античности. А здѣсь, на западѣ, воспользовались античностью, съ ея еще дохристіанской наивностью и, по своему, чистотой, чтобы ее осодомить. Духовная болѣзнь потомковъ и наслѣдниковъ «бѣднаго рыцаря» вскрывается въ творчествѣ Ренессанса, съ его язычествующимъ христіанствомъ, въ этихъ изображеніяхъ, писанныхъ по волѣ папъ для храмовъ, какъ иконы, и однако не допускающихъ къ себѣ религіознаго отношенія и это тѣмъ въ большей мѣрѣ, чѣмъ художественно онѣ совершеннѣе. Вѣдь то, что съ такой остротой я почувствовалъ въ Сикстинѣ, это же самое имѣетъ силу для *всей* религіозной живописи Ренессанса. Вся она есть очеловѣченіе и обмірщеніе божественнаго: эстетизмъ — въ качествѣ мистики, мистическая эротика — въ качествѣ религіи, натурализмъ — какъ средство иконографіи. Если выразить это въ терминахъ богословія, то здѣсь восторжествовало нѣкое художественное аріанство, или же монофизитство. Была почувствована только человѣческая стихія въ боговоплощеніи, божественное потускнѣло и заслонилось человѣческой красотой, обольстительно - двусмысленной, какъ улыбки на картинахъ Леонардо - да - Винчи, и человѣческое безъ духа перестало быть человѣческимъ, стало плот-

скимъ. Это оплотянѣніе человѣчества и ведетъ къ религіозному упадку новаго времени. И все это совершилось въ нѣдрахъ Духа, въ глубинахъ художественнаго самоощущенія, и это могущественнѣе Лютера и реформаціи, вѣрнѣе, это - то и породило то . . . Отрывъ запада отъ востока, роковой церковный расколъ, духовно обездолилъ западъ болѣе существеннымъ образомъ, нежели востокъ . . .

Но Ренессансъ есть для насъ уже историческое прошлое, которое мы въ настоящее время постигаемъ и въ его ограниченности, и заблужденіяхъ. Однимъ изъ таковыхъ является мнѣніе, будто бы картина Рафаэля (какъ и многія произведенія этой эпохи) является иконой и вообще « Мадонной ». Но если отказаться отъ этого недоразумѣнія, — а отказаться необходимо, — то обаятельности своей и силы *картина* отъ этого не утратитъ. Напротивъ, освобожденная отъ ложныхъ притязаній, она предстанетъ предъ нами какъ могучая и прекрасная человѣчность, какъ героическое искусство. Здѣсь даны образы дивной красоты, младенца и матери, чтобы выразить трагическую жертвенность и волю къ ней, высшій amor fati, и то, что здѣсь явлено, влечетъ къ себѣ и волнуетъ, художественно плѣняетъ и покоряетъ. Эту картину нужно воспринимать какъ изображеніе пути человѣческаго восхожденія, который есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, трагическая судьба. Трагедія волнуетъ насъ высшимъ художественнымъ волненіемъ, она даетъ очистительное просвѣтленіе, сила ея — катарсисъ. Здѣсь явлена человѣческая трагедія и то, чего отрицаемся мы въ порядкѣ религіозномъ, какъ кощунства, это пріемлемо какъ трагическое постиженіе человѣческихъ судебъ въ искусствѣ. Только въ религіи разрѣшается трагедія и ею она

превозмогается, но трагическій путь необходимо ведетъ къ религіи. Трагедія можетъ быть религіозно осмыслена, какъ духовное рожденіе· разсѣченіе плотскаго сердца къ воспламененію въ немъ божественнаго огня...

Поэтому постыжусь ли я религіозныхъ восторговъ своей юности и усумнюсь ли въ томъ, что свѣтитъ мнѣ въ прошломъ какъ встрѣча, откровеніе, событіе? Для этого безсмысленнаго и малодушнаго поруганія надъ святынею души я и теперь не вижу никакихъ основаній. Да, теперь я духовно нахожу себя уже по *ту сторону* Сикстины, и все видится мнѣ въ обратномъ порядкѣ, неизбѣжна становится переоцѣнка. Тогда мое жизнепониманіе соотвѣтствовало мѣщанской комедіи соціализма, и въ отношеніи къ нему всякое *трагическое* воспріятіе жизни является уже духовнымъ освобожденіемъ. Не будучи еще религіей, оно къ ней внутренно вело, становилось ею путемъ религіознаго восхожденія. И вѣрный религіозный инстинктъ за трагическимъ прозрѣвалъ религіозное. И если тогда эту встрѣчу я пережилъ какъ откровеніе Богоматери, то почему же дерзну я теперь это заподозривать, если для меня это было такъ? Вѣдь я не видѣлъ и не ощущалъ тогда того двусмысленнаго и превратнаго, что я теперь ощутилъ· и я вовсе не соблазнился имъ. Та же человѣческая напряженность, которая меня потрясла, она и теперь сохраняетъ силу и внутреннюю убѣдительность, если не приписывать ей несоотвѣтственнаго значенія и не смѣшивать человѣческаго и благодатнаго. Разумѣется, теперь и для меня эта переоцѣнка явилась разочарованіемъ, я почувствовалъ себя потерявшимъ, навсегда похоронившимъ нѣчто дорогое. Но при этомъ и радостно было ощущать вѣчную природу духа, ко-

торый никогда не остается на мѣстѣ, но всегда, живетъ; трудно, но вразумительно было вдругъ въ одномъ мгновенiи почувствовать какой-то огромной значительности итогъ прожитой жизни, и несмотря на все, нельзя не подивиться благодарнымъ удивленiемъ силѣ творенiя, которое словно не подвластное времени смотритъ въ душу съ своего холста и собою мѣряетъ времена и сроки души. Я удалился въ волненiи и задумчивости. Однако, когда я чрезъ нѣсколько дней на обратномъ пути проѣзжалъ Дрезденъ, то хотѣлось его скорѣй миновать, — было какъ-то трудно смотрѣтъ въ ту сторону, гдѣ еще такъ недавно пережита была эта боль.

От.С.

Прага, 10 (23) II. 1924.

СВЕТЛАЯ КОНЧИНА ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ШМЕЛЕВА

Весной 1950 года, после операции и последовавшего за ней значительного улучшения здоровья, у Ивана Сергеевича вновь появилось желание работать. На Пасху он пишет полный свежести рассказ « Приятная Прогулка » и мечтает закончить 3 большие работы последних лет: «Солдаты», «Иностранец», « Пути Небесные ».

Небольшая простуда, — друг доктор Серов определяет бронхит, но предлагает сделать анализ. Неожиданно для всех, устанавливается начало процесса туберкулеза легких. Французский врач, специалист по легочным болезнам, назначает вспрыскивание стрептомисина. Болезнь поддается лечению, но организм чрезвычайно ослаб, необходим отдых в деревне. Намечается возможность уехать недалеко, в Обитель Покрова Божией Матери в ста пятидесяти километрах от Парижа, в Бюсси-ан-Отт, департамента Ионн. Несмотра на слабость Иван Сергеевич стремится как можно скорее покинуть Париж, достигнуть долгожданного момента пожить монастырской жизнью. Под сенью храма написать третий том « Путей Небесных » устремленный к « Оптиной Пустыне », — к русским монастырям. Отъезд назначен на субботу 24-го июня, с друзьями на автомобиле.

Утро 24-го июня 1950 года.

Рано утром я уже была у Дяди Вани на квартире, во втором этаже улицы Буало номер 91. Он еще не подымался и лежал в кровати. Перед ним стоял чай, варенье, хлеб с маслом и ломтики русской вареной

колбасы. Все заботливо поданное, доброй и старательной Еленой Валентиновной Воиновой, вдовой писателя. Последние месяцы она выполняла для него все хозяйственные обязательства, живя по близости. К 9 часам пришла сестра милосердия сделать, по предписанию врача, укол камфоры. Ослабевшее сердце, после уколов стрептомисином, необходмо было поднять и поддержать для предстоявшей утомительной поездки на автомобиле. Я помогаю Дяде Ване одеться. Он делится со мной своим душевным состоянием: « А знаешь, Юля, так бы и не поехал отсюда, остался бы здесь, со своими » — он посмотрел на фотографии жены и сына на стене против стола. Я не поддержала его в этом предчувствии (о чем теперь всегда скорблю), я указала ему на необходимый ему свежий воздух, на радость этой поездки — осуществляющуюся долгожданную мечту пожить в монастыре. К 10-ти часам подошел друг-доктор Сергей Михеевич Серов и тоже поддержал отъезд в деревню, требуя настоятельно не утомлять больного Ивана Сергеевича и соблюдать условия полного покоя.

С пришедшими проводить друзьями — Зеелер, Меркуловы, Волошин, Серов Дядя Ваня ласково прощается с благословением: передаю ему письмо от хворавшего Ив. Новгород-Северского, « скажи ему — принял к сердцу, поцелуй его ».

Он тяжко опускается в свое глубокое кожаное кресло... По русскому обычаю все присаживаются. — С Богом!.. Иван Сергеевич медленно подымается, молча молится и крестится, повернувшись лицом к своему « красному углу », где горит лампада перед большой иконой Казанской Божией Матери — подарок

генерала Деникина[1], иконой Иоанна Богослова, Св. Сергия и Св. Ольги[2] (триптих работы художницы Светланы Чекуновой), Преподобного Серафима Саровского и Иова многострадального.

Не торопясь Иван Сергеевич оставляет свою светлую большую студию, всю увешенную дорогими сердцу фотографиями — жены Ольги Александровны, сына убиенного Сергия, крестника Ивушки, друзей, профессора Ивана Александровича Ильина, Антона Ивановича Деникина и большой портрет Сербского короля Александра. Я поддерживаю под руку Дядю Ваню. Мы спускаемся вместе на подъемнике, он присаживается, чувствуя слабость, на поставленный для него стул. При выходе старается итти бодро, как всегда, с приподнятой, откинутой немного назад головой, в мягкой черного фетра шляпе и сером пальто с шарфом на шее. Вежливо прощается с Madame la Concièrge — так обычно он ее называл. Садится в автомобиль крестясь, и крестя и обнимая еще раз нас, родных, близких и друзей. Знакомый шофер Ел. Бернацкая — ныне монахиня, и М.Т.В. взявшая на себя ответственность заботиться о больном, отклонив мое предложение ехать с ними вместе, — сопровождают Ивана Сергеевича. На сердце было легко, от сознания что он, наконец, уезжает на отдых, в желанную обитель, где будет воздух и необходимый покой и возможность вновь писать — завершить «Пути Небесные».

Автомобиль осторожно двигается, шофер знает

---

1 Иван Сергеевич был очень дружен с Антоном Ивановичем Деникиным.

2 Многие иконы были присланы в подарок из Почаевской Обители, Прикарпатской Руси.

кого везет и заботливо едет не слишком скоро. Дорога на юг шла лесом Фонтенебло. Иван Сергеевич после длительной болезни, затворенных окон, жаждал быть среди природы, — зелени и деревьев. Попросил остановиться. Тишина, погода прекрасная, солнце, смоляной аромат сосен, пение птиц. Расположились на траве, на одеялах и подушках. Вокруг цветы. Благодать Господня. Иван Сергеевич полон душевной радости, слушает « тишину леса », различает каждую певунью, называет каждый цветок. Позавтракали на лесной полянке. Он выкурил пол папиросы, как дозволили врачи, и поехали дальше. Проехали мост через широкое русло реки Ионн, мимо богатых франнцузских мануаров с английскими газонами, старинными постройками и тенистыми парками. Июнь месяц. Все было в цвету, в свежей зеленой листве. Проехали мимо величественного собора города Санс.

К 5-ти часам приехали в Бюсси; это скорее местечко, чем городок, в конце главной улицы с краю, у самых полей, усадьба, подаренная под Обитель профессором Ельяшевичем.

Въехали в ворота на широкий двор с аллеей из благоуханных лип в весеннем июньском цвету. По обе стороны двора монахини построили себе кельи, справа церковка, с росписью монахини Иоанны и игуменьи Евдокии, и маленькая звонница над деревянным колодцем.

Уставший и слабый Иван Сергеевич поднимается в первый этаж в отведенную ему комнату, из которой открывается вид на сад и вдаль на поля. Он любуется чудесным видом и великая радость охватывает Ивана Сергеевича, он крестится и благодарит Бога за то, что привел, наконец, Господь в монастырь, где он возь-

мется за работу и завершит III-ий том «Путей Небесных, работу внутренно уже давно продуманную ночами, выстраденную вместе с ее героями, просветленную взором на великий просвещающий, поднимающий к Небу, исторический православный Путь русских монастырей. Он делится мыслями с приветливо встретившими и окружающими его Игуменьей Евдокией и монахиней матушкой Феодосией.

Открывают окно в сад, слышится звон к всенощной с маленькой звонницы. Иван Сергеевич порывается пойти в церковь. Монахини уговаривают его остаться, — отдохнуть. Он крестится и снова бесконечно благодарит Бога. Еще крестится и вновь необычайно радостно, с восторгом благодарит Господа за то что привезли его в Обитель. Надается завтра-же поговеть, — исповедаться и причаститься св. Тайн Христовых и отслужить панихиду по Ольге Александровне; годовщина дня кончины жены почти совпадала с его приездом под Покров Божией Матери.

Немного спустя Иван Сергеевич, вдумчиво и многозначительно добавил: «Господь даровал грешнику еще жизни, а для чего — это надо рассмотреть». (Об этих словах написала мне в своем письме матушка Феодосья, я-же слышала их однажды сама от него, после последней тяжелой операции). Монахини спускаются вниз в церковь. Иван Сергеевич остается с сестрой кн. Надеждой Владимировной Оболенской, и рассказывает ей о своей тяжелой болезни и операции. О том как он чудесно был исцелен в 30-х годах явившимся ему в сновидении преподобным Серафимом Саровским. Вспоминает отношение к нему в болезни русских сестер, о их преданности высокому долгу служения, и вспомнил сестру Куровскую трогательно

ухаживавшую за ним в Американском госпитале. Он даже делится своими переживаниями за всю тяжелую писательскую жизнь своими страданиями о сыне и потере жены, о труде писателя, о горестных обидах и несправедливом гонении, о затруднениях жизни за границей.

Жалеет, что ранее не смог приехать сюда в Обитель. И вновь радостно благодарит Бога, бесконечно крестится и опять благодарит привезших его в монастырь. Говорит обо всем взволнованно восторженно, сильным голосом, глаза широко раскрытые, блестящие. Сидя в кресле, крестясь и с благословением Бога и окружающих его, вновь говорит о своем счастье быть здесь под Покровом Обители.

Кончилась всенощная. Матушка Феодосия принесла ужин. Иван Сергеевич с большим аппетитом ужинает, — подали зеленые щи, салат и свежую только что собранную, в саду малину. Иван Сергеевич радовался всему, вдыхал аромат каждой ягоды и беспрестанно повторял как он счастлив и вновь говорил звонким, восторженным голосом о своей работе над « Путями Небесными »: о первой части написанной при жизни жены — Ольги Александровны, при ее духовном участии[1]. О второй — после ее кончины и как счастлив теперь писать третью часть здесь, в Обители: и вновь повторял « Слава Богу, что, наконец, попал в Монастырь, где церковь всегда открыта и он каждый день будет (один) приходить и сидеть когда и сколько захочет ».

Иван Сергеевич был полон самых радостных на-

---

1 Он вспомнил при этом, что посадил голубые глаза на могиле жены, и как он любил голубые глаза.

дежд, полон наплыва сил и безграничного счастья. Завтра-же он будет в церкви. Мать Феодосия сидела за столом против него и они вместе обсуждали подробный план устройства его жизни в Обители.

В девять часов все ушли и Иван Сергеевич пошел умыться. Вернувшись он упал. Матушка Феодосия, стоя внизу под окном, услышала стук и стон, быстро поднялась.

Иван Сергеевич лежал на полу у кровати и сказал: « Сердце сдавило обручем, не могу дышать . . . » Просил вспрыснуть камфору. Положили на постель — « Неужели умираю ». Пока готовили шприц, торопил, сделали два вспрыскивания. « Спасибо, дорогая », но пульс ослаб, несколько мгновений сильные конвульсии, сестра Оболенская сделала еще два укола камфоры; Иван Сергеевич затих полу сидя, накрытый черной бархатной тужуркой своей жены (Ольги Александровны) [1]. В руке пульса уже не было. Матушка Феодосия уловила последние удары сердца подле уха, но и они вскоре замерли. В 9 ч. 30 вечера Раб Божий Иоанн преставился ко Господу.

Письмо о кончине Ивана Сергеевича матушка Феодосия заканчивала: « Мистика этой смерти поразила меня — человек приехал умереть у ног Царицы Небесной под Ее покровом . . .

Иван Сергеевич мой незабвенный Дядя Ваня, ушел Путями Небесными, в чертог Света Вечного. Последний день сознательной жизни был полон вос-

[1] С которой он не расставался никогда.

торженой Благодарственной Любви к Господу за все чудесное в жизни, вокруг него и в ней за приход его к Обители Божией Матери, приявшей его и наполнившей счастьем. Светло перешел земную грань из « Лета Господня » в Жизнь Вечную.

25-го июня, воскресенье, звонят маленькие колокола на звоннице, зовут к заупокойной службе о новопреставленном Иоанне. В церкви Обители Покрова Пресвятой Богородицы монахини молятся — какие чудесные заупокойные службы служили мы подле него — какие дивные вдохновенные заупокойные молитвы и песнопения » писала Матушка Феодосия. День Светлый, солнечный — Воскресенье четвертое по пятидесятнице.

Со Святыми Упокой.

25-го же утром я была в Бюсси, монахини мне сообщили по телефону о кончине Дяди Вани. М. Т. В. встала перед мной на колени, когда я вошла к нему в комнату. Он покоился в голубом новом костюме подарок О. А. Игуменья Мать Евдокия набросала его лик. День воскресный, фотографа не было дома. На следующий день понед. 26-го июня на меня выпала тяжкая доля сопровождать в обратный путь в Париж моего дорогого новопреставленного в храм Александра Невского на улице Дарю. Траурный автомобиль прибывает к вечеру. Гроб встречается настоятелем храма с причтом — совершается первая панихида.

27-го июня — вторая панихида служится Влады-

кой Митрополитом Владимиром — друг и большой почитатель покойного.

28-го в 10 часов утра Русский Париж провожает любимого русского православного национального писателя Ивана Сергеевича Шмелева.

Прекрасными проникновенно душевными словами Митрополита Владимира и отца Александра Чекана заканчивается заупокойная литургия, в сослужении с четырьмя священиками один из которых отец Мефодий духовник Ивана Сергеевича сын профессора Н. К. Кульмана, очень любимого большого друга писателя. Прекрасный хор П. Спасского при участии Ивана Денисова из знаменитого квартета Кедрова исполнает глубокие скорбные заупокойные песнопения.

Гроб выносят на руках мой сын, — единственный внучатый племянник, проф. Ивистион Жантиом-Кутырин и президиум Союза русских писателей.

Последний путь к кладбищу St. Geneviève-des-Bois к могиле Ольги Александровны Шмелевой. Под сенью креста поставленного самим писателем и посаженной им-же русской березы, раскинувшейся шатром над общей могилой покоится певец Православной России, ожидая время, когда « Святая Русь » восстанет и примет его, по его завещанию, в Донской Монастырь для вечного упокоения рядом с могилой его отца.

Юл. А. Кутырина.

СОДЕРЖАНИЕ



Printed in Belgium
A. ROSSEELS PRINTING C° - 70, rue du Canal - Louvain